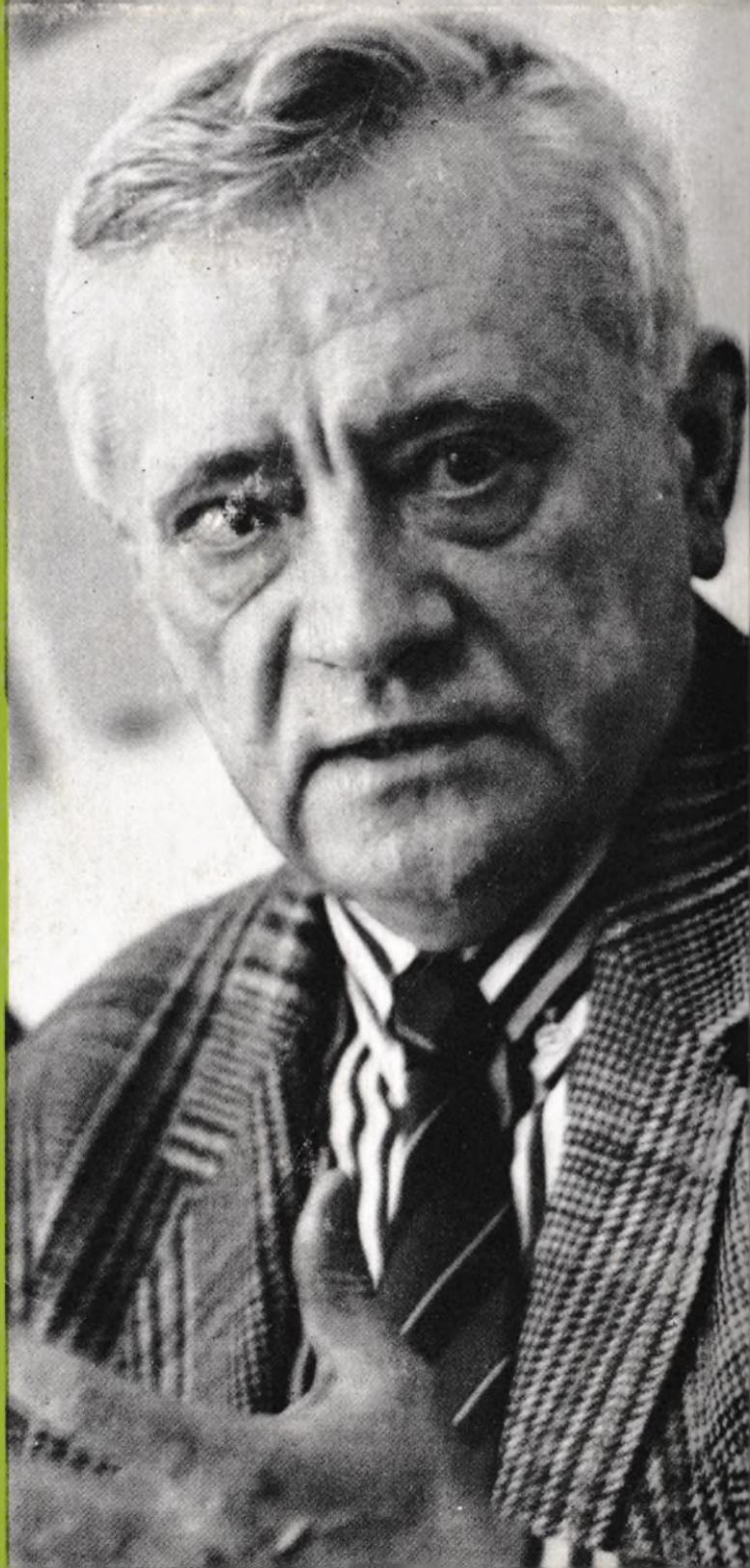


3 | Владимир МАКСИМОВ



Владимир
МАКСИМОВ

3

Владимир

МАКСИМОВ

3

Владимир
МАКСИМОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Владимир МАКСИМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ



«ТЕРРА» - «TERRA»
МОСКВА 1991

Владимир МАКСИМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ

КАРАНТИН

РОМАН



«ТЕРРА» - «TERRA»
МОСКВА 1991

ББК 84Р7
М 17

Художник *И. Сайко*

М 4702010201 - 27 подписное
А 30 (03) - 91

ISBN 5-85255-032-9 (Т. 3)
ISBN 5-85255-038-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1991

«ХОЛЕРА азиатская или индийская — представляет острую заразную контагиозную болезнь. Как видно уже из названия, родиной холеры является Азия; здесь она господствует эндемически в Бенгалии на низовьях Ганга и Брамапутры; временами ожесточаясь, она отсюда распространяется эпидемически на соседние части Индостана и Индо-Китая, проникает в Китай, Японию и в некоторые годы предпринимает пандемическое шествие по всем странам СТАРОГО и НОВОГО СВЕТА. Но нигде до сих пор холера вне своей родины не свила себе гнезда навсегда, то есть не стала эндемичной, хотя она, например, в России, свирепствовала много лет подряд; всегда болезнь постепенно ослабевала и затем исчезала из пораженной местности на много лет с тем, чтобы снова вспыхнуть при новом заносе заразы из Индии. Впрочем, не всякий занос холерной заразы в Европу вел к развитию пандемии; иногда дело ограничивалось отдельными или групповыми заболеваниями. Следовательно, для пандемического распространения холере требуются особые благоприятные для того условия, не вполне еще уясненные до настоящего времени».

**Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона. Санкт-Петербург, 1903 г.**

Просьпаюсь я от резкого толчка. Состав, скрипя тормозами, сбавляет ход и, наконец, останавливается. Синий плафон под потолком рассеивает по купе слабый сумеречный свет. За окном, над частоколом хмурых сосен смутно намечается восход. На диване против меня, неловко подвернув острый локоть под щеку, спит Мария. В неверном освещении ночника лицо ее выглядит почти детским. Она даже причмокивает во сне, отчего кажется еще более беззащитной. На мгновение у меня под сердцем что-то оттаивает, обмякает. Но это только, на мгновение. Передо мной тут же, во всех подробностях, день за днем возникает месяц нашей с нею жизни в Одессе, и расслабляющее тепло покидает меня, уступая место неприязни и раздражению.

Она появилась в нашем, затерянном среди песков, военном городке неожиданно. Однажды утром из коттеджа замполита Симоненка выпорхнула и поплыла по территории тоненькая золотоволосая фея в белом свитерочке и голубых, в обтяжку штанишках. Ее появление у нас сразу же повергло мужскую часть городка в протрацию, а женскую — в тревогу и ярость. На женатиков вскоре напал мор: один за другим они стали запивать мертвую, а среди холостых началось смертельное соревнование в щегольстве и опрятности. Запах гладильни и парикмахерской витал над крышами. Атмосфера рыцарского турнира воцарилась в песках.

Но сама Мария делала вид, что это ее не касается. Мария выбирала жертву. Мне, в общем-то, до сих пор непонятно, почему она выбрала именно меня. Я, во всяком случае, не приложил к этому

никаких усилий. И не то чтобы она меня отталкивала, увидеть этакое воздушное видение за триста километров от ближайшего нормального жилья и не обалдеть — было выше человеческих сил, но шансы мои представлялись мне такими ничтожными, что я даже не попытался рискнуть. Лишь к концу второй недели я почувствовал, как плавные круги, которые описывала Мария в черте нашего городка, постепенно сжимаются вокруг меня. Косые взгляды сослуживцев только подтверждали приближение развязки. Встречаясь со мной, она всякий раз с пристальным вызовом взглядывала в мою сторону, словно бы примериваясь к избранной для заклания добыче. Я смотрел, как ее рвущаяся из стильных одежек фигурка, надменно покачивая бедрами, уплывала своей дорогой, и дуновение близкой катастрофы перехватывало мне горло. Я еще выжидал, еще сопротивлялся, предчувствуя скорое разочарование, но в глубине души мне все же приходилось сознаться, что это уже неотвратимо.

Она подошла ко мне сама на субботнем вечере в клубе, подошла, высокомерно презрев возникшую в это мгновение за ее плечами напряженную тишину. В ее голосе не прослушивалось ни волнения, ни нарочитости, только уверенная властность и вызов:

— Вы танцуете?

— Нет. — Мне было нечем дышать. — Не приходилось.

— Я научу.

Остальное помнится, словно в бреду. Мария вывела меня в раздавшийся по сторонам круг, и мы медленно закружились под старомодные «Амурские волны», не замечая ничего и никого вокруг. Я видел перед собою только ее глаза — две узкие полоски мерцающей синевы в обрамле-

нии стрелчатых ресниц. Сколько это продолжалось, неизвестно. Опомнился я уже на улице. Чуткая летняя ночь сомкнула над пустыней звездное безмолвие. Жизнь вокруг ушла, зарылась в песок, оберегая сокровенные свои тайны до наступления нового дня. Мария упрямо тянула меня за собой туда — в аспидную ночь, к расплывчатым силуэтам ближних барханов. Ее молчаливая целеустремленность подчиняла меня себе, и я безвольно тащился за ней до тех пор, пока перед нами не возникло темное пятно источенной временем и полужанесенной песком сторожевой башни. И лишь тут Мария остановилась и прерывисто выдохнула:

— Ты не боишься? — явно заполняя паузу перед неизбежным, бездумно спросила она. — Нет?

— Как ты хочешь. — У меня не попадал зуб на зуб. — Если не пожалеешь потом.

— Я — нет. — И еще тверже. — Никогда!

Мария порывисто прижалась ко мне и, внезапно отпав, тут же исчезла во входном провале башни.

— Иди сюда, — позвала меня темь ее голосом. — Сюда... Еще... Сюда...

Сначала я почувствовал у себя на затылке теплые ладони Марии, затем, как ожог, прикосновение губ и, наконец, всю ее от кончиков до кончиков пальцев.

— О чем ты думаешь?

— Не знаю...

— Ты думаешь, я такая?

— Какая?

— Со всеми... вот так...

— Молчи... Не надо.

— Тебе не холодно?

— Нет... Молчи.

— Ты видишь меня?

- Вижу... Глаза вижу...
- Поедем с тобой к морю?
- Если хочешь.
- Очень... хочу.
- Поедем... обязательно.

События после той сумасшедшей ночи разворачивались в неизбежной последовательности. Уже на другой день я имел бурное объяснение с Симоненком, который кричал на меня и топал ногами, но, в конце концов, все же подписал мне отпускной рапорт. Поостыв, он присовокупил на прощанье, что дочь его замужем, что у нее есть ребенок и что, если я попытаюсь вмешаться в ее жизнь, ему ничего не останется, как свернуть мне шею.

Мы встретились с ней — в Москве и в этот же день уехали в Одессу. Море не принесло нам счастья. Уже к концу первой недели мне стало ясно, что этот рай в шалаше не для меня. Все в Марии было полной моей противоположностью: вкусы, привычки, слабости. К тому же, она оказалась не так молода, как это увиделось в самом начале. По утрам морщинки вокруг глаз, еще не тронутые косметическим флером, выдавали ее действительный возраст. Опустошенные зноем, чужие друг другу, целыми днями отлеживались мы на захламленных городских пляжах или вяло бродили по крикливым и пыльным улицам, кое-как коротая оставшееся до отъезда время. Поэтому, когда над первым судном в порту взвился черный флаг карантина, я поспешил взять билеты и с первым же поездом пуститься в дорогу...

Сейчас, при взгляде на нее, я мысленно прослеживаю короткую историю наших взаимоотношений, их праздничное начало и тусклый конец,

и мне становится не по себе. Я встаю, выхожу в коридор, машинально закуриваю. Молоденькая проводница почти бесшумно прощмыгивает мимо меня. Пробую поинтересоваться, почему стоим? Она, не оборачиваясь, пожимает плечами. Сколько ей, примерно? Лет двадцать от силы, не больше. Я пытаюсь представить ее на месте Марии и сразу же становится скучно. Серенькая страсть, серенькие разговоры, серенькая и старая, как мир, развязка!

Рассвет, между тем, крепнет, набирает силу. Сосны вдоль пути в легком налете тумана, небо над ними красной полосой во весь горизонт. Представляю себя в такое утро в лесу, и зябкая истома мгновенно сводит спину.

Мир за городской чертой никогда не вызывал во мне интереса. Я родился и вырос в Москве, и поэтому вне родного для меня каменного царства я чувствую себя, как рыба, выброшенная на песок. Все мы — Храмовы — из поколения в поколение — коренные горожане. Отец мой, Федор Валентинович, был журналист, мать — потомственная актриса. Им обоим не повезло. Она сильно пила и закончила в сумасшедшем доме белой горячкой. Он вывез с фронта закоренелый туберкулез, который и доконал его вскоре после войны. Перед учебой в Суворовском меня воспитывала бабка, придурковатая московская барынька, выброшенная революцией из шестикомнатного особняка в коммунальный клоповник окраинного дома в Сокольниках. За те немногие годы, что я прожил там, я успел полюбить ее, эту старуху в засаленном капоте и шлепанцах на босу ногу. Поэтому, при мысли о том, что, возможно, вскоре мне доведется хоронить ее, я, пожалуй, впервые в жизни искренне горевал: после нее я остался бы единственным из зажившегося на земле рода Храмовых...

— Не помешаю? — В окне за моим плечом обозначается расплывчатое, по-бабьи округлое лицо. — Не спится?

Слегка скашиваю глаза в его сторону: накрахмаленная сорочка сияет белизной из-под щеголеватой черной в белую полоску пары; рубиновая заколка посверкивает на темно-синем, в белую горошину галстук; безукоризненный пробор светловолосой лысеющей головы. Довольно странный парад для четырех часов утра!

— Рано лег, — осторожно отодвигаюсь я. — Наверное, поэтому. Да и скоро уж... Москва.

Едва уловимая усмешка скользит по бесформенному лицу моего собеседника:

— Кто знает... Кто знает... Смотрите!

Я вглядываюсь в стылую синеву сосен за окном и только тут замечаю странное движение между стволов. Постепенно из тумана начинают вывлекаться фигурки в военном. Приближаясь к полотну, они растекаются вдоль состава и замирают метрах в пятидесяти друг от друга.

— Что это? — спрашиваю я скорее себя, чем соседа. — Кажется, оцепление?

— Карантин, — тихонько говорит тот. — Вас догнал приморский карантин.

— А вас? — внезапно выхожу я из себя: меня раздражает его самоуверенная вкрадчивость. — Вас — нет?

— Я уже переболел.

— Когда вы успели?

— О, это было давно! — Он все так же тих и невозмутим. — По вашим понятиям, очень давно.

— Это надолго, карантин? — Его спокойствие злит меня. — Уж коли вам приходилось.

— Ровно настолько, чтобы вернуться к себе здоровым.

— Я здоров! Я абсолютно здоров!

— Ах, сын мой, кто может нынче поручиться за себя! Здоровы бывают только покойники. Жизнь, знаете, это — тоже болезнь... Извините.

Лицо рядом с моим плечом исчезает. Я невольно поворачиваюсь и смотрю ему вслед. Человек с черной паре плавно удаляется вдоль прохода. Удивительная у него походка: он не ступает, а как бы отталкивается ногами от пола. Так в замедленной съемке движутся бегуны. Я порываюсь было окликнуть, вернуть его, но он уже тонет в перспективе коридора. И сразу же над головой у меня принимается хрипеть репродуктор:

«Граждане пассажиры, ввиду того, что город Одесса объявлен опасным на бациллоносность, наш поезд встает на шестидневный карантин. Просьба соблюдать санитарию и гигиену. Мойте руки перед едой. Дополнительные инструкции будут переданы особо».

Прямо против моего окна топчется тщедушный курсантик с двумя лычками на погонах. У него подвижное девичье лицо и не по росту длинные руки. Время от времени он боязливо оглядывается по сторонам, как бы ожидая подвоха. Мне становится жалко этого курсантика с двумя лычками и, проникаясь к нему сочувствием, я мысленно желаю ему скорой смены: «Влип ты, братишка, вместе со мной в историю!»

Возвращаясь в купе, я снова замечая в преддверии тамбура своего недавнего собеседника. Он стоит вполоборота ко мне, рубиновая заколка в его галстукe посверкивает в мою сторону и я могу поклясться сейчас, что когда-то уже видел, да что там видел, знал это, едва вычерченное и по-женски безбородое лицо. И жгучее томление загадки принимается испытывать мою память.

II

Среди дня в купе всовывается лобастая, с начинающей сесть гривой голова:

— Прошу прощенья, четвертым в картишки не желаете?

По правде говоря, я не любитель карточной игры. Природа не наделила меня ни страстью, ни азартом, но шанс хоть на время избавиться от общества Марии подстегивает меня. Стараясь казаться как можно более безразличным, я осторожно поднимаюсь:

— Схожу, пожалуй?

— Иди.

— Я недолго.

— Как хочешь.

Мария делает вид, что углублена в книгу, но я-то вижу, как оскорбленно поджимаются ее тонкие губы и горестно морщится лоб. Кажется, она вот-вот заплачет. Мне тяжело смотреть на нее. Решимость моя катастрофически убывает, и все же, пересилив себя, я выхожу следом за патлатым гостем.

В соседнем купе наше с ним появление встречается взрывом радужного энтузиазма. В одном из хозяев я узнаю своего недавнего знакомца. Его костюм и сорочка блистают все тою же стерильной свежестью. Рубиновая заколка красуется на элегантном — черная полоса по белому фону — галстуке. Можно подумать, что он оказался здесь мимоходом, в перерыве между двумя зваными обедами.

— Иван Иванович. — Он протягивает мне руку. В его снисходительности чувствуется что-то

вкрадчивое, кошачье. — Иванов. — Как бы извиняясь, он разводит руками. — Бывает, знаете.

Напарник его, рыжий авиатор в майорских погонах, бросается поспешно раздвигать батарею разнокалиберных бутылок на столике перед окном:

— Тквен генацвале, тквени джириме!..*) Какой подкидной без четвертого!.. Пфе! — Грузинский акцент при его пронзительно голубоглазом, веснушчатом лице слышится нарочным, невсамделишным. — Будем играть и пить, вино мозги проветривает... Имею предложение: военные против штатских. — Сухая и нервная ладонь его, едва коснувшись моей, описывает в воздухе замысловатую дугу. — Жора... Жгенти.

— Я за смешанные пары, — посмеиваясь, отзывается Иван Иванович, — но если вы настаиваете...

При этом он пристально снизу вверх взглядывает на меня, и словно две крохотные лампочки загораются в глубине его выпуклых, неопределенного цвета, глаз: они начинают мерцать колко и фосфоресцирующе. В эту минуту встреча наша здесь, в заброшенном тупике глухой железнодорожной станции кажется мне совсем не случайной, а кем-то когда-то уже намеченной и предопределенной. «Везет мне на знакомства! — заключаю я. — Не заскучаешь».

Пока майор, поблескивая вставными зубами, разливает по стаканам вино, патлатый ловко перетасовывает колоду:

— Лева Балыкин партнера из-под земли выудит. У Левы Балыкина на партнера чутье. — Карты в его легких пальцах крылато порхают, распдаясь на четыре ровные стопки. — Нынче без партнера ни украсть, ни выпить. Коллегиальный

* Дорогой, твоя болезнь мне (груз.).

во всем подход, одним словом... По гривенничку что ли, для начала?.. Прошу...

Вино цвета чистой воды, чуть тронутой глицерином, почти не пьянит, расслабляющей истомой стекая от головы к ногам. Необыкновенная ясность пронизывает меня. Все вокруг постепенно принимает выпуклые и резкие очертания. Сидящий прямо против меня Иван Иванович, видно, уловив эту во мне перемену, предостерегающе подмигивает в мою сторону:

— Осторожнее, юноша! Винцо сие того... С подвохом. Как бы вам не переборщить.

— Не маленькие... Осилим. — Я не скрываю грубости. — Следите лучше за игрой... Ваш ход.

— За мной дело не станет...

Кто этот человек, неопределенного возраста и обличья, вызывающий во мне такую враждебную к себе тягу? Его можно принять за преуспевающего лектора, торгового деятеля и даже кинорежиссера средней руки и, лишь внимательно взглядевшись в него, начинаешь понимать, что он ни то, ни другое, ни третье. Все на нем выглядит, как на премьерном актере, хотя и ладно сшитым, но словно бы временным и чужим. Почти не следя за игрой, он нехотя роняет карты, но — страшное дело! — всякий раз, когда я пытаюсь блефовать, козыри мои неизменно оказываются битыми. «Вот чёрт, — берет меня злость, — будто сквозь колоду видит!»

Грузин играет азартно и безалаберно. Прихлебывая вино, он весело постреливает по сторонам бесовскими глазами, весь в движении и захлебывающейся скороговорке:

— Неудача нам с тобой, капитан. Неудачно сели. Я всегда сажусь неудачно. Когда в отряде космонавтов был, неудачно сел в машину бельгийского посла. Списали. Удобрения под Новосибир-

ском разбрасывал. Опять неудачно. Земляки попались, уговорили вино в глубинку возить. Сначала хорошо получалось. Летим, смотрю вниз, пяточок в тайге ищу. Нашел, сажусь, глушу мотор. Мамочка моя, со всех сторон бегут: кто с тазом, кто с ведром, кто с канистрой. Земляки мои шланги с бортов спустили, пошла торговля! С одного борта красное льется, с другого — белое, чемодан денег домой везем. Только местная газета подвела, хвалебную статью напечатала: «Авиация на службе торговли». Облторг шум поднял: какая-токая авиация, когда лошадей не хватает. Снова я плохо сел, совсем плохо. Два года сидел, из авиации списали. Когда отсидел, отец дом продал, вернул меня в армию. Как бог, я на всех типах летал, три года летал. Потом на стратегический поставили. Не повезло. Опять плохо сел, два ребра пополам, челюсть набок, зато две птички под крылом целы остались. Такие птички, шен генацвале, такие пташки, шени джириме, — одна взорвется, пол-Москвы нету!.. Не везет нам с тобой, амханак*), опять проиграли!

Мы с ним проигрываем еще десять партий кряду, после чего Жгенти сбрасывает карты и решительно поднимается:

— Все!.. Нет в жизни счастья!.. И вино кончилось. Пойду к соседу, земляк мой, у него еще будет. Три бочонка везет, один пускай нам продаст. Еще пить будем...

Он исчезает за дверью и его движение по коридору сопровождается оживленными возгласами и топотом. Балыкин, вдумчиво деля выигрыш на две части — себе и партнеру, с усмешкой кивает в сторону выхода:

— Загулял кацо. Теперь до самой Москвы ку-

* Амханак — товарищ (груз.).

ралесить будет. — Ребром ладони он придвигает кучку мелочи Ивану Ивановичу. — Мы с вами квиты, ровно по два сорок на пайщика. — Аккуратно ссыпав выигрыши в старенькое портмоне, Лева прячет его под подушку на верхней полке. — Подремлю-ка я минуток полтора, делать все равно нечего... Адью!

Неожиданно легко Балыкин в два движения взлетает вверх и вскоре оттуда раздается завидное посвистывание.

— Однако, печет. — Иван Иванович брезгливо отмечает причитающуюся ему мелочь в сторону. — Ни облачка.

Зной, кажется, закупорил в вагоне все щели и отверстия. Воздух словно спрессован из запахов пота, еды и залеженных постелей, с едкой примесью вина и одеколона. Лесополоса за полуспущенным стеклом будто намертво приклеена к белесому заднику неба, до того все в нем выглядит недвижно и тускло. Даже хрустящий стрекот крылатой мелюзги в придорожных травах не скрашивает душного безмолвия.

— Да, застряли. — Я намеренно оттягиваю возвращение к себе. — Не хочешь, напъешься.

— На ваше счастье осталось. — Мой визави мгновенно отделяет от строя опорожненных посуды одну, еще непечатую, но я могу поклясться, что она всего минуту назад была пуста. — Прошу вас.

Наполняя стаканы до краев, он смотрит на меня в упор, в его глазах вновь вспыхивают уже знакомые мне, мерцающие огоньки, и я, не в силах избежать соблазна, принимаю вызов.

— Пить, так пить. — Внезапное облегчение от того, что мне теперь не надо спешить к себе в купе, возвращаться к опостылевшей скуке обязательных разговоров с Марией, подхватывает меня.

— Где наша не пропадала.

— Ваше. — Он поднимает свой стакан. — Будьте здоровы! — Глядя на меня сквозь вино, Иван Иванович улыбается грустно и многозначительно. У меня такое чувство, будто я нахожусь в преддверии какого-то очень важного для себя открытия, которое многое в моей судьбе прояснит и обозначит. — Прекрасное вино!

Безвольно отдаваясь горячечному волнению, я не выдерживаю наступившей вслед за этим паузы:

— Откуда вы?

— В общем, — он неопределенно помахивает ладонью, — издалека. Даже угадать не затруднитесь.

— То ли я вас видел где-то, то ли...

— Очень может быть... Очень.

— Где же? — почти кричу я. — Где?

— О! — еще печальнее и многозначительнее улыбается он. — Наверное, и не один раз. Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории. В нас с вами записано все: охота на мамонтов и восточная клинопись, тайны пирамид и Библия, откровения французской кухни и теория относительности. Все, буквально все, зашифровано в наших генах. Надо лишь подобрать ключик к этому шифру. И тогда окажется, что мы с вами не только встречались, но и находимся, так сказать, в родстве, фигурально, разумеется... Не смейтесь, у нас у всех один праотец — Адам. К сожалению, мой друг, а может быть, к счастью, ключик этот спрятан весьма надежно. Иначе бы на земле от пророков проходу не стало. Заставь тогда кого-нибудь работать! Кое-кому, правда, удастся огромным усилием ума и воли вскрыть в себе частичку-другую. В результате, на свете появляется Магомет или Бах, или еще что-либо стоящее. А мы с вами,

мой друг, можем только догадываться, догадываться и уповать. Да, да, догадываться и уповать! Иной раз провидение балует нашу память мимолетным фрагментом из давно минувшего, и мы начинаем томиться духом и скорбеть. И все, и ничего более. Никто не может прочесть всего, никто. Никому, никому не дано заполучить ключик.

— Вы так говорите, — хмель понемногу одолевает меня: все начинает плыть и кружиться у меня перед глазами, — словно этот ключик у вас в кармане.

— Как знать, мой друг, как знать. — Расплывчатое лицо его обретает вдруг медальную резкость, бесцветные зрачки темнеют, как бы втягивая меня в свою обжигающе головокружительную пустоту. — Все может быть, все может быть, мой друг.

Во мне словно бы смыкается цепь времен: я неожиданно слышу в себе отзвук иных, нездешних голосов и начинаю прозревать перед собою иные, ни на что не похожие дали...

III

СОН О КРЕЩЕНЬЕ

Сквозь сизые пласты утреннего тумана река внизу казалась недвижимой и почти вороной. Там — за студеным лезвием Днепра, над самой кромкой степи висело багровое солнце. На иссиня белом фоне умытого неба оно выглядело раскаленным докрасна умбоном* с княжеского щита. Степь по ту сторону реки слегка дымилась, источая окрест резкий запах целинного разнотравья. День обещал быть тихим и безоблачным.

Глядя в заречный простор, Илья снова и снова переживал предстоящее ему вскоре испытание. Еще при блаженной княгине Ольге стараниями греческих монахов по киевским городищам стал укрепляться соблазн новой веры, именуемой ими христианской. Доходило до того, что кое-где осмелевшие прозелиты свергали идолов, воздвигая на месте древних святилищ молитвенные дома с писаными на досках ликами. Чужд был и непонятен Илье Бог, который безропотно отдает себя на распятие простым смердам. Ему ли, дворовому мастеру ратного князя Владимира, веровать в загробную жизнь и прощать врагам своим? Куда надежнее казались ему грозный Перун, щедрый Дажбог и оборотистый Волос. Сколько их, высеченных его руками из упрямого камня и коварно податливого дерева, стоит вокруг Киева посреди старинных кумирен! Горько было думать Илье, что сегодня посадские смерды сволокут его идолов в днепровские

* Умбон — центральная металлическая часть щита (древнерусск.).

воды. Ведь в каждого из них он вложил часть своей души, все добытое им в трудах и бдениях умение. Определенный княжеской волей к пленному греку в подмастерья, Илья не один год постигал хитрую науку управляться с тяжелой породой и мореным дубом. И каким потом, какой кровью она далась ему — эта наука! Грек и мытарил, и поколачивал его, но дело свое не таил, щедро делясь с ним тайнами мудреного ремесла. Медленно, временами отчаиваясь и воскресая вновь, пробивался Илья к живой душе заготовок. Прежде, чем выявиться перед ним, они долго и цепко сопротивлялись, утаивая от него свой сокровенный лик, свою суть и форму. И когда, наконец, первая из них не растеклась из-под его рук, а затвердела в просеченных им чертах и линиях, он уже не мыслил себе иной судьбы. Могущество сотворенных богов стало для него залогом его веры в свое дело и назначение. Глядя на них в часы молитвенных бдений, он словно бы заново приобщался к их немотному величию. Они жили в нем, а он — в них, и поэтому неизбежность увидеть вскоре дорогих его сердцу идолов поверженными представлялась ему сейчас чем-то ужасающим и уже непоправимым.

Несмотря на раннюю пору, Киев за спиной у Ильи растревоженно гудел: со всех концов города народ стекался к воротам княжеского подворья, откуда назначен был торжественный выход для крещения в новую веру. Илья знал, что перед тем, как киевский люд, следом за константинопольскими святителями, хлынет к Днепру, дворовые князя на глазах у всех проволокут по берегу свергнутого Перуна и столкнут его в безмолвную речную стремнину. Того самого Перуна, которого еще совсем недавно сладил он по приказу Владимира в честь победы над ятвягами. Он вложил в извая-

ние не только все мастерство, переданное ему учителем, но и обретенный затем дар ума и воображения. Казалось, впервые бездушное дерево ожило у него под рукой, одухотворенное его резцом и страстью. Грозный бог возвышался над сооруженной по этому поводу кумирней, наводя трепет на всякого, кто осмеливался поднять на него глаза. Илья не мог, да и не хотел смириться с тем, что из-за такой безделицы, как клятва князя под Корсуном*, можно с легким сердцем попрасть веру отцов, столько лет хранившую Русь от оскудения и нашествий. Правда, и до этого бабка Владимира, блаженная Ольга, окружив себя пришлыми проповедниками, обращала слабых и неразумных крестом и молитвами, но стараниям ее не сопутствовала сколько-нибудь заметная удача: простой люд крепко держался своих испытанных веками привязанностей. Теперь же кумирам воочию грозила скорая и неотвратимая гибель: еще не было случая, чтобы молодой князь поступился словом. Илья был уверен, что гнев поверженных кумиров поразит Русь, предав ее за святотатство неисчислимым бедствиям и позору.

И, словно первым вестником его скорбного предчувствия, где-то там, на выходе из города, возник плач. Одиноко и коротко плач рассек вязкую тишину над рекой, и тут же, подхваченный множеством голосов, разом заполнил береговой простор. Через минуту подъемный мост опустился, ворота медленно распахнулись и в обнажившемся их провале, в окружении двенадцати дворовых смердов возникла дубовая волокуша с закрепленным на ней сыромьятью кумиром. В слезах и в поту смерды секли низвергнутого покровителя, сопро-

* Под Корсуном Владимир поклялся в случае победы крестить Русь.

вождая его вниз по отлогому спуску и многоголосое отчаянье сопровождало их в этом движении. Следом за ними из ворот в блистающих узорчатых шитьем облачениях появились святители во главе с греческим митрополитом Михаилом, позади которых об руку с князем ступала молодая княгиня Анна. Византийская гордячка, силой выданная за варвара во имя торжества Господня в недоступных для оружия оскудевшей империи землях, будто и не шла вовсе, а плыла, блистая височными кольцами и наручью, по воздуху, вознесенная над твердью сознанием собственного значения и святости. Всеобщий вопль позади как бы не касался ее слуха. Бесстрастная в своем высокомерном презрении к этому дикому и неблагодарному народу, она двигалась бок о бок с нелюбимым мужем, и он, заметно заискивая перед ней, принаравливал шаг к ее царственной поступи.

«За что мне ниспослано такое испытание? — горевал Илья, прослеживая путь своего детища к близкой воде. — Неужто так прогневал я богов, что нету у них для меня спасения от этой вот нынешней напасти быть крещену?»

Когда мерин с привязанной к его хвосту волокушей ступил в воду и людской плач, снова набрав силу, воспарил к розовеющему небу, Илья отвернулся, не найдя в себе силы увидеть, как чьи-то покорные руки столкнут дорогое его сердцу изваяние вниз по Днепру. Ноги сами понесли его прочь от этого, проклятого отныне небом берега, туда, где вдали за выступавшей к реке городской стеной синела ступенчатая полоса леса. Нет, не мог он предать их, своих богов и кумиров! Никакая сила в мире не посмеет заставить его теперь принять чужеземную веру. Только жизнь в нем принадлежит князю, а собственной душой он распорядится сам. Разве простым омовением в освященной кре-

стом воде можно приобщиться к небу? Нет, где бы его ни настигла карающая воля Владимира, он умрет, не омрачив сердца святотатством.

Ярость гнала Илью все вперед и вперед, к синееющему вдали лесу, и он бежал, не чувствуя под собой земли, пока дорогу ему не заступила темная бесформенная фигура:

— Бежишь божественного крещения, сын мой?

— Прости, отец. — Он сник и остановился, узнав в незнакомце одного из монахов, привезенных в Киев молодой княгиней, без которых с тех пор она обходилась разве лишь по ночам. — Не волен я верой.

Монах молча, в упор рассматривал его, но в волглых, выпуклого разреза глазах грека не таилось ни угрозы, ни предостережения, скорее усмешка или даже озорство:

— Кто ты?.. Чей?

— Киевского князя мастеровой, отец.

— Как зовут?

— Ильей.

— Роду какого?

— Я..

Откуда же знать Илье, какого он рода и племени! Известно ему было только, что еще несмышленьшем завезен был он в Киев торговыми людьми, подобравшими его где-то на спаленном половцами стану, и взят затем у них княжеской челядью из милости. Он был ширококул и узкоглаз, но льняной волос и рост выдавали в нем уроженца лесного края. Азиатская кровь проезжего молодца, чуть ужесточив славянские черты, придала им мужества и своеобразия.

— Не ведаю, отец. — Илья почувствовал, как исходившая от собеседника и необъяснимая для него сила властно обволакивает его, лишая языка и воли. — Не наречен еще...

— Я нареку. — Слегка женоподобное лицо монаха вдруг потемнело, сделалось четче, определеннее. — Мною и крещен будешь. Гнев твоих деревянных идолов короток. Бог, которого можно купить щедрым приношением, слаб и уступчив. Я приобщу тебя спасительных тайн истинной веры. Там, на кресте Сын Человеческий благословил всех и каждого в отдельности. Тебе еще только суждено было родиться, а он в крестной муке уже купил все твои грехи и прегрешения. Любовь Спасителя вечна и беспредельна, но бес — царь тьмы — не дремлет, соблазны прельщают человека от колыбели до могилы, и посему Царствие Божие даётся ему огромным усилием. И ты возьмешь это Царствие, но усилие твое будет долгим и мучительным. Нет в людской памяти такой боли и такого пламени, какие тебе не довелось бы испытать. В твоём пути будут поры, когда самая смерть ты будешь вымаливать у Всевышнего как милость и избавление. Многожды распнут тебя в укор и назидание потомкам, многожды прельстишься ты мнимой властью и ложной славой и во имя их преступишь закон. Но помни, сын мой, что на Третий день петух споет для тебя, ибо ты — избран, тебе в конце крестного пути откроется Истина и Красота. — Рука его мягко опустилась на плечо Ильи. — Не страшись, отрок, Господь не оставит тебя... Я буду рядом с тобой... Везде... Всегда... Закрой глаза...

Ладонь монаха на его плече сделалась почти невесомой. Сначала была крошечная тьма с уходящими в самую ее глубину разноцветными кольцами. Потом в эту тьму, словно туман сквозь черное сито, стало струиться слепящее сияние. Золотистый свет, растекаясь вдоль перспективы, казалось, заполнил его всего, целиком. При этом свет этот как бы испускал звук. Никогда раньше Илье

не приходилось слышать музыки более сладостной. Музыка звучала в нем, исходя откуда-то изнутри, из самой сокровенной его глубины. Постепенно перед ним стали выявляться очертания каких-то диковинных строений, уходящих плоскими крышами в облака. Нити гигантской паутины соединяли их, и птицы сказочной величины кружились над ними. Разглядеть большего Илье уже не довелось: видение начало заплывать красным. Фон стремительно багровел, пока окончательно не обратился в одно кровавое пятно, из которого, в свою очередь, выплыло что-то праздничное и голубое, принявшее в конце концов обличие паруса, множества парусов. Паруса неслись навстречу ему, но движение их происходило как бы в другом, не соприкасавшемся с ним пространстве, и оттого они не приближались к нему, а, наоборот, становились все призрачнее и туманней. На борту каждого из них он прозревал лица, великое множество лиц. Белые, черные, желтые, молодые и старые, в одеждах, им доселе невиданных, — они текли мимо него, озаренные тихим и голубым светом...

— Ты видел? — Голос монаха снова пробился к нему. — Но до этого еще далеко, очень далеко. Сначала ты познаешь кровь и прелесть, много крови, и много прелести и, чтобы укрепить твое сердце, я соединяю тебя с Ним таинством крещения. — Илье почувствовал обжигающую свежесть речной воды на коже. — Во имя Отца... и Сына... и Святаго Духа!.. Аминь. Отныне, отрок, ты уже не сам по себе, а с Ним, и путь твой будет дорогой к Нему. Твой старый идол — прах, тлен, соблазн испуганного ума, забудь о нем. В твоих руках дело, которым ты послужишь истинному Богу. На месте бесовского капища ты воздвигнешь храм во имя Его. И в память первому подвигу своему станешь сыном

**Храмовым. И вся порода твоя до скончания веков
— Храмовы...**

Затем опять была тьма и беспмятное забытьё. Очнулся Илья все на том же безлюдном берегу, где и началось для него это, теперь уже ставшее вещим, утро: тек Днепр, вставало солнце, великим плачем гудело небо над Русью.

IV

Нет, Мария не обиделась на него, когда он ушел, оставил ее одну. Мария не умела на него обижаться. Он был для нее ребенком, которому она прощала все. Еще там — в песках, она знала, что внезапная страсть его — от гарнизонной скуки, от одиночества и что запала в нем хватит ненадолго. Слишком уж слепящей и звучной оказалась вспышка. Хотя, предполагая разрыв, Мария в глубине души все же надеялась, что это произойдет не так скоро и бесповоротно. С отчаяньем цеплялась она за эту очередную свою любовь, пытаясь хоть на какое-то время оттянуть, отсрочить неизбежную развязку. Едва ли она действительно любила Бориса, скорее жалела его и себя в нем, но расстаться с ним именно сейчас, казалось, было выше ее сил. Разве она не имела права на свою долю радости в этом мире? Чем одарила ее судьба? Что дала? Мужа, к которому она не питала ничего, кроме благодарной снисходительности? Ребенка, отца которого ей самой так и не пришлось по-настоящему разглядеть? Семью, с которой у нее давно не было ничего общего? После того, как в четырнадцать лет ее растлил их сосед по квартире, буфетчик вокзального ресторана Ашот Туманян, у нее не оставалось иллюзий. Старый армянин проделывал с нею такое, после чего она зачастую становилась противна самой себе. Но постепенно все это сделалось для нее правилом и потребностью, остальное выглядело приевшимся и пресным. Три раза в неделю Мария с утра ходила в специально для этого нанятый Туманяном домик на окраине города за своей мерой запоздалой старческой страсти. Ашот не стеснял ее во времени и

расходах, и вскоре она приучила себя жить широко и вольно. Буфетчик умер неожиданно, парясь в бане. После старика не осталось ничего, кроме долгов и крупной растраты. Подхваченная первым же ветром, Мария закружилась в водовороте угарного разгула. Переходя из рук в руки, она лишь уверила себя, что ждать ей больше нечего, что счастье обошло ее стороной и что один вздох прожитый день стоит спасения. Будущий муж вытащил ее из подпольной сочинской «хаты» уже беременную, расписался с ней, увез в Москву, в свою холостяцкую комнатку в Хамовниках, и ни разу не попрекнул прошлым. Родившейся затем дочери он дал свое имя и фамилию, по-отцовски, с завидным постоянством относясь к ней и ее балуя. За все это Мария была благодарна ему, но поделиться с ним чем-то большим ей было не под силу. Его целомудренная верность (до нее он не знал женщин), его молчаливое обожание вызывали в ней глухую и все возрастающую с годами неприязнь: «Малахольный какой-то!» Даже изменить ему у нее не хватало воли, слишком уж удручающе жалкими представлялись ей последствия. Борис стал ее первым после замужества любовником. В нем для нее было все, чего не хватало мужу: темперамент, бесшабашие, щедрость души, умение жить размашисто и легко. Именно поэтому Мария страшилась сейчас потерять его, страшилась снова остаться наедине с убогой скукой семейной карусели, какая закружит ее сразу же по приезде в Москву. Сознание того, что впереди ей уже не светит ничего лучшего, только обостряло в ней возмущение и протест: «Не хочу, хватит, надоело!»

Зной снаружи исподволь матерел, заполняя купе крепнувшими запахами мазута и нечистот. В коридоре за дверью раздавались ропот и голоса:

- Перехватили-таки!
- Всего и ходу-то часа на три осталось.
- Позагораем теперь!
- Вроде уж некуда.
- Не можешь — научат, не хочешь — зас-

тавят.

- И не удерешь, кругом — оцепление.
- Курсантики желторотые.
- Серьезное дело — холера!..

Холера! Мария услышала о ней еще перед отъездом из Одессы. Что-то зловещее и грозное сквозило в самом этом слове. При одном его упоминании сердце Марии томительно и зябко холодело. Сквозь смутную тревогу в ней все эти дни упорно пробивался страх перед опасностью куда большей, чем самая болезнь. Предчувствие некоей непоправимой беды впереди заставляло ее душу время от времени обморочно замыкаться и падать. Еще в детстве она слышала однажды от своей бабки об эпидемии двадцать первого года, и ей, тогда совсем ребенку, на всю жизнь врезалось в память выражение старческого лица при этом: чуткое и напряженное одновременно, будто у птицы в полузабытьи. Что же она несет с собой, эта хворь, кроме страдания и смерти?..

В дверях, расцветиваясь всей белизной полнозубого рта, появился иссиня-черный великан в застиранной тенниске и пижамных штанах. Впереди себя он втискивал в купе выдавший виды фибровый чемодан, оснащенный с двух сторон притороченными к нему подушками.

— Шобвыменятаклюбиликакакявас! — вместо приветствия провозгласил гость звучным тенором и, уже членораздельнее, добавил: — Я — к вам. Меня послали сюда ваш супруг.

С аккуратной деловитостью он определил чемодан на полку, сел, отдышался и лишь после это-

го, глядя в сторону Марии влажными смеющимися глазами, объяснил ей причину своего вторжения:

— Они там пьют, дико пьют. А я не имею никакого терпения к пьяным. Генацвале устроили там целый привоз. Ваш супруг тоже пьет, но он пьет вполне интеллигентно, культурно пьет ваш супруг. Сразу видно — офицер. Он сказал мне: «Идите к нам, у нас свободное место». — Гость озабоченно откинулся на спинку дивана. — Моя фамилия Гершензон. Зовите меня просто Фима.

— Он не собирается к себе? — Горечь душила ее. — Вы не спрашивали?

— Что вы! — замахал руками тот. — Они там так пьют, так пьют, прямо, как в кино!

Богатырь выглядел лет на тридцать, но, судя по устойчивому брюшку, выпирававшему из-под резинки полосатых штанов, был, наверное, несколько старше. От него, от его крупного уверенного тела исходило обаяние хваткого, но безобидного зверя. Такие, вроде него, она знала это по опыту, легко сдаются и еще легче забывают.

— Только до Москвы или дальше? — невольно оттаяла Мария перед неистоцимым дружелюбием попутчика. — Может быть, с Борисом по дороге?

— Нет, не дальше, нет! — Словно защищаясь, он поднял ладонь на уровень лица. — Боже упаси!

— Что так? В первый раз?

— А! — пренебрежительно поморщился Фима, давая тем самым понять собеседнице, что ему доводилось бывать в городах и позначительнее. — Просто мне все это надоело.

— Не понимаю.

— Мне надоело хоронить Гершензонов.

— Так плюньте.

— Легко сказать, плюньте. Вы знаете, что тогда скажут остальные Гершензоны? Что я небла-

годарное животное, что мне не дороги могилы моих предков, что таких, как я, надо давить еще в колыбели. И чего они только не скажут, все эти Гершензоны, а сами будут сидеть дома и ждать моего подробного отчета. О, если бы вы знали во что мне это обходится! Вот, хотя бы, вспомнить дядю... Вы не торопитесь?..

Не ожидая ответа, он уселся поудобнее, явно для рассказа долгого и обстоятельного.

САГА О ПОХОРОНАХ

— К слову будет сказать, по-моему, он мне такой же дядя, как я вам племянник. Но он был — Гершензон, и этим сказано все. Остальные Гершензоны, сколько их есть от Киева до Пятихаток и обратно, считали его, по крайней мере, дядей. Вы спросите, почему такое внимание к обыкновенному старику? Законный вопрос, скажу я вам. Так вот, у этого Гершензона было имья. А вы знаете, что такое для еврея имья? Значит, вы ничего не знаете за евреев. Имья для еврея — это путеводная звезда, предел мечтаний, цимес жизни. Именно поэтому каждый еврей в душе — космонавт. Спросите, почему? Законный вопрос. Обыкновенный еврей рассуждает так: сел, взлетел, стриги купоны. Риск его не пугает. Для еврея вся жизнь это — риск, уже только потому, что он — еврей. Один маленький погром — и вы играете в один большой ящик. Смею вас уверить, за малюсенькое имья еврей готов совершить подвиги, которые не снились никаким там Гераклом или Геркулесам. Кто-то, а еврей знает, что у человека можно отобрать все, кроме имени, которое может кормить. Так вот, этот мой дядя или просто родственник был, извиняюсь, старый большевик. А вы знаете, что такое в наше время старый большевик? Это, будьте уверены, сто двадцать чистыми, плюс сухим пайком, плюс личный стульчик в президиуме. Неплохо, а? Я уже не говорю об связях, об подписи в «группе товарищей» и других добавках. К сожалению, мой дядя, как говорится, почти не просыхал. Говорят, он заливал боли в почках, потому что его очень

сильно били до революции. Правда, после революции его тоже били и, говорят, еще сильнее. Проживал он в маленьком городишке под Харьковым, где, как он сам выражался, когда-то и устроил всю эту заварушку. Проживал он там, любовался делом рук своих и закусывал белую, извиняюсь, головку, ответпайковой колбасой. Вообще-то, это я к слову, говорят, он совсем не закусывал, что, наверное, и свело его в могилу. Калорийное питание, как известно, способствует долголетию. Хороший кусок курицы каждое утро и, уверяю вас, вы в списке долгожителей планеты. Надеюсь, вы понимаете, что мой дядя, а это оказался-таки действительно мой дядя, иначе я бы не получил личной телеграммы от его сожительницы Серафимы Павловны, хорошая женщина, дай ей Бог здоровья, скончался от белой горячки. Сказано, как говорится, сделано, надо ехать. Во-первых, умер знаменитый Гершензон, а во-вторых, есть шанс попасть в газету. Гершензоны делают складчину, и я скорым поездом выезжаю к месту назначения. Еду, сами понимаете, волнуясь: толпы, речи, оркестры, это, знаете, не для меня, я человек тихий, люблю сидеть на галерке, но, признаюсь вам, лестно. С попутчиками проявляю в разговорах подчеркнутую значительность, навожу, намекаю: вы, мол, мы, мол, и так далее и тому подобное. Проводника в такой ужас вогнал, что он, как заперся у себя, так уже и не выходил, даже на остановках. Подъезжаем, выглядываю в окно: метель метет, ничего не видно. Ужас! Иду к выходу, сердце — ёк-ёк! — сейчас грянут. Но, ничего себе, тихо, как в постный день в синагоге. Спускаюсь на перрон, — здравствуйте, я ваша тетя! — никого. А метель такая, что Боже упаси! Хорошо, что у меня под низом теплый, извиняюсь, полупередничек подойдет. Смотрю, идет какой-то в красной фуражке мне навстречу.

Ну, думаю, наконец-то, наверное, в помещении вокзала собрались, шутка ли сказать, такая погода. «Извините, — говорю, а у самого сердце, как рыба об лед, — где здесь Гершензон умер?» Поглядел он на меня пьяным глазом и говорит: «Пить, — говорит, — меньше надо, гражданин. Транспорт, — говорит, — не питейное заведение». А сам мимо меня — к вагон-ресторану. Нет, думаю, хитришь, босяк! «Митинг, — говорю, — где? У вас или в исполкоме?» Тут он за свисток и ходу. Я за ним. Еле, знаете, потом я в доротделе тройком откупился. Иду по городу, Боже ж мой, метет кругом. Какая там улица, какой там номер — одни телеграфные столбы! Так, наверно, и ушел бы по тем столбам до самого Харькова, но попалась добрая душа, довела за пятерку по адресу. Вы думаете, около дома кто-нибудь знал, где здесь умер Абрам Гершензон? Как бы не так! Убей меня Бог, ни одна живая душа! Но-таки, повезло мне. Поднимаюсь по лестнице, а навстречу мне старушка — божий одуванчик в черном платочке. В молодости она, видно, была ого-го! Орлеанская дева! Меня в этом, уверяю вас, не проведешь, я мальй битый. Взглянула на меня бывшая красавица: «Вы Гершензон?» «Я Гершензон!» Впилась она в меня, давно, знаете, на меня никто так не смотрел, а я, сами видите, парень что надо. «Только, — говорит, — он рыжий был». И тащит меня за собой наверх. И, Боже ж мой, представьте себе: на пятом этаже новой застройки, в однокомнатном ее сарайчике стоит в окружении трех таких же, как моя, одуванчиков некрашенный гроб, а в нем мой дядя Абрам Гершензон, сын своей матери, в синей постиранной робе, в какой теперь у нас в Одессе не увидишь и последнего биндюжника. Взглянули на меня все три эти Божьи создания и дружно ахнули: «Господи!» Посмотрел я в лицо своему дяде, словно волшебное зеркало

передо мной поставили, лежит в гробу точная моя копия лет этак через сорок, только порыжевшая от времени. Не успел я поздороваться, ломится в комнату босяк в ватнике, еле на ногах стоит: «Где тут ваш жмурик, — хрипит, — мотор глохнет». Нет, я ему ничего не сказал, я только хорошенько посмотрел на него, и он, сами понимаете, сразу протрезвел. «Извиняюсь, — говорит, — я по договоренности за покойником». И даже шапку снимает, босяк. Что делать, надо дело делать. Метель за окном на глазах звереет. Пришлось, хоть и не положено по обычаю, заколачивать крышку прямо в доме. Не выносить же дядю в чем есть на такую бурю. По мне, знаете, умер-шмумер, лишь бы был здоров. Заколотили мы с шофером гроб и понесли вниз на двор. Представляете, стоит у подъезда обшарпанный самосвал, подрагивает боками, как рысак от холода, дядю моего дожидается. Втиснули мы его кое-как через задний борт, двух одуванчиков к шоферу, с двумя я в кузов забрался и двинулись мы, как говорится, сквозь снег, сквозь ветер и звезд ночной приборой на кладбище. Впереди — кошмар, позади — тьма. Качка, как в шторм у нас в Одессе, шофер, видно, добрал по дороге. Но до места, слава Богу, дотянули благополучно. Ищем могилку, нет могилки! Туда-сюда: пусто, как в кармане у меламеда перед самой Пасхой. Одуванчики мои совсем сникли. Одна только Орлеанская дева стоит с каменным лицом, губы в тонкую ниточку. «Мы же с ним договорились, — шепчет, — он же мне слово дал!» Ей-Богу, посмотрели бы вы на нее в эту минуту: крохотные кулачки сжаты, в глазах огонь сверкает, цыплячья грудка, как море под перелицованным демисезоном ходит. Вылитая Жанна д'Арк! Вот так, наверное, она бросала полки под белые пулеметы. Смотрю я на нее и, будто не вьюга, а тугие знамена свистят над ее го-

ловой и сотни глоток захлебываются впереди нее от ненависти и восторга. «Если гора не идет к Магомету, — говорит, — то берегись, гора!» Командует шоферу: «Поворачивайте к горсовету!» «Что вы, гражданка, — трясется, — из меня начальство лапшу резать будет». «Поворачивайте, — говорит, — приказываю!» «Есть, — говорит, — гражданка, только вся ответственность на вас». Повернули. Я, знаете, человек дорожный, всякую езду видел, но не дай вам Бог когда-нибудь проделать такие два конца! Старушки прилипли ко мне с двух сторон и я летал с ними в обнимку вокруг взбесившегося ящичка с моим дядей, как ракетоноситель, потерявший управление, и никакая сила не могла остановить этой сумасшедшей карусели до самого города. Вы смотрели кино «Адские водители»? Так я вам скажу, что по сравнению с нашей, ихняя езда просто «Танец маленьких лебедей» из оперы «Щелкунчик» композитора Римского и Корсакова. Когда мы остановились около горсовета, моих бабушек нужно было собирать по частям. Им, к счастью, повезло, я по специальности часовщик. А Орлеанская дева уже командует снизу: «Заносите в приемную!» Сказать, что шофер наш испугался, значит, извиняюсь, ничего не сказать. Он гнусно вибрировал, сновал глазами в землю, цеплялся за баранку, как за спасательный круг. Но старуха так на него посмотрела, так посмотрела, что спаси вас Боже, чтобы на вас кто-нибудь когда-нибудь так посмотрел. Босьяк не знал, куда девать себя от стыда. Вдвоем с ним мы подняли моего дядю на второй этаж и нас никто не задержал, видно, думали, что так положено. Зато около приемной началось такое, что ни в сказке, как говорится, сказать, ни пером описать. Секретарша, ничего дамочка, между прочим, на вас похожа, кричит, как зарезанная, милиционер свистит, граждане посетители на стен-

ки лезут. Что тут было, сколько ни рассказывай, все мало. Но Дева наша тоже не из робких. «Как! — митингует. — Старого революционного бойца не можете похоронить по-человечески! — И огненным глазом в нашу сторону, как по фронту. — Вперед!» Но тут, дай ему Бог тоже справить столетие, выскакивает из кабинета сам товарищ, забыл фамилие. Дева к нему: «Вы же мне слово дали! — И сухонький кулачок ему свой, словно маузер, под нос тычет. — Где ваша партийная совесть?» «А в чем дело? — бледнеет тот. — Я дал команду». «Грош цена вашей команде, — не отступает Дева. — Извольте снова скомандовать». Что тут было, лучше умолчу, чтобы вас не расстраивать. Дом качало от его крика: «Где Иванов!», «Где Петров!», «Где Сидоров!», «Выгону!», «Уволю без выходного!», «Не потерплю!», «Всех под суд!» и так и далее и тому, поверите, подобное. Короче, понесли мы Абрама Львовича обратно, то есть вниз. Понести-то мы его понесли, только шофер, видно, такого страху натерпелся, что у него ноги стали заплетаться. На повороте лестницы качнуло, беднягу, не в ту сторону, он и пошел носом ступеньки считать и гроб за собой потащил. Ну, и загремел мой дядя всеми костями с досками вперемешку следом за ним. Дальше был громкий ужас и столпотворение. Все понеслось в могучем урагане: изо всех щелей некрашенного ящика расползается мой дядя, душа одуванчиков смертным страхом через глаза выходит, шофер собственной кровью умывается, начальник сзади в икоту ударился. Но Дева на месте, головы не теряет. «Без паники! — останавливает она бегущие цепи. — Веревку, быстро!» Масса почувствовала крутую руку командарма, волнение несколько улеглось, и вскоре бой разгорелся с новой силой. Короче, с горем наполовинку, увязали мы доски вокруг покойника и по-

тихонечку снова транспортировали его к самосвалу. Слава Богу, в этот раз Божьих мошек моих председатель, жаль, забыл его фамилие, повез на своем лимузине следом. Вперед был отправлен нарочный со строжайшим приказом разыскать могильщиков живых или мертвых и в любом случае заставить их вырыть яму. На мое счастье, водитель совсем в себя пришел, ехал до самого кладбища, будто с грузом неупакованных яиц. Двигались мы, как сквозь мягкий сугроб: метель гудела без дна и просвета. К погосту подъехали, темнеть начинало. Смотрим могилку, нет могилки. Начальник к сторожке. Только ведь не мне вам говорить, запертую дверь горлом не откроешь. Плюнул председатель, забыл его фамилие, сказал в сторону от женщин пару ласковых слов и к шоферу: «Ломай!» Ломать не делать, скажу я вам, через минуту перед нами открылась картина, достойная кисти художника. Прямо на полу помещения, как четыре сосиски без гарнира, плечом, что называется, к плечу, дрыкли труженики кладбищенской санитарии, и мне невооруженным глазом было видно, что никакая сила не сможет поднять их до самого следующего утра. Тут очередь взвыть волком дошла до начальника. «Что же это? — трясся он, а у самого в глазах стояли горькие слезы обиды. — Что же это такое? Нету, выходит, в моем городе никакой власти, кроме белой головки?» «Если бы только в вашем городе, — снизошла к нему Дева, — места сухого не осталось, пропили революцию». Но здесь, вдруг, словно подменили нашего председателя на совершенно другого человека. Смотрит он вокруг себя фронтовым соколом, в глазах решительность и упрямство, брови дугой выгнулись. «Это мы еще посмотрим, — говорит, — кто — кого, это мы еще увидим, дорогой товарищ. — И кивает мне в угол, где кирки и лопаты сложены. — За

мною!..» Стреб я инструмент в охапку и рванулись мы с ним вслед за Орлеанской девой сквозь пургу к своему участку. Барабаны Каховки гремели над нами и громко строчил пулемет, и девушка наша в солдатской шинели, то есть в перелицованном демисезоне, шла впереди нас и освещала нам путь светом своей любви. Господи, как мы работали с ним в тот незабвенный день! Как работали! Киркой, лопатой, казалось, даже зубами, ногтями рвали мы под собой мерзлый грунт, и сводные оркестры всех родов войск взрывались у нас в головах композитором Шопеном. Короче, один молодой еврей с одним пожилым хохлом-председателем, забыл его фамилии, за полтора часа заделали для старого революционного бойца такую усыпальницу, что дай нам с вами Бог, живите вы сто лет, что-нибудь похожее после нашей смерти. А когда мы его, наконец, засыпали, начальник, пусть будет он счастлив в жене и в детях, даже сказал речь. Коротко обрисовал пройденный покойным путь, отметил заслуги, подчеркнул вклад и закончил, как положено в таких случаях: «Спи спокойно, дорогой товарищ!» Сами теперь видите, что страхи мои были напрасными. Торжественная церемония состоялась. Вы скажете, нет? Тогда пододьем бабки. Власть пришла? Пришла. Оркестры пели? Пели. Доклад был? Был. Родные и близкие рвали волосы над могилой усопшего? Кому было чего, тот рвал. Одному только удивляюсь, наудивляться не могу, куда потом делась моя Прекрасная Орлеанка, куда пропала? Сколько я ни вглядывался дома за столом в четырех своих древних подружек, различить, кто же из них моя недавняя предводительница, так и не мог. Они были похожи друг на друга, как четыре стертые монетки одного достоинства... Зачем, говорите, сейчас еду? В Москве

умер мой двоюродный дедушка — поэт Осип Гершензон. Не слышали? Нет? Жаль. Вы, конечно, скажете, что поэт — это не старый большевик. Может быть. Но это-таки тоже, знаете, кое-что...

VI

Едва Фима умолк, как оттуда, из коридора, через полуоткрытую дверь, в купе вдруг потекла и заполнила его целиком, тихая, вернее, мягкая мелодия. Звук гитары был низок, протяжен, расплывчат. Слова, казалось, складывались сами по себе, не придуманные заранее: «Земля изрыта вкривь и вкось. Ее, сквозь выстрелы и пенье, я спрашиваю: — Как терпенье? Хватает? Не оборвалось?» Чуть глуховатый подрагивающий голос то взлетал к своему пределу, то опускался почти до шепота: «Покуда топчетесь в крови, пока друг другу глотки рвете, я вся, в тревоге и заботе, изнемогаю от любви...»

— Это там, у них, — сочувственно сказал Фима. — Они подорвут себе весь организм, вот увидите.

Что-то дрогнуло в Марии, сдвинулось, жжение под сердцем, возникшее вначале, сделалось почти удушливым. Она встала и сомнамбулически потянулась к выходу.

— Зачем? — только и успел посожалеть ей вслед Фима. — Они там все пьяные, очень пьяные.

Но она уже не слышала его. Колдовская сила незамысловатой мелодии влекла Марию вдоль прохода и ничто теперь не могло остановить ее. Сначала, сквозь пласты табачного дыма, она увидела лишь очертания резко удлинённого лица. Затем в дыму перед ней выявились выпуклые, цвета поздних желудей глаза, тронутые устойчивой печалью, даже не печалью, а скорее затаенным недоумением перед чем-то таким, чего этот человек не мог ни принять, ни постигнуть: «Зерно спалите, морем трав взойду над мором и разрухой, чтоб бы-

ло чем наполнить брюхо, покуда спорите, кто прав?..»

Едва Мария ступила через порог, навстречу ей, из клубящегося в купе тумана, вынырнул бесовского вида альбинос в майорских погонах, и, расчищая для нее место у окна, излился певучей скороговоркой:

— Дорогу женщине! Теснее, амханako, с вами рядом будет сидеть дама. Прошу наполнить бокалы! Я предлагаю выпить за прекрасную женщину, которая совершенно случайно почтила нас своим присутствием... Прошу вас, сударья, присаживайтесь.

Человек с гитарой оказался прямо против нее, и только тут она разглядела его подробнее: высокий лоб с наметившимися залысинами, упрямый подбородок, тонкая, почти мальчишечья шея. Он и на нее смотрел все с тою же вопросительностью в осенних глазах, словно и она составляла для него предмет печали и недоумения. «Откуда ты? — немо вопрошала Мария, чувствуя, как невидимая гусеница уже тянет между ними тоненькую ниточку доверия и надежды. — Почему ты молчишь?» «Я — отовсюду, — ответно мерцало что-то внутри него. — Слова ничего не значат». «Зачем ты здесь? — не отступала она. — Они не слышат тебя». «Я не им, — устало закрыл он глаза, словно захлопнулся ото всех и от нее тоже. — Я — себе».

Посередине купе, оседлав стремянку, восседал с бочонком на коленях пожилой грузин в давно потерявшей цвет водолазке и, время от времени отсасывая шланг, наполнял подставляемые стаканы чайного настоя жидкостью:

— Пейте, дорогие гости! — Скорбное око его обреченно раздевало Марию. — У Давида Сихарулидзе вина много... Разве только виноград — вино? Сахар — вино, табак — вино, марганцовка — тоже

вино!.. Пейте, гости дорогие! Мир давно сошел с ума. Главное, дай выпить, а что выпить — это никого не касается. Пейте, тквени джириме, в последний раз натуральное твиши пьете. Твиши теперь из кукурузы гнать будут. Угощайтесь на здоровье!

Первый стакан прибавил ей слуха и зоркости. В смутном мельканьи лиц перед собой она сразу же выделила лицо Бориса. Он дремал, запрокинув голову, в дальнем от нее углу, и вялая улыбка, стекавшая с его губ, сообщала ему состояние равновесия и покоя. Во хмелю он становился ей ближе и понятнее. В нем неожиданно обнажалась его истинная сущность, во всей ее наготе и уязвимости. В такие часы Мария открывала в себе запасы неистраченного материнства и не было тогда в мире напасти, от которой она не защитила бы его. «Маленький дурачок, — млея, растворялась она в нем, — нельзя тебе пить, совсем нельзя».

Все оплывало вокруг нее в розовато-пепельной дымке. Речь летчика рядом с нею делалась с каждым словом горячее и лихорадочнее:

— Понимаете, две птички под крылом... Две маленькие птички... Одна упадет — полгорода нету... Ах, как я их любил, когда садился! Как любил! Какие слова им говорил! Ни одна женщина на свете не слышала еще таких слов... Лишь бы они не упали раньше времени, лишь бы не упали. Я готов был отдаться им, двоим вместе и каждой в отдельности. Кажется, я даже отдался... Вам не скучно?

Сквозь его прерывистую, с гортанными придыханиями речь, сквозь расстояния и время, к ней, из далекого далека, текли, плыли, со ступеньки на ступеньку, узкие улочки веселого города и горький запах цветущего миндаля забивал, царапал ей горло. Как давно это, кажется, было! Так давно,

что минувшее виделось теперь уже почти неправдоподобным.

Голос по ту сторону стола снова взвился до самой высокой ноты, и Мария, стряхивая наваждение, потянулась к нему — этому голосу — к его уверенности и зову: «Мы все трибуны, смельчаки, все для свершений народились, а для нее — озорники и попросту от рук отбились...»

— Такая женщина, как вы, не имеет права скучать, — кружила около ее уха протяжная речь летчика. — Я не могу этого допустить. Своих птичек я доvez до места благополучно. Они были опаснее вас, и все-таки я их доvez. Положитесь на меня, и я доvezу вас, куда вы хотите. С вами я сяду даже на крышу зонтика... Скажите только слово. Такая женщина, как вы, не имеет права не любить...

Резкое лицо по ту сторону стола стремительно выявлялось перед нею из дымного марева купе, заполняя ее собою, своей печалью, своим горьким недоумением: «Мы для нее, как детвора, что средь двора друг друга валит, и всяк свои игрушки хвалит. Какая странная игра!»

«Какая странная игра! — невольно повторила про себя Мария, и сердце у нее защемило предчувствием и зовом. — Какая странная!»

VII

К вагону-ресторану мы устремляемся в таком порядке: впереди Лева Балыкин, за ним — я, шествие замыкает Иван Иванович. Похмелье властно несет нас по коридорам спальных пульманов, сквозь тамбуры и переходные площадки, туда — в сторону заветных дверей. Но когда, наконец, мы оказываемся у цели, воодушевление наше мгновенно улетучивается: ресторан закрыт. Напрасно Лева колдует над запором, напрасно строит многозначительные знаки мелькающим за стеклом людям в белых куртках, вход в царствие радужного возрождения остается для нас недостижимым. К счастью, Иван Иванович и тут заявляет себя самым неожиданным образом. Решительно отстранив со своего пути разъяренного Балыкина, он уверенно вставляет в замочное отверстие неизвестно откуда взявшийся у него в руках ключ и — о, чудо! — тамбурная дверь гостеприимно распаивается перед нами. Бросившийся было навстречу нам с запретно раскинутыми в стороны руками усатый буфетчик, едва встретившись взглядом с Иваном Ивановичем, подобострастно тушуетя и отступает:

— Дорогим гостям завсегда рады, закрывали, извиняюсь, в ожидании, по поводу санитарии и гигиены, за ради приема и уюта. Здесь граждане допивают еще, извиняюсь, со вчерашнего. Ежели не изволите, мигом спровадим к известному назначению, посредством милиции.

Усы буфетчика, как две антенны, угодливо шевелясь, чутко улавливают исходящие от высокого гостя флюиды снисходительности и добродушия:

— Слушаюсь, будет оставлено без перемеще-

ния расстановки, поскольку, ежели не помешают... Сервировка по вкусу администрации, согласно желания клиента?

— Гони.

Буфетчика словно никогда не существовало, он растворяется мгновенно, как бы даже испаряется в раскаленном, настоенном на кухонных запахах воздухе.

Мы занимаем угловой столик, а прямо против нас, отражаясь в зеркале, как в портретной раме, спиной к нам сидят двое из тех, кто, украшая витрины газетных киосков и взывая с афиш, постоянно болтаются в памяти, наподобие обрывков полузабытых мелодий. В нем — снежный ежик над жестким лбом — я узнаю любимца таксистов и отставников Олега Ельцова, в ней — его постоянную партнершу по расхожим фильмам о несостоявшейся любви Жанну Крутинскую. Затуманенные хмелем глаза стареющего кумира обращены к сидящему лицом в нашу сторону худощавому альбиносу, в замшевом, густо обсыпанном перхотью пиджачке. Альбинос, то и дело поклевывая коньячную рюмку носом-свеколкой, брезгливо мямлит вполголоса:

— Понимаешь, Олег, я беру всего один... один из тех, сам понимаешь, эпохальных дней... И сквозь, так сказать, призму современности... В свете, так сказать, сегодняшнего дня...

— Ты, Митя, — невпопад перебивает его Ельцов, — гордость, извини, нашей драмы, надежда отечественного нашего театра. На какие темы пишешь! На какие темы, Митя! Доверяют, понимать надо. Можно сказать, пласты ворочаешь, до самых корней берешь. Какие намеки позволяешь себе, какие аллюзии! Мороз по коже! Иногда играю, самого страх берет. Такое не всякий себе позволить может, за такое и без головы остаться недолго.

Помнишь, что ты в своем «Повышении» о культуре завернул? Ведь это, брат, смерти подобно, это, как на амбразуру броситься. — Подернутый пьяной поволокой взгляд актера скорбно увлажняется. — А где благодарность? Благодарность где? Расплодилось всякой шелупени, бегают, шепчутся, что-то пишут, что-то мажут-лепят, прокламации сочиняют. Все-то им не так, все-то им не эдак. Подписывают, демонстрируют, а толк какой! Посадят — и все дела. Сидеть что, сидеть легко. — Он даже взрыднул от переполнявшей его обиды. — Ты на моем месте попробуй. Каждый день, можно сказать, на Голгофу поднимаюсь. Эпоху на своем горбу из грязи вытаскиваем. Им что, поболтал, разъярил верха, и в сторону, а нам отдуваться. У меня вот опять спектакль закрыли, пражские, мол, мотивы, чувствуются...

— Их много, Олежек, — говорит актриса, томно облизываясь в мою сторону, — а ты один, всем мил не будешь.

— Что это? — Ельцов определяет, наконец, наши отображения в зеркале. — Кто пустил?

— Ладно уж, сидите! — отмахивается от него возникший вдруг из небытия буфетчик. — Ввиду гражданин начальник не возражают временно. — Застилая наш стол новой, ломкой от крахмала скатертью, он заискивающе сучит короткими ножками. — Однако прошу посредством шума не нарушать. Соблюдайте культуру клиента и другие мероприятия, а то придется наложением, не иначе.

Воцаряется красноречивая тишина, во время которой, под истошный аккомпанемент кузнечиков за окном, происходит сложная перестройка внутрисалонных отношений. Ельцов постепенно жухнет обликом и как бы убывает в размерах. Актриса принимается с излишней старательностью заниматься легким туалетом перед ридикюльным зер-

калом, а поскучивший сразу драматург бессмысленно тычет вилкой в растерзанный огурец, изо всех сил делая вид, что не замечает неожиданного соседства.

Облегчение нисходит ко мне после третьей. Мир вокруг меня приобретает равновесие и устойчивость. Духота уже не кажется такой липкой и непродыхаемой. Передо мной, в зеркальном омуте, маячит размытое солнцем отображение Крутинской, я сравниваю ее с ее спутниками и решаю не в пользу последних. Их потасканность уж очень бросается в глаза. Бурная жизнь, как говорится, не проходит безнаказанно. Я немного знаю актерскую братию.

Вот и сейчас, штучка с соседнего стола строит мне в зеркало глазки, в то время, как забывший думать о ней Ельцов, токует, вслепую нащупывая подходы к осолопевшим сердцам новых слушателей.

— А помнишь, Митя, как мы играли твоего «Двоюродного брата?» — явно подозревая в нас людей со значением и весом, он настраивается на элегический лад. — Как мы играли! Сам смотрел, — палец его многозначительно взмывает вверх, — плакал. Но мы и при нем ввернули, не побоялись. — Он с вызовом взглядывает в зеркало и тут же отворачивается. — А что? Искусство не может, не имеет права лгать! Мы режем, не взирая на лица. Да, да! Не побоялись, Митя. Самому намекнули. Прозрачно намекнули! Помнишь, Митя, у тебя Зюзюкин говорит: «Я этого так не оставлю!», а сам тихонько этак стучит по столу костяшками пальцев, помнишь? Каково, а? Уж куда прозрачнее, а ведь хлопал Сам-то, хлопал! — Он победительно взглянул перед собой, приосанился. — Вот, что значит большой человек, широкая душа!

— Это как же вас понимать, маэстро? — подает вдруг голос захмелевший Лева. — Я сам, извините за выражение, имею некоторое касательство к искусству, но вашей методы что-то не секу. Выходит, вы вроде на фене* с публикой разговариваете. Свои поймут, а чужим и не надо. Только ваших-то, маэстро, раз-два и обчелся, а чужих — миллионы. Им, выходит, того же дерьма, да пожиже?

Ельцов с затравленной вопросительностью оглядывает поочередно своих собеседников, но так и не найдя в них соответствующего моменту сочувствия, отворачивается к окну и сразу же начинает походить на понапрасну обиженного и рано состарившегося ребенка.

— Зря вы, Лева, — вступает в разговор Иван Иванович, обращаясь почему-то, главным образом, к уткнувшемуся в рюмку драматургу, — оставим этот пьяный и непотребный спор. Мне думается, вы оба неправы. Смысл всякого действия — поддержание в ближнем дорогих ему заблуждений. И если, в данном случае, довольны и те, и другие, и третьи, — цель достигнута. Каждый аплодирует собственной глупости, и ему нет дела до того, что по этому поводу думают другие. — Он поднимается и со своим стулом идет к соседям. — Позвольте представиться: Иван Иванович Иванов, к вашим услугам... Любезнейший, бутылку армянского!

Буфетчик, кажется, просто выпархивает из-под стола. Две его волосяные пики с готовностью берут на караул:

— Согласно указания беспременно исполнению содействуем моментально. — Пока мы кое-как размещаемся на новом месте, он успевает замостить стол, примерно, для суточной пьянки. — К

* Феня — жаргон.

разъяснению дальнейшего всегда готовый посредством вызова. — Его бесшумно размывает полученным светом. — Плезир...

— Если я мошенник, — не унимается Балькин, нацеливаясь на еще пустующий фужер, — то зачем мне, позвольте вас спросить, принимать самого себя за инспектора по единовременным пособиям? Понт профессионалу ни к чему... Плесните мне, маэстро, полтораста армянского под автобиографическую байку...

Я едва слышу Леву. Розовый туман, в котором, словно пара разомлевших пчел, плывут, кружатся глаза Крутинской, застилает мой взор. Когда же я ощущаю прикосновение ее легких пальцев к своей руке, окружающее перестает существовать для меня. Мир оборачивается ко мне своей праздничной стороной и в нем — в этом мире — трубят праздничные трубы и поют серафимы, сквозь сладкозвучные песнопения которых ко мне еле-еле пробивается пьяный голос Балькина...

VIII

ИСПОВЕДЬ ЛЕВЫ БАЛЫКИНА, ИЛИ РОК СУДЬБЫ

— Жизнь моя, как сказал поэт, кинокартина, черно-белое кино. Вернее было бы — цветное. Я, конечно, не могу о себе сказать, что я «сын известного подпольного партийца, а мать моя Надеждой Крупской была», но родители у меня принадлежали, в известной мере, к интеллигентному кругу. Папа мой, Сергей Степанович Балыкин, имел связи в мире искусства, поставлял мальчиков премьерам, утомленным славой и поклонницами. Мама — Нинон Густавовна, из обрусевших немок, промышляла среди столичных кордебалетов японскими презервативами и гаданием. Рос я, как видите, в атмосфере метафизики и любви, поэтому уже годам к шести узнал, что с чем едят и почему в жизни пряники. Тринадцати лет от роду мамашина клиентура сделала меня мужчиной, а в пятнадцать я впервые познакомился с азами уголовного кодекса. К тому времени отец мой стал героем громкого процесса и загремел на энный срок вместе с известным эстрадным тенором, а мама временно отбыла из столицы нашей родины в неизвестном мне направлении. Моя кредитоспособность катастрофически таяла по мере исчезновения в недрах коммисионок барахлишка, и вскоре я оказался на полной мели. Начало моей профессиональной карьеры было традиционным: нехитрые комбинации у «Метрополя» с билетами на вечерние сеансы. На сносное существование зарабатывать удавалось, но не более: заедала бешеная конкуренция. Раз два даже били, впрочем, не до крови. Любители

общедоступной прибавочной стоимости плодились в те годы, как тараканы. В общем, два привода, а на третий — б е с с р о ч к а *. Здесь-то я и прошел свой первый настоящий техминимум, правда, на самом низшем уровне: «две петельки», «три карточки»**, примитивное фармазонство. На первых порах после освобождения этого хватало, чтобы не умереть с голоду. Но, извините, широта моей натуры не выдерживала напора все возрастающих потребностей, что стимулировало дальнейшее усовершенствование и полет фантазии. Не обошлось, разумеется, без кустарщины: всякие там бутылочки для пробы газа, дефицитные очереди за прошлогодним снегом, пропуска на распродажу Третьяковской галереи, короче — мелочь. А тем временем благосостояние общества с каждым днем росло и расцветало. Большую часть своего сытого досуга люди стали уделять любви. Число скоропалительных браков достигло рекордных высот, хотя и не все удачливые отцы спешили осчастливить своих малюток личным воспитательным примером. Райотделы изнемогали под бременем алиментных розысков. Идея, что называется, сама плыла в руки. На паях с одним тихим фотолюбителем организую пункт скорой помощи для беглых папаш. Реквизит копеечный: расхожий гроб под мореный дуб, крашенный венок с лентой «от друзей и сослуживцев» и пара черных тапочек. От заказчиков отбоя не было. Шутка ли сказать, новая жизнь и безбрежные горизонты за какие-то несчастных две с половиной бумаги! Верите, иные плакали от умиления и благодарности. Но судьба играет человеком. Угораздило-таки одного нашего жмурика, то бишь,

* Бессрочка — детская воспитательная колония (жаргон).

** «Две петельки», «три карточки» — мошеннические трюки (жаргон).

извините, клиента столкнуться где-то на взморье носом к носу со своей Бедной Лизой. И пошла писать деревня! Короче, следующие два года я провел на лоне мордовской природы в беззаветной борьбе с нарядчиками и надзорслужбой за место в лагерной хлеборезке. Два года — большой срок, уважаемые! За два года столько передумаешь, что если и не изобретешь закон земного тяготения, то, во всяком случае, кое-чему научишься. Я, знаете, между нами конечно, питаю слабость к изящной словесности. Стихи, короткие скетчи для семейного потребления, эпистолярный жанр, в общем, всего понемножку. В связи с этим, и не из корысти, а времяпровождения ради, посылал иногда в разные печатные органы коротенькие элегии на темы трудового энтузиазма и борьбы за мир. Сами понимаете, учитывая мою тогдашнюю кредитоспособность, посылал доплатными, но ответы получал аккуратно, один вежливее другого: «Читайте Пушкина и Маяковского», «Совершенствуйте язык и мастерство» и так далее, в том же духе. Вот из этой-то невинной переписки и родилось затем грандиозное предприятие, возвышенную память о котором я сохраню до конца своих дней. Это был мой, если так можно выразиться, звёздный час, прямо скажем, моя лебединая песня. Мысль возникла внезапно и, как молния в темную ночь, озарила всю мою последующую жизнь нездешним светом. «Как же мне это раньше в голову не приходило! — подумал я. — Ведь каждая наша контора, на любом уровне от Совмина до вендиспансера обязана выкупать доплатную корреспонденцию! Обязана!» Если вы заметили, уважаемые, великий народ наш, наши замечательные совносороги питают исключительную страсть к разного рода замыслам и прожекам. Перекачать Тихий океан в Атлантический или, к примеру, развести гладио-

лусы за Полярным кругом, это его хлебом не корми, только осуществить дай. Его не результат, его грандиозность замысла, величие задачи греет. А там, хоть трава не расти! Просто работать, это не по нем. Скучным и долгим кажется ему это самое первоначальное накопление. Он сразу, кушем все получить норовит. Оттого и лотерея у нас в такой чести. Деловыми расчетами его не увлечешь, ему вся эта цифирь до лампочки. А вот сахар из опилок или алмазы в результате прессования коровьего дерьма, вот это да! На это он с радостными слезьми денежки свои кровные выложит да еще и благодарить за доверие будет. На этом, на детской этой поэзии его я и построил весь свой расчет. Остальное было делом элементарной организационной техники. Освободился, осел неподалеку от столицы, нанял за аккордную плату тоскующего по собственному лимузину чертежника, и дело семимильными шагами пошло вперед. Вырезаем наугад из иностранных технических журнальчиков первые попавшиеся схемы, переводим их на отечественную кальку, и, аля — улю, по разным адресам наложенным платежом с грифом «ценное изобретение»! Кто же это в России, да еще на казенный счет откажется приобрести ценное изобретение за четвертак? Нет таких бессребреников! Не подойдет, в архив свалят, вот и вся недолга. НОТ все спишет... Ах, доложу я вам, какая жизнь тогда у меня пошла! Как сон, как, извините, утренний туман. Икра, поверите, со стола не сходила, девочек — и каких! — по расписанию принимал. Про общественный транспорт думать забыл. Таковую, знаете, высоту набрал, что когда вниз смотрел, ей-Богу, голова кружилась. Но и тогда уже чувствовал: не выдержу, сорвусь! И, как в воду глядел, сорвался-таки. Недостаток образования сказался. Слепую ведь работали. Ну,

и мастырили схему первой атомной бомбы на шинный завод. На этом мы и погорели. Только на сей раз легкими ушибами мне отделаться не удалось. Родимую сто сорок седьмую мне переквалифицировали на указ о хищениях в крупных размерах и соответственно впаяли полный червонец. Пришлось перековываться по ходу трудового процесса. Сгодилось знание фотографии. Всю лагерную службу, во всех видах запечатлел, пока досрочное заработал. С тех пор, — ни-ни, работаю только в пределах беспроектной сто сорок седьмой. Но о незабываемых тех временах вспоминаю с благоговением и восторгом... Человек я, как видите, в общем интеллигентный. «Две петельки», «три карточки» — это я давно вычеркнул из своей памяти, как кошмарный сон бездумной юности. Работаю только на проверенной научной основе, по Фрейду и академику Павлову. Народ-то ведь у нас шальной, напуганный, у нас народ только на одни условные рефлексy и реагирует. Его, родного нашего носорога, любой глухонемой заговорит. Если бы вы знали, какой это материал для средней руки чернушника*! Эльдorado! Золотое дно! Ходячий чек на получателя! Ведь он, сердешный, не успеваеет народиться, как уже во все стороны глазенками стреляет: кому бы свое движимое и недвижимое отдать. Вкальвает, деньги копит специально для этого. Так что, уважаемые, было бы кому брать, а у кого — всегда найдется. Почему, спрашивается, горю время от времени? Это, извините, не по его, совносороговской вине, а в силу случайных, так сказать, закономерностей, игры судьбы и прочих потусторонних причин. Взять, к примеру, мой последний прокол. Выхожу утром с партнерами к Казанскому. Денег — двугривен-

* Чернушник — мошенник (жаргон).

ный, в голове после вчерашнего — гул и столпотворение. Прикидываю, с чего начать? Возможности наживки, сами понимаете, минимальны, всего-навсего двугривенный. Кидаю глаза вдоль по площади: утро раннее, все палатки на замке, в одном только аптечном ларьке копошение. Идея рождается, можно сказать из ничего, как у Альберта Эйнштейна. Отработка варианта занимает не больше минуты. Подхожу, беру, что поярче и подешевле: пачку хвойных таблеток в фольге. Этикетку за борт и «за мной, мальчики, держите связь с головной машиной». Прямым курсом рулим в зал ожидания. Публика, что называется, чуть теплая, между сном и явью. Попробуйте-ка ночь на вокзальной скамейке прокантоваться! Намечаю жертву: молоденький лейтенантик, явно только что из училища, аж хрустит весь. Сидит, родимый, на фибровом сейфе своем, носом клюет. Делаю знак ведомым и захожу в первый кинжальный вираж. Главное, скажу я вам, в нашем смертельном деле натиск, стремительность, у нас, как у саперов, шаг в сторону и — «передайте нашим». Важно, чтобы мозговая пружинка жертвы, уж коли ты ее начал закручивать, не дала обратного хода. Тогда — пиши пропало: у пижона сработает логика, то есть всякие там «зачем», «отчего», «почему». В политике, заметьте, то же самое: не давать толпе опомниться — первый закон... Короче, метеором свищу мимо лейтенантика, на ходу бросаю сквозь зубы: «Китайский лакрит нужен?» На повороте засекаю: клюнул! Зашевелился мой юный воин, моя взводная лапушка. Глазенки надмирным блеском подернулись, хрупкая грудка заколыхалась под напором роковых страстей, щечки inferнальная бледность залила. Пикирую снова, смотрю, — кивает, останавливаюсь. Губки у бедняги в две белые ниточки, ну, прямо Герман в сцене с графиней!

«Сколько?» — спрашивает. Сумму называю из руководства по астрономии, это, тоже, уважаемые, наверняка: чем больше, тем для пижона соблазнительнее. К примеру, в газете пишут: «Текстильная промышленность страны выработала за год столько мануфактуры, что ею можно дважды опоясать земной шар и двенадцать раз нашу ближайшую спутницу — Луну». Не правда ли, ошеломляет? То-то и оно. И никому в голову не придет подсчитывать, что на двести пятьдесят миллионов пайщиков это ровно по четверть портянки. Так и в нашем деле. Короче, после недолгих и плодотворных переговоров, прошедших, как говорится, в обстановке сердечности и взаимопонимания, будущий маршал отдал мне ранец со своим жезлом, то есть чемодан, часы и бумажник со всем содержимым за десятикопеечную диковинку в лакмусе. И здесь наступила самая ответственная часть операции: смяться. Дело в том, что, как я вам уже говорил, обратный ход пресловутой пружинки начинается у пижона почти мгновенно после завершения сделки. Проклятые вопросы вплотную подступают к любителю волшебных приобретений за пятак: что такое «китайский лакрит», зачем ему таковой и почему из-за одного надо лишаться имущества и наличности? Но все это заранее мной предусмотрено. Ведомые наглухо отгораживают меня от жертвы и поднимают вокруг нее панический х и п е ш*: «Где!», «Кто!», «Когда!», «Держите!» и так далее в том же духе. Там моментально заваривается базарная каша, из которой лейтенантику уже не суждено было вырваться до самого прибытия милицейского наряда. Но вот тут-то, когда, казалось, труба Аустерлица играла победу, навстречу мне из вокзального вестибюля выплыл

* Хипеш — шум (жаргон).

рок судьбы в лице старшины станционного отделения Кашпура, который, к сожалению, знал меня, как облупленного, и поэтому чемодан в моих руках показался ему роскошью, несоответствующей моему имущественному положению, а шум у меня за спиной помог оценить ситуацию. Через полчаса я уже подписывал первый протокол за барьером дежурки и спустя два месяца помогал государству достраивать социализм на архангельском лесоповале... Гегель, конечно, великий человек, но его теория о закономерных случайностях выходит нашему брату, чернушнику, извините, боком... Спрашиваете, что такое «китайский лакрит?» Это, если хотите, магический кристалл, философский, так сказать, камень, с помощью которого человеческая доверчивость и жажда нажать состояние на сушеном или прессованном дерьме, при известных сочетаниях превращается для смьшленых ребят, вроде меня, в звонкую монету, обеспеченную всем достоянием нашего родного государства... На-лейте, граждане, в оплату за душераздирающую исповедь!

IX

Наспех склеенная лента дальнейших событий разворачивается в моем сознании с калейдоскопической быстротой. Картины расцветают одна другой выразительнее. Исповедь Балыкина получает единодушное одобрение. Льдисто-синие глазки драматурга заинтересованно оттаивают, весь он с головы до пояса азартно подтягивается, чуть заметно вибрируя, как гончая в минуту стойки. Актриса восторженно хлопает в ладоши и принимается облизывать губы уже в сторону Левы.

— Весьма... Весьма! — Ельцов, пошатываясь, встает, следует его знаменитый жест — полусогнутая ладонь, рука вперед на пол-локтя — что должно свидетельствовать о едва сдерживаемой и до поры затаенной силе. — Отдаю должное вашей профессиональной тонкости. Мы — мастера, всегда пойдем друг друга... Итак, за вас!

«Вот, — кричит все в нем — демократически приспущенный галстук, расстегнутая сорочка, небрежная взлохмаченность жиденькой шевелюры, — и увенчан, и мастит, и вообще в первой тройке, а не зазнался, с любимым готов запросто, цените!»

Мы пьем и вскоре забываем счет тостам. Брудершафт следует за брудершафтом, поздравление за поздравлением. Крутинская, вернув мне свою милость, не стесняясь, целует меня в засос. При этом у меня такое ощущение, будто она готова заглотнуть мою особу целиком. Все мы, разумеется, сразу же переходим на «ты» и с каждой минутой нравимся друг другу все больше и больше. Усатый буфетчик, с переполненным подносом в руках, парит над нами, расточая сверху неземные улыбки и потустороннюю услужливость:

— Согласно праздничного заказа, с разрешения высшей инструкции, полагаем, что потрачено клиентурой перечислить быть. Смысле обслуживания населения комплексно отовариваем культурой и бытом и другими командировочными услугами в связи. «Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом», аминь лямур!

Неожиданно из ничего, из пустоты и жаркого безоблачья возникает музыка. Она вламывается в открытые окна, сквозит в щели плотно захлопнутых дверей, лезет через отверстия выключателей и бутылок. Испанская хабанера неистовствует в растерзанном гульбой салоне. В мгновение ока мои сотрапезники оказываются в проходе между столиками, где, положив руки друг другу на плечи, заворачивают умопомрачительный танец в сопровождении невидимого оркестра. Тень от усов буфетчика осеняет трогательное единение преуспевающих лицедеев с мошенником.

С трудом выламываясь из одуряющего хаоса, я ищу глазами Ивана Ивановича, но Иванова нигде нет и ничто вокруг не напоминает мне о его недавнем присутствии. А влажные губы Крутинской у моего уха снова затягивают меня в опьяняющий омут:

— Я хочу тебя, мальчик, ты слышишь, хочу... Ты сильный... Ты очень сильный... Прямо из казармы... Возьми меня, мой гренадер... Разве я тебе не нравлюсь?

— Асса! — в экстазе кричит драматург, и отблеск костров неолита сквозит в его остреньком личике. — Асса!

— Ух, ух, ух, ух! — самозабвенно вторит ему Ельцов, выделывая длинными ногами тотемные вензеля. — Разгорелся мой утюг!

— Карамба! — заходится Лева в пиратском раже. — Деньги на бочку, капитан!

Поднос витающего под плафонами буфетчика взмывает над нами, на глазах превращаясь в шаманский бубен. Буфетчик остервенело колотит в него и с кончиков его дугообразных усов капают вниз алмазные слезы восторга:

— Директивно через обязательность, выполняющая пожелания с помощью ревизионных подкреплений, запускаем оборудование досуга и смеха в разрезе полной мощности! Крутится-вертится шар голубой! — И уже на прощанье в мою угасающую память. — Се ля ви маркитан!

Просьпаюсь я оттого, что кто-то ласково гладит меня по волосам. Надо мной, в обрамлении пыльной листвы лицо Марии. Я пытаюсь было притвориться спящим, но она моментально разгадывает эту мою уловку:

- Уже вечер.
- Жарко.
- Сними рубашку.
- Сколько на твоих?
- Шестой час.
- Встаю.
- Полежи, легче будет.
- Сердишься?

— Нет. — Она загадочно и чуть слышно смеется, проводит ладонью по моему лицу, словно снимает с него некий покров. — С чего ты взял? Принести воды?

— Давай.

Из-под куста ракитника при дороге, где я лежу, не в силах даже поднять голову, мне видно, как она, легко перепорхнув кювет, семенит вдоль состава к нашему вагону. Ее ловкая, совсем еще девичья фигурка в мареве пестрого сарафана видится мне сейчас отсюда по-пичужьи невесомой. Я тут же вспоминаю оргию в ресторане, театральную

троицу за столом, усатого буфетчика, хабанеру, и на душе у меня берутся скрести поганые кошки: «Она-то, видно, одна сидела, ждала, сама, наверное, и вытащила. Стыд-то какой!»

Неподалеку от меня, вокруг подростковой величины елочки молчаливо бражничает небольшая компания безликого образца. Их четверо, разного возраста и внешности, но все вместе они составляют как бы одно целое и по отдельности никак не мыслятся. Будучи штатскими, люди эти поразительно смахивают на военных и вдобавок — кадровых. Движения их медлительны, даже величавы, словно они не просто пьют и закусывают, а совершают некий ритуал — вещей и обязательный. У меня такое впечатление, что еда и водка появляются перед ними сами собой, по мере употребления. «Живут люди, — вздыхаю я, — все как по-щучьему велению, только пожелай!»

Один из них — с барочным штрихом вздернутого носа, — перехватив мой алчущий взгляд, кивком головы приглашает меня разделить компанию. Отказаться от этого приглашения выше моих сил, голова у меня подобна чугунному шару, заполненному до отказа колокольным звоном и трескотней. К тому же, меня разбирает любопытство. Хочется все же узнать, что это еще за четырехглавая гидра с личной скатертью-самобранкой на вынос?

Присоединение мое встречается без особого энтузиазма, но, в общем, и не враждебно. Курносый, судя по всему, глава стола, молча наливает мне тонкий стакан доверху. Второй, помоложе, — подбородок боксера, глаза навывкате — выкруливает ко мне с поддетой на вилку шпротиной. Двое других — равнодушные некто в одинаковых джерсевых рубашках — не сводят с меня оценивающе

прищуренных глаз. «Ладно, — принимаю я вызов, — посмотрим, кто кого? Пить мы тоже умеем».

Когда колокола у меня в голове сменяются пением пасторальной свирели, я замечаю, что собутельники мои не так молчаливы, как это показалось мне на первый взгляд. Просто они разговаривают, не разжимая губ, мускулы лица при этом остаются у них тоже неподвижны, и оттого, со стороны, их трапеза выглядит абсолютно немотной.

Речь у них идет о предметах для меня запредельных и непостижимых. Скорее, это даже не разговор, а храмовая служба, обрядовое, так сказать, таинство, в котором роли участников строго распределены и глубоко продуманы. Соло, опять-таки, ведет мой белобрысый благодетель. Чуть слышно цедя сквозь зубы, он коротко спрашивает:

— Жил-был у бабушки?

Ему ответом нечто среднее между мычанием и свистом:

— Серенький козлик.

— Бабушка козлика?

— Очень любила.

— Да что ты?

— Да гад буду, очень любила.

Темп вопросов и ответов стремительно нарастает. Кажется, что мысленно они участвуют сейчас в какой-то головоломной погоне. Дыхание у них учащается, лбы покрываются испариной:

— Остались от козлика?

— Рожки да ножки.

— Да что ты?

— Да гад буду, рожки да ножки.

— Где этот козлик, — ласково вопрошает белобрысый, — сегодня пасется?

— Он в Мордовлаге, — дружно мычат подчиненные, — живет на подножном.

Голос солиста снижается до утробного гула:

— Сколько отмерили козлику срока?

Хор идеально синхронен:

— Десять в бородку и пять по рогам.

Тонкий стакан снова плывет по кругу, каждый с угрюмой обстоятельностью выщепливает свою долю, не забывая приобщиться к неоскудевающей закуске. После священнодействия начальник потеплевшим взглядом окидывает подчиненных:

— А теперь нашу любимую. — И первый затягивает некрепким, но приятным тенорком. — «В лесу родилась елочка...»

Видно, это тоже репетировалось годами. Они подхватывают песню сразу и на зависть слаженно. Тот, что с боксерским подбородком, даже всхлипывает ненароком. У джерсевых мальчиков жалобно трясутся губы. Мелодия постепенно крепнет, наливаются металлом:

Мороз снежком окутывал:

— Смотри, не замерзай!..

По молчаливой команде старшего они, один за одним, поднимаются, берутся за руки и затевают медленный хоровод вокруг пиршественного деревца. В глазах у них рождаются и расцветают миры, и слезы молитвенного умиления текут по их возбужденным щекам:

Срубили нашу елочку

Под самый корешок...

Мне становится неуютно в этой почти церковной обстановке, я поднимаюсь и тихонько бреду прочь. Навстречу мне с кружкой воды в вытянутой руке приближается Мария. Вечернее солнце высвечивает ее с головы до ног ликующим, вечер-

ним светом и, кажется, на ней в эту минуту ничего нет, только цветы сарафана порхают вокруг нее под не смолкающую за моей спиной мелодию:

Срубили нашу елочку
Под самый корешок...

Вглядываясь в лицо спящего Бориса, Мария пыталась представить себе, что видится ему в эту минуту, какие сны бередят сейчас его душу? Веки у него чуть заметно подрагивали, опаленные хмелем губы изредка шевелились в тщетном усилии сложить какие-то, одному ему известные слова. Она терялась в догадках: что-то с ним происходит в последние дни? В теперешнем пьянстве Бориса сквозило неистовое отчаянье, он словно бы страшился протрезветь, остаться лицом к лицу с действительностью. Глядя перед собою затуманенным взором, он явно не воспринимал окружающего. Казалось, огненные химеры, одна за другой, вспыхивают в его разгоряченном сознании и, весь поглощенный ими, Борис уже не может, не хочет опомниться. Таким она видела его впервые: «Какой же нечистый в тебя вселился, Боря, — недоумевало все в ней, — что же с тобой творится?»

Человек возник в купе неожиданно и бесшумно. Он опустился на краешек дивана рядом с дверью и, сложив ладони между колен, озабоченно поинтересовался:

- Давно спит?
- Часа полтора.
- Очень хорошо.
- Вы вместе пили?

— Как вам сказать, — наклоняясь к ней, гость осветился отеческим благодушием, — я, конечно, пил с ним, но для меня это ничего не значит. Я не восприимчив к алкоголю. Это, кстати, моя беда. Иной раз так хочется напиться, потерять голову, а меня не берет, хоть плачь. Чего только я ни перепробовал! Пил «ерша», чистый спирт с перцем, по-

верите, глотнул даже как-то серной кислоты, — не помогло. Представляете теперь положение человека, для которого мир всегда отчетлив и свеж, как в день рождения?

Мария видела этого типа и раньше. Слишком уж он выделялся среди пассажиров своей не по возрасту безукоризненной прифранченностью. Но ничто в нем, кроме одежды, не бросалось в глаза. И лишь сейчас, оказавшись рядом с ним, она отметила про себя расплывчатую неопределенность его лица с крупным мясистым носом и затаенной усмешкой вялого рта. «Странный экземпляр, — неприятно подумала она, — будто прямо из кино!» А вслух спросила:

— Он много пил?

— Не так, чтобы очень, но он быстро пьянеет. — ОвальнЫй подбородок гостя сочувственно обмяк. — К счастью, вино не ожесточает его, это признак покладистого характера. Вы не беспокойтесь, в критическую минуту я буду с ним.

— Пить в такую жару, с ума сойти можно!

— Когда кругом, что называется, чума, почему бы и не попить? Люди устали от самих себя. Знаете, как в Писании: «...шатаятся от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются...»

— Я не читала Писания.

— Не сомневаюсь.

— Вы что, в церкви служите?

— Я? — Уголки его губ печально опустились вниз. — Дело это мне, разумеется, знакомо, но так, знаете ли, слегка, чисто любительски. У меня, извините, нет постоянной профессии. Вчера одно, сегодня другое, завтра третье. В такой обстановке трудно освоить что-либо основательно. Уму непо-

стижимо, как быстро летит время! Чего я только ни насмотрелся за свою жизнь! Войны, засухи, эпидемии. Другому, может, одного моего года хватило бы, чтобы поседеть или рехнуться, а я вот, как видите, держусь. Часом такая тоска возьмет, что не только напиться, повеситься впору, но когда подумаешь, скольким людям на этом свете хуже тебя, становится стыдно: надо жить! Надо обязательно жить! В конце концов, при всех своих бедах и неурядицах жизнь не такой уж бросовый подарок. Не правда ли?.. Вы курите?.. Прошу вас...

Уже после первой затяжки она ощутила приятное головокружение. В раздвинувшемся мире повеяло свежестью и прохладой. Нежные свирели запели в ее голове, и даль за окном окрасилась во все цвета радуги. С каждой новой затяжкой праздничность, возникшая в ней, набирала полноты и яркости. Серебряный воздух пронизывали золотые нити, вечернее солнце обволакивало землю нежно звучащими сумерками, предметы и плоскости увеличивались в размерах и приближались почти к самому лицу. «Наверное, опиум, — безвольно заключила она. — Завтра голова болеть будет».

— Стоит лишь отринуть от себя мишуру забот и повседневности, — словно сквозь сон проникал ее голос собеседника, — жизнь сразу оборачивается к нам своей прекрасной гранью. Право, она не так уж плоха, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, вы уже сами видите... У вас нет желания слегка проветриться?.. Прекрасно!.. Прошу вас...

Минуя переход за переходом, они долго шли по коридорам спальных пульманов, и Мария видела себя маленькой девочкой, вольно плывущей через осиянное солнцем поле. Среди зелени легких трав навстречу ей вспыхивали и лопались цветы сказочных тонов и оттенков. Хрупкие росы мерно покачивались в их чашечках, отражая в себе осле-

питательную первозданность утра. Со всех сторон ее обтекали сверкающие ручьи, над головой самозабвенно заливались птицы, и тихий ветер делился с нею запахами весны и прохладой. Чувство собственной бесконечности и покоя переполняло Марию, и она плыла сквозь податливое пространство, млея от восхищения и восторга.

— Много ли человеку нужно? — не отставал от нее спутник. — Чутьочку солнца, каплю свободы и немножко воображения. Увы, его терзают несбыточные желания и пустые страсти. Он жаждет славы, власти, богатства, не задумываясь над тем, насколько эфемерна и непрочна его плоть. Он устраивается на земле так, словно весь смысл его в том и есть, чтобы отправлять свои естественные и противоестественные надобности. А смысл человека куда выше и значительнее, ей-Богу. Но он так занят собой, так занят, что ему некогда оглянуться вокруг... Одну минуту! — Провожатый потянул на себя дверь, мимо которой они проходили. — Зайдемте, хотя бы к этим двум... Входите... Не беспокойте себя извинениями, им не до нас, они нас просто не замечают... Присаживайтесь.

В купе, друг против друга, разделенные частоколом бутылок, сидели двое. Внешне они являли собою две полные противоположности, но что-то в их облике сообщало им явное, хотя и едва уловимое сходство. Казалось, если их профили сдвинуть вплотную, получится одна единая и нерасторжимая сфера.

— Ты спрашиваешь, «зачем»? — говорил один и напряженное лицо его со вздыбленной над высоким лбом жесткой шевелюрой заносчиво рдело. — Разве это мерка для жизни? Если все «зачем», тогда все мы — дерьмо. Да, да, просто — дерьмо! Хуже, амёбы для поллюций. Но ведь Данте жил, Пушкин маялся...

— А зачем? — Вяло встрепенулись бальзаковские усы второго и в подернутых туманом овечьих глазах его засквозило отчаянье. — Зачем? До них тоже кое-чего было, а результат? Где результат?

— А мне плевать на результат! Массы склонны к вырождению. Скорее всего, через сто лет они будут считать простое чтение за позор и преступление. Но я-то пишу не для них, у меня цель другая. Когда я пишу, я вижу перед собой мальчика, понимаешь, лобастого мальчика с печальными глазами, который будет пребывать среди них. Он-то и поймет меня, он-то и оценит, для него-то я и стараюсь. Мы вместе с ним, одни, вдвоем будем смеяться и плакать над каждой строкой, написанной мною для него. Он один мне нужен, один, а остальные пусть идут к чёртовой матери! Да, да к чёртовой матери!

— Мне бы твои заботы! — угнетенный вздох второго не оставлял сомнений в том, что все несчастья рода человеческого ничтожны и пусты по сравнению с его бедами. — Мне бы твои огорчения!

— Его за чтение распинать будут. — Первый уже не слышал и не замечал ничего вокруг. — И распнут. Но в толпе у креста его увидит другой мальчик и сладкая жуть смерти за истину уже не уйдет из его глаз. И так без конца. Юра, так без конца... Иначе и жить не стоит.

— Мне бы твои проблемы, Феликс. — Бальзаковский двойник сокрушенно покачивал коротко подстриженной, в искрах седины головой и овечьи глаза его при этом скорбно светились. — Я хотел бы их иметь...

Во взаимоотношениях с мужчинами у Марии над всеми чувствами преобладала жалость. Она

жалела их во всем: в их постоянной неприкаянности, страсти ломать копья по пустякам, смешному дару всегда переоценивать себя, свои качества и еще этой в них неистребимой тяге к несбыточным химерам. Помнилось, в детстве, в деревне, рядом с домом ее бабушки ютилась уютная хибарка в два оконца под черной от времени соломой. Жил в ней местный нелюдим Хрулев — колченогий инвалид в несменяемой солдатской паре и калошах на босу ногу. Жил Хрулев бобылем, из дому почти не показывался, занятый целыми днями никому не ведомой работой. Говорили, что, придя с войны, он долго одолевал руководящие организации предложениями всевозможных новшеств и изобретений. Брался, к примеру, снабдить каждого колхозника в округе индивидуальным летательным аппаратом или прорыть многоступенчатый канал от местной речки Лисковой, с тем, чтобы облегчить хлеборобам вывозку навоза на поля. Предлагал он также специальные ракеты для создания искусственного дождя. Но взаимности в верхах Хрулев не добился, то ли по несвоевременности проектов, то ли из-за их дороговизны. После этого инвалид ушел в себя и замкнулся. В те редкие случаи, когда Мария сталкивалась с ним, он, с выражением вопроса и удивления в сонных глазах, коротко взглядывал на нее и тут же отворачивался, торопясь пройти мимо. Раздиравшее ее любопытство прибавило ей решительности, достойной дочери полкового командира. Однажды вечером она пробралась во двор соседа и заглянула к нему в окошко. Среди завалов разнокалиберного хлама — фанерных крыльев, старых тракторных шестерен, сношенных мельничных жерновов — с протянутых из угла в угол веревок свисали, наподобие белья, большие листы бумаги, сплошь заполненные радужными отпечат-

ками сторублевой. Она не успела еще и удивиться, как шершавая рука легла ей на плечо:

— Схоже? — В голосе хозяина не было ни гнева, ни строгости, только затаенная мука сомнения. — Или как?

Купюры Хрулева, даже на ее взгляд, были далеки от совершенства и едва ли пошли бы дальше первого прилавка, но Мария, источаемая жалостью и восхищением Мария, не смогла, не решилась тогда разочаровать его, сказать ему правду:

— Как настоящие, точь-в-точь... Честное пионерское...

Тот у нее за спиной засмеялся горделиво и радостно. Так, наверное, смеялись триумфаторы, оставаясь после чествования наедине с собой. И смех этот еще много лет потом возвращался к ней в минуты безнадежности и отчаянья...

— Вот видите, — посмеивался рядом с Марией Иван Иванович, возвращая ее к действительности, — я же говорил вам, что им не до нас. У них свои проблемы, остальное их просто не интересует. Но про мальчика это занятно, вы не находите?

Словно услышав его вопрос, Бальзак за столом встрепенулся, поднял на собеседника затравленные глаза и, облучив того снисходительностью и скорбью, обреченно вздохнул:

— А если не будет никакого мальчика? Если ничего не будет, кроме жующих и спящих? Что тогда? Зачем все?

— Нет, нет, нет! — Тот даже подскочил от неожиданности, ему не хватало воздуха, ужас душил его, струясь в трясущихся губах. — Этого быть не может! Мой выживет, обязательно выживет ради меня. Ведь я, это тоже — он. Ведь кто-то, когда-то также рассчитывал на меня. И я выжил, вопреки всеобщему освинению, выжил! А ведь ты

знаешь, каково мне было. Разве мой имеет право меня подвести? Нас, Юра, нас?

— А! — примирительно вздохнул первый. — Успокойся, Феликс, дай-то ему Бог, пусть он, твой мальчик, здравствует тысячелетия тебе на радость. Сожалею, но мне от этого не легче. — И предупреждая возражения, вдруг затянул глуховатым баском: — «Голова поседела, не скорби, не грусти, не печалься, погоди. Ты купи себе кепочку, купи, ты ходи себе в кепочке, ходи...»

Чуткое лицо первого вопросительно вытянулось, некоторое время он словно бы прислушивался к песне, вникал в ее смысл, потом профиль его приблизился вплотную к абрису собеседника, и лица их сошлись, образовав, наконец, единую сферу. Мелодия сразу же окрепла, удвоив свою силу: «Нынче все магазины, как один, головные уборы продают. Впечатление отсутствия седин головные уборы придают...»

Двое пели, положив руки друг другу на плечи, и прозрачные слезы, стекая по их большим щекам, орошали собою зияющие безнадежной пустотой жерла бутылок: «Голова полысела, не скорби, не грусти, не печалься, погоди. Ты купи себе кепочку, купи, ты ходи себе в кепочке, ходи...»

До них, казалось Марии, можно было подать рукой, но стоило ей попытаться приблизиться к ним, как пространство снова отодвигало их от нее на прежнее расстояние. Находясь рядом, они как бы существовали в ином, не сопрягаемом с нею мире. Оттуда к ней проникала лишь их мольба о кепочке и, забываясь в беспамятстве, Мария почти машинально повторила следом за ними: «Ты ходи себе в кепочке, ходи...»

ХІ

Где-то высоко над Марией призывно трубил горн. Горн трубил, словно заклинание, словно солнечный зов из детства, словно щемящий отзвук иной, не похожей на здешнюю жизнь. Хотелось лежать вот так, не двигаясь, с закрытыми глазами, не ощущая собственного дыхания и плоти, наедине с этой призывно трубящей темнотой. Прошрое, пережитое, потаенное забывалось, меркло, уходило в небытие, уступая место чувству полного слияния со временем и пространством. Казалось, она существует в этом состоянии уже целую вечность и впереди у нее еще века и века бездумной легкости и покоя. Она смотрела сейчас на прожитые годы как бы с высоты птичьего полета, и жизнь эта представлялась ей убогой, незначительной, не вызывавшей в ней ничего, кроме брезгливой жалости. Во имя чего она жила? Во что верила? Чему поклонялась? Да и жила ли она вообще? Можно ли назвать жизнью прерывистую вереницу обид и разочарований? О чем ей остается жалеть теперь? Что вспоминать? Мужчин, которые старательно затаптывали в ней все, что возможно еще было затаптать? Женщин, с которыми ее связывали только текущие сплетни и общие любовники? Друзей и подруг, облик которых стирался в ее памяти сразу же после первой разлуки? Все они прошли сквозь нее, не оставив в ней ни следа, ни памяти. Лишь одно лицо сквозь годы и события маячило перед ней, как мечта и упрек, как вопрос и напоминание. Лицо черноволосого мальчика на Рижском берегу, мальчика с печалью обожания в гремучих, угольного оттенка глазах. Он ходил за ней по пятам бессловесной тенью, ревниво следя за

каждым ее шагом и взглядом. Она ощущала его присутствие, даже лежа в постели с очередным героем своего романа. Сначала это забавляло ее, льстило самолюбию, приятно щекотало нервы. Но вскоре она отметила в себе перемену. У нее вдруг появилась притягательная потребность в нем, в его обожании, в его рабской преданности, в его обреченном зове. Что-то гораздо большее, чем жалость, проросло в ней и незаметно заполнило ее целиком. В конце концов она не выдержала, сама подошла к нему, взяла за руку и повела в густеющие сумерки побережья. Он ничего не умел, этот мальчик с глазами загнанного оленёнка. Ей пришлось помочь ему, после чего с ним случилась истерика. Его колотило немотное возбуждение, он смеялся и плакал над нею, забываясь и обмирая в призрачном желании изойти, раствориться в ней без остатка. Тогда она поняла, что жаркое бремя такого самозабвения ей уже не под силу. После того вечера она стала избегать встречи с ним, сменила адрес, окружила себя глухой стеной поклонников, старалась не оглядываться вокруг. Но он отыскал ее, и обжигающий взгляд его снова пробился к ней сквозь частокол ее бдительной свиты. Она пыталась не замечать мальчика, забыть о его существовании. Он не отступал, день ото дня стягивая вокруг нее кольцо своего преследования, пока, наконец, не настиг ее однажды в открытом море. «Мария! — молил он и в гремящих глазах его закипали слезы. — Мария!» «Нет, — решительно выдохнула она и, повернув к берегу, повторила еще тверже. — Нет». Короткий полукрик-полустон взметнулся следом за ней, но тут же сник и более уже не повторялся. Когда она оглянулась, на ровной, как стол, поверхности блистающего в полуденном солнце простора обозначались лишь скользящие тени редких облаков. Море позади нее излучалось мириадами кро-

хотных светильников и ничто вокруг, насколько хватал глаз, не возмущало его величавого спокойствия. «Господи! — обмерло все в ней, и земля впереди потускнела и слилась с небом. — За что он меня так!..»

Горн умолк, как бы вобрав в себя последнее эхо воспоминаний, и тишина, наступившая сразу вслед за этим, вернула Марию к действительности. Усилием воли она заставила себя открыть глаза и, оглядевшись, с удивлением определила, что лежит на нижней полке служебного купе в обществе сидящей к ней в профиль молоденькой проводницы, которую видела раньше лишь мельком во время чая и редких уборок.

— Что это? — с трудом сложила Мария, кивая в окно. — Зачем?

— Проснулись? — живо встрепенулась та, круглое, без единой памятной черты, веснушчатое личико ее доброжелательно расплылось. — Кухню из здешней части привезли. На завтрак созывают.

— Как я попала к вам?

— А вас майор привел, блондинистый такой, в пятом купе едет. — В ее радушной словоохотливости сквозило еле скрываемое любопытство. — Симпатичный дядечка.

— Почему к вам?

— Вам было так плохо, так плохо, а я все равно дежурила, вот он и попросил меня присмотреть за вами. Такой разговорчивый пассажир, чуть не уморил. Очень уж он об вас заботился.

— Вот как! — удивленно поперхнулась Мария, пытаясь восстановить в памяти события вчерашнего дня. Но помнился ей лишь стареющий щеголь с вкрадчивыми повадками да два-три случайных лица вне всякой связи со средой и обстановкой. — Где мы были, не сказал?

— Он все больше про какие-то бомбы говорил, смешно очень. — Девушка весело хлопотала у столика, расставляя перед Марией нехитрую посуду. — Сейчас чайку поьем, сразу легче станет. Теперь воды вволю будет, военные от водокачки трубу провели. Заботятся о нас. Со вчерашнего дня комиссия за комиссией, комиссия за комиссией! Все смотрят и записывают, смотрят и записывают...

Быстрые, с куцыми, по-школярски обкусанными ногтями руки девушки порхали у самых глаз Марии, и она, благодарно оттаивая, приподнялась:

— Недавно, видно, ездите?

— Второй год.

— Нравится?

— Еще бы! — На тонких стенках стакана оседала испарина от заварки. — Эта линия курортная, столько людей разных, не заскучаешь. Меня подружка моя сюда сагитировала. Мы с ней с первого класса не расстаемся, всегда вместе держимся. Куда мы только с ней после школы ни устраивались! Сначала в детсад оформились, еле ноги унесли, никакого сладу с сопливчиками не было. Потом на метеоцентр поступили, — скука такая, что хоть стой, хоть падай! Две недели кое-как отбарабанили. Попробовали даже официантками в санатории, — чуть с ума не сошли. С шести до девяти, как заводные, ложишься — в глазах темно. А здесь не видишь, как и день летит. С тем посмеешься, с тем поругаешься, глядишь, — спать пора. Уборка вот только заедает. Неаккуратный у нас пассажир, одно слово — курортник.

— Подружка тоже здесь?

— Седьмой вагон обслуживает. К ней даже сватались уже. Сержант один. В отпуск ехал. Ничего парень, вся грудь в значках. И даже не выпимши нисколько. — Вздохнув, она мечтательно

посветлела. — Везет людям, хоть подружке счастья...

Нечто похожее на зависть шевельнулось в душе Марии. У нее, сколько она себя помнит, никогда не было близких подруг. Были случайные приятельницы, знакомые; партнерши по приключениям, дивы застоля и любовных утех, но вот женской дружбой, той самой, когда две души, безоглядно доверяясь друг другу, становятся в самом тайном и сокровенном как бы единым целым, судьба ее обошла. «Беда придет, — тронула ее горечь, — даже поплакаться некому...»

Дверь с грохотом отъехала и в ее проеме обозначился сияющий парикмахерской свежестью Жора Жгенти:

— Подъем, дамы и господа, кушать подано! — В разговоре и движении он казался выше, крупнее, основательнее. — Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры! Вас ждет завтрак, как в лучших домах Филадельфии. Сыр-сулгуни, горячий кофе, легкое молодое вино. Мы будем пить и смеяться, как дети. Вперед, заре навстречу!

Тормоша и подбадривая Марию, он успел одновременно одарить проводницу лучезарнейшей из улыбок (молодец, девушка!), до отказа опустить окно (жарко!), убрать верхнюю полку (больше простора!) и даже выпить стакан чаю (грех отказываться, хотя и не предлагают!).

— Прошу! — Галантно пропуская Марию вперед, Жора изогнулся в шутливом полупоклоне. — Дорогу женщине!

В его размашистом воодушевлении прослушивалось, и это Мария сразу почувствовала, некое беспокойство, известная тревожность, которая натораживала. «Что же было вчера? — вновь озадачилась она. — Что же всё-таки было?»

Войдя в купе, Мария застала там не по времени щедро накрытый стол, за которым уже сидел незнакомый ей моложавый священник в щегольской шелковой рясе с заправленной за ворот салфеткой. Живо, но без излишней, впрочем, поспешности он поднялся ей навстречу и, чуть склонив перед ней пышноволосую голову, приветливо отрекомендовался с едва заметным армянским акцентом:

— Честь имею, отец Тигран или просто Акоп Вартанович. — Глубоко запавшие, с нездоровым блеском в глубине глаза его смотрели куда-то сквозь нее, бесстрастно и отсутствующе. — Очень рад.

Пока Жора суетился вокруг Марии, стараясь усадить ее как можно лучше и удобнее, священник со спокойной размеренностью поделил ожидавшую своей участи курицу на три равные части, наполнил стаканы и, беззвучно помолясь, поторопил сотрапезников:

— Приступим, друзья. Даждь нам днесь!

Завтрак был долгим и молчаливым. Всякий раз, когда Жора пытался было выскочить с очередным тостом, короткий и резкий взгляд исподлобья с противоположной стороны столика мгновенно осаживал его, и майор, словно провинившийся школьник, замолкал и тушевался. Лишь после того, как последняя, третья бутылка стала подходить к концу, а от закусок осталась только горка куриных косточек, священник позволил себе заговорить:

— Если хочешь, я могу продолжить, Георгий?

— Да, да, Акоп! — восторженно тот и повел искательным взглядом в сторону Марии. — У нас тут разговор был... Надо закончить... Нам надо обязательно закончить!

Священник закрыл глаза, словно захлопнул что-то внутри себя от окружающих, и на четком, в поросли первой бороды лице его, словно очертания образа на негативе, проступило долгое, недоступное другим знание...

ХП

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ТИХОГО СЕМИНАРИСТА

— Представьте себе захолустный грузинский городок: пыль, грязь, мертвящая скука нищего быта. В семье пьяницы-сапожника под присмотром забитой набожной женщины растет тихий мальчик с недюжинным для его лет умом и живым воображением. Болезненное самолюбие — следствие бедности и далеко идущих замыслов — помогает ему с успехом переходить из класса в класс и стать среди товарищей верховодом. Мать спит и видит его в пастырском облачении под сводами архиерейского собора. Втайне мальчик разделяет ее надежды и в свободные от игр и учебы часы усиленно штудировать святоотеческую литературу. Горние истины открываются перед ним во всей своей красоте и величии. Посвятить себя уединенному посту и молитве представляется ему его высшим призванием, выбор сделан сразу и навсегда. Жизнь в родном городке, где каждый третий считает настоящим отцом мальчика их соседа — красивого богатыря из виноторговцев, тяготит его. С помощью местного священника, питающего слабость к ревностному отроку, он определяется, наконец, в губернскую семинарию, в которой вскоре становится первым учеником. Вследствие перенесенной в детстве оспы, мальчик страдает комплексом неполноценности и дичится женщин, мирские соблазны не манят его. Всей незамутненной еще грехом душой он уходит в молитву. Экстатическая сущность его проявляется в ней наиболее полно. В минуты наивысшего просветления и подъема пастыри Царствия Божьего являют ему свой запредельный лик,

благословляя его на служение Церкви и монашеский обет. Но в рвении своем он жаждет превзойти все содеянное святыми отцами во имя Господа. Подвиг Иуды, предавшего себя на позор и проклятие ради утверждения славы Христовой, не кажется ему пределом самоотречения. Ему грезится совершить такое, после чего на пиру праведных он будет сидеть одесную Спасителя. Пламенную ревность свою он изливает восторженными стихами, заполняя ими всякий свободный листок бумаги. Гордыня его так велика, что он решается показать свои вирши знаменитому поэту-соплеменнику, который, отвергнув их, в простоте душевной советует ему заняться политикой. «Знаете, юноша, — напутствует он семинариста, — там это легче». Но юноша, пока не ведая, что совет мэтра станет пророческим, с еще большим усердием продолжает молитвенные бдения. Дни и ночи идут своей чередой, не даруя ему указующего назначения. В слезах и покаянии взывает он к Господу, моля Его о непосильном для других кресте. Услышана ли была его молитва или в изнеможении пригрезилось ему, но только однажды среди ночи, когда, казалось, уже иссякла надежда, слышит семинарист явственный голос: «Иди на Афон». Конец сомнениям и томлению духа, конец ложным влечениям и пустым химерам! Семинарское начальство отнеслось к желанию многообещавшего отрока поклониться святым местам со снисхождением и вскоре он уже стучится в ворота Ново-Афонского монастыря. Братия встречает молодого паломника с распростертыми объятиями. Еще бы, такое рвение при всеобщем оскудении веры! Проявляет интерес к гостю и сам знаменитый богоугодной жизнью старец Игнатий, завершающий здесь свои земные дни. Будучи призванным к нему, юноша с удивлением отмечает добротное, хотя и без роскоши уб-

ранство его кельи. Едва уловимый аромат хороших духов витает в четырех ее просторных стенах. На столике красного дерева теснятся дорогие безделушки. Старец прекрасно понимает состояние гостя. «Не бойся людских слабостей, сын мой, — говорит он. — Слабость это еще не грех. Праведная жизнь не в вещах, а в поступках. В делах рук наших тоже красота Божья и нам ли ею гнушаться? С чем ты пришел ко мне, милый?» После врачующей сердце исповеди, в которой тот изливает перед святым отцом всю свою душу, всю муку тяготившей его страсти, старец долго молчит, взыскующе глядя куда-то сквозь гостя, в обозримое только для него одно пространство. «Ты хочешь жертвы, которой нет равных со дня Вознесения Христова? — отверзает он затем уста. — И ты готов?» «Да, святой отец, — отвечает семинарист, — готов». «Тогда слушай, — подступает к нему старец, властно опуская его на колени. — Бесы земных страстей одолели человеческую душу. Человек возжаждал устроиться на земле, устроиться любой ценой, даже ценою преступления. Кровь и ярость застилают ему глаза, он уже неподвластен никакой благодати. Обуюнные соблазнами люди слепеваются к пропасти. Людей гонят туда бесы корысти и гордыни, и, если их не остановить, свет уйдет из мира, и воцарится тьма». «Кто остановит их, святой отец?» «Ты». «Я готов, — шепчет гость, — укажи путь». «Готов ли ты, во имя Господне, обречь душу на вечные муки и поругание?» «Да, святой отец, — говорит тот, — готов». «Готов ли ты предать мать, жену, детей своих хуле и позору?» «Да, святой отец, готов». «Готов ли ты убить друга и обесчестить роженицу?» «Да». «Готов ли ты преступить все заповеди и законы человеческие ради торжества Христовой истины?» «Да, с упованием в сердце». «Не будешь ли жалеть о

деяниях своих в минуты слабости и смятения»? «Нет, никогда». «Что ж, — говорит ему старец, — тогда иди. Иди к тем, кто попирая Божьи заповеди, замыслил обратить детей Христовых в стадо послушных рабов, жизнь и смерть которых будет зависеть от них и никого более. Со скорбью в сердце разрешаю тебя ото всех грехов. Предавай и святотатствуй, кради и убивай, лицемерь и лги. Ты должен стать у них первым. Первым, меньшего не дано. Катехизис их немудрен, слова пусты и ничтожны, главное забудь, что такое Бог и совесть. Когда же с помощью Божьей ты вознесешься на самую вершину власти между ними, наступит для тебя самое тяжкое твое испытание. Они, взявшие в руки меч лжи и разбоя, должны погибнуть, погибнуть все до единого. И смерть для них ты сделаешь во сто крат страшнее смерти их жертв. Мы спасем их души, тела же пусть примут всю меру страданий, какую уготовили они для других!» «Но, святой отец, — восклицает пораженный семинарист, — среди них есть немало соблазненных с чистым сердцем!» «С чистым сердцем, — резко отвечает ему старец, — не решаются идти по трупам ближних. Ответственность их равна и наказание им одно: бесславная смерть. Им не будет числа, имя им легион, и рука твоя да не дрогнет, отправляя на плаху каждого из них, будь то твой друг или близкий родственник. Если человеку не достало крови Спасителя, чтобы прозреть, пусть умоется он своею собственной. Может быть, тогда он оторвет свой взор от земли и взглянет, наконец, в небо... Снесешь ли ты эту ношу, сын мой избранный?» «Снесу, — отвечает тот, и в благодарных глазах его загорается пламень решимости. — Благослови, отец!» С того дня сердце его отрешается от мира. Нет преступления, какого он не совершал бы, идя к поставленной цели. Он интригует среди

своих и одновременно служит в политическом сыске, продавая единомышленников оптом и в розницу за триста рублей ежемесячного жалования. Он не гнушается дружбой воров и насильников, организуя из них банды по экспроприации. Он устраняет со своего пути соперников, не останавливаясь перед клеветой и убийством. Провидение помогает ему избегать случайностей и ошибок. После победы у него почти не остается серьезных соперников. В его списке их двое, но один из них смертельно болен, другой же, оглушенный собственным красноречием, сам роет себе яму, раздражая своей болтовней только что пришедшую к власти и не обремененную образованием касту. Время работает на бывшего семинариста, и через несколько лет, похоронив одного и выдворив из страны другого, он становится единовластным хозяином огромного государства, устранившего мир невиданным мятежом. Мечь его грозна и неотвратима. Сначала он выбивает из-под ног землю у самой непокорной части народа, натравив на нее безродных люмпенов: такого плача и стона не слышала эта страна со времен монгольского нашествия. Брат грабил брата, сын посылал на заклание отца, сосед оговаривал соседа. Сорной травой зарастали пашни, и в некогда хлебороднейших краях павшие от голода складывались штабелями. Затем он принимается за тех, с кем шел к своей неограниченной власти. Бывших палачей казнили палачи, пришедшие к ним на смену, которых, в свою очередь, уничтожили новые палачи. Но зелье сонного рабства уже текло в их крови, и они, умирая, возглашали ему славу и здравие. Но и этого ему кажется мало. В случившейся вскоре кровопролитной войне он отдает на растерзание врагу чуть не четверть государства, устелив эту четверть миллионами брошенных на произвол судьбы жертв, которые, про-

падая в концлагерях и братских могилах, все же не оставляют его своим обожанием. Ложь становится сутью и двигателем человеческой души. Ложь вывернула действительность наизнанку и продиктовала людям способ существования. Ложь пропитала самый воздух, каким все вокруг жило и дышало. Только тут, оказавшись лицом к лицу с результатом заданной себе миссии, он приходит, наконец, к выводу, что обманут. Обманут с самого начала лукавым старцем на Афоне. Пролитая кровь не сделала людей ни мудрее, ни зорче. Но в душе его уже нет места свету и раскаянью. Брезгливое презрение к черни, ничего не забывшей и ничему не научившейся, завладевает его сердцем. Став властелином чуть ли не полумира, он играет судьбами людей и народов, злорадно любопытствуя, до каких же столпов может еще дойти человек в своем лакейском падении. Главы сопредельных государств неделями топчутся у него в прихожей в ожидании аудиенции, собственные министры, упившиеся по его милости до положения риз, пляшут перед ним гопака и кричат петухами, родные дети от страха не поднимают в его присутствии глаз. Ведь их кровная связь с ним прервалась еще со смертью матери, которую, кстати, он тоже предал без особой печали и сожаления. Но чем явственнее приближается к нему старость, тем безотраднее начинает казаться ему его жизнь. Все вокруг видится ему осточертевшим и пресным. Пресные шутки приближенных, пресные процессы микроскопических врагов, пресные увлечения угасающего старческого сердца. В его жизнь, отодвинув все другие ощущения на задний план, входит страх. Страх опутывает его душу гнетущей тревогой, страх теснит ему грудь удушливым холодом, страх лишает его сна и покоя. Тысячи, тысячи рук, кажется ему, тянутся в его сторону, чтобы рас-

считаться с ним за чью-либо гибель. Не доверяя даже ближайшим из близких, он окружает себя стаяй кавказских головорезов, каждый из которых ради него способен убить собственную мать. За бронированными дверями кабинета без окон, обутый в валеные опорки, целыми днями бродит он из угла в угол, коротая время в решении детских кроссвордов и в смутных воспоминаниях. Все чаще и чаще являются ему картины далекого прошлого. Все чаще видит он родной дом, школу, семинарию, Новый Афон. Все чаще возвращается он мыслью к разговору со старцем Игнатием. И всякий раз при этом диктатора гнетет один и тот же единственный вопрос: кто, где и почему подвинул его через случайного анахорета на это крестное восхождение? «Попался бы он мне сейчас, — кипит старик злостью к Игнатию, — ему бы живо развязали язык». Слова давно забытых молитв всплывают в его памяти, но, вызвав в нем подавленный зов, они так и не складываются в одно целое. Господь не принимает его боязливых попыток вновь приблизиться к небесному престолу. Чувствуя скорый конец, он почти не спит, страшась умереть во сне. Он все еще ждет, что разгадка его жизни откроется перед ним, и он, наконец, узнает смысл своего пути и предназначения. Но дни идут, приближая развязку, а судьба не спешит вывести его из неведения. Постепенно он начинает чувствовать медленное угасание своего сердца. Лишь тогда в последние считанные минуты перед небытием он внезапно видит возникшего у двери Спасителя. Распятый молча смотрит на него и в скорбных глазах гостя не таится ни вызова, ни укора. «Ты звал меня, — тихо молвит Он, — я пришел». И тут старик замечает в Его глазах слезы. Охладевающая душа диктатора не выдерживает тяжести этого зрелища, он падает ниц и по-

верженный ползет к двери. «Во имя Твое, — крипит старик, — ради славы Твоей!» Но Спаситель молчит и только тихие слезы снисхождения и жалости текут по Его изможденным щекам. «Прости! — чуть слышно вопиет бывший семинарист. — Разве не ради Тебя предал я мать, жену, детей своих, разве не ради Твоей истины преступил закон и заповедь, разве не во имя Твое залил кровью половину мира?» «Нет, — поводит головой Спаситель, — но я прощаю тебя, ибо не ведал ты, что творил». «Но разве, кроме прощения, я ничего не заслужил у Тебя? — не унимается умирающий. — Разве крест, пронесенный мною, посилен простому смертному? Я совершил этот подвиг проклятья, чтобы сесть одесную Господа в день Твоего второго пришествия, так не оставь же меня наградой!» «Я пришел подарить мир твоей смятенной душе, — отвечает тот. — Но ты не принял моего дара, ибо не вера, а гордыня двигала тобой в твоём пути, большей награды у меня нет. На моем празднике все равны и все одесную Господа. Прощай». «Подожди! — тянется следом за ним умирающий. — Подожди, я хочу еще что-то сказать Тебе!» Но образ у порога исчезает, и последний вопль захлебывается в белых губах старика, застывшего на полдороге к двери с вытянутой вперед рукой...

ХІІІ

Едва священник умолк, как Жгенти вскочил, кровь отлила у него от лица, его трясло мелкой дрожью, голос западал и срывался:

— Как же так, Акоп! Выходит, никто не виноват, даже он? Миллионы сгнили в лагере, а отвечать некому? Оказывается, это просто единственный способ образумить человечество, привести его, так сказать, в чувство? Но ведь это же чудовищно, Акоп!

— Другого выхода нет. — Тот даже не расклеил глаз, так и сидел, откинувшись на спинку дивана, прямой и недвижимый, словно изваяние. — Они действительно ничему до сих пор не научились. Придется попробовать еще раз.

— Ты это серьезно?

— Вполне.

— Кто же следующий?

— На кого падет выбор.

— Может быть, ты?

— Может быть. — Это было сказано с таким невозмутимым бесстрашием, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. — Но может быть и ты, и любой другой. Видно, горького опыта одного народа для человечества недостаточно. Пусть же каждый запишет в свой душевный код память о своем рабском падении, чтобы уже никогда не прельститься самому и заказать потомкам. В этом мы поможем ему.

— Кто — мы?

— Служители Господа.

— Господа ли?

— Сейчас это неважно, — болезненно поморщился тот. — Главное, сделать, потом разберемся.

— Выходит, мне бы лучше врезаться со своими птичками в самую гущу, пускай помнят?

— Возможно.

— Что ты говоришь, Акоп, что ты говоришь?

— Вот именно.

— Греха не боишься?

— Нет. — Глаза его впервые распахнулись и обожгли собеседника обреченной решимостью. — Мой грех, я и отвечу...

Мария слушала их разговор вполуха. Ей еще никогда не приходилось задумываться, есть Бог или нет Бога. Для нее этого вопроса просто не существовало. Она жила, как растение — минутой, импульсом, ветром, ничему не веря и ни о чем не задумываясь. Какое ей было дело до всего этого! Она хотела просто жить, свободная от каких-либо долгов или обязательств. Если порою в ней и возникал некий тайный и непонятный для нее зов, когда сердце ее вдруг раскрывалось навстречу чему-то такому, что не имело плоти и обозначения, то она старалась как можно скорее заглушить в себе эту недолгую слабость. К верующим она относилась с равнодушным предубеждением, подозревая в них страх или корысть. Лишь однажды ее проникло сомнение, но вскоре и оно улетучилось, порою напоминая ей о себе отголосками резких сновидений. Тогда Мария гостила у своей московской тетки, занимавшей две комнаты в коммунальной квартире, окнами на Преображенскую площадь. Прямо против дома, по другую сторону улицы высилась веселая церквушка с высокими воротами и гостеприимным двориком за ними. Стоявшая на бойком месте церквушка не оскудевала прихожанами. С утра до позднего вечера тянулась туда и обратно прерывистая, но нескончаемая цепочка верующих и любопытных. Зрелище это на-

столько примелькалось Марии, что она не проявляла к нему никакого интереса. Но однажды утром картина за окном резко переменилась. Храм, плотно окруженный милицией, исходил гулким ропотом множества голосов. Церковь и дворик при ней были забиты до отказа людьми разного пола и возраста. Текучие толпы зевак топтались вокруг оцепления, оживленно переговариваясь между собой. «Слух прошел, сносить будут, — объяснила позади нее тетка, — вот и загорелся сыр-бор». Молчаливая осада церкви продолжалась три дня. На третий день Мария не выдержала, пошла взглянуть на происходящее поближе. К этому времени за оградой уже не роптали. Тихие, с изнуренными вынужденным постом и усталостью лицами, старые и молодые, слабые и сильные, плохо и хорошо одетые, они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и эта их общность откладывала на их лица печать силы и правоты. Особенно запомнился ей белобрысенький мальчик лет семи в застиранной матроске и сандаликах на босу ногу. Мальчик крепко держался за руку высокого мослатого старика с бритым наголо высоким черепом, и широко распахнутые отчаянной зелени глаза его излучали такой заряд молчаливого превосходства над окружающим, что Мария впервые тогда подумала: «Откуда это у них?..»

Жора не унимался:

— Где же предел этой бойне?

— Все в руках человеческих.

— В чем же тогда Его участие?

— В том, что Он создал нас, поделился с нами частью себя, своего совершенства. Мы дурно воспользовались этим даром и теперь платимся. Но Он еще не покинул нас, не оставил надежды. К единению с Ним надо сделать только усилие.

— Причем — кровавое?

— Если понадобится.

— Я не хочу!

— Это не от тебя зависит.

— Посмотрим! — Жора был вне себя, острое лицо его ожесточенно вскинулось. — Это мы еще посмотрим!

За всю короткую историю их поездного знакомства Мария впервые видела его таким. До этого он казался ей не более, чем стандартным «мальчиком с Кавказа», не лишенным известного интереса и обаяния. Но теперь, глядя на него, она рассмотрела в нем облачко какой-то незамеченной ею доселе муки, какого-то потаенного страдания, как бы нарочно скрытых под лихорадочным оживлением и балагурством. «Где же это тебя обидели так тяжело? — больно царапнула ей сердце жалость. — Кто?»...

— Бес уньния и суеты мутит тебя, Георгий. — Он поднялся, оказавшись еще выше и уверенней, чем он увиделся Марии с первого взгляда. — Я помолюсь о твоей душе.

— Ты лучше о своей не забудь!

— Не забуду, — уже с порога обернулся священник. — Такова моя должность: молиться за всех и за себя. Жизнь рассудит нас, Георгий. Но ты должен смириться сердцем, иначе погибнешь. Великие испытания ждут нас и нам следует забыть старые счеты и быть вместе.

— С тобой — никогда!

— Бог тебе судья, — шагнул тот в коридор. — Только, когда одумаешься, приходи, я не злопамятен... До свидания...

После его ухода Жора посветил в сторону Марии искательным взглядом и, заметно успокаиваясь, вздохнул:

— Вот как бывает.

— Мужчины без этого не могут.

— Простите.

— За что же?

— Развели базар.

— Это даже интересно.

— Мы ведь с ним вместе в школе в Тбилиси учились. Он у нас тогда первым атеистом считался. В футбол играл, как бог. Девочки по нему с ума сходили. Физичка будущим Эйнштейном считала. А он после школы в Духовную академию подался. Не знаю, что с ним такое сделалось, только слушать мне его страшно. Если он прав, то значит мы с вами просто подопытные кролики и ничего больше. Зачем тогда жить? Только ради того, чтобы кто-то, когда-то, наконец, поумнел? А вы, а я, значит, ничто, мусор, зола, пыль? В таком случае, мне незачем было садиться, лучше уж сразу, как говорят, с музыкой... Давайте выпьем, здесь, кажется, что-то еще есть.

Он разлил остатки и первым поднял свой стакан:

— За то, что мы не кролики!

— За вас...

Выпив, он вдруг уронил голову себе в ладони и почти простонал сквозь зубы:

— Как это все нелепо, однако, как бессмысленно! Сколько же, в конце концов, можно, сколько!

Рука Марии невольно потянулась к нему и податливые, цвета спелого ячменя волосы его вязко потекли сквозь ее пальцы. Она бережно гладила их, чувствуя, как под ее рукой умиротворенно затихает его яростное смятение. Зной за окном усиливался, жизнь уходила в глубину, в тень, в полусонную дрему лесополосы, оставляя Марию наедине с ее жалостью и вдруг возникшим опять зовом одинокой трубы.

XIV

Когда наутро после пьянки с грузинами я заглядываю к себе в купе, то застаю там лишь волосатого еврея, которому вчера, сколько помнится мне сквозь хмельной туман, сам предложил сюда перебраться. Старательно заполняя вырванный из общей тетрадки листок крупным ученическим почерком, еврей даже не поворачивает в мою сторону головы. На мой вопрос о Марии он беззаботно пожимает плечами:

— Утром, во всяком случае ее уже не было.

— А ночью?

— Я очень крепко сплю. — В задумчивой невозмутимости его выпуклых глаз явственно прочитывается соболезнующая усмешка. — Я даже не вижу снов.

Во мне глухо, но болезненно закипает досада, к которой тут же примешивается ревнивое подозрение: «Где ее только носит, дождаться не могла!» Чувство это для меня внове, я даже не предполагал, что еще способен на это. Нас с Марией уже мало что связывает. Я не испытываю к ней ничего, сколько-нибудь похожего на влюбленность и, думаю, она платит мне тем же. Мы смертельно надоели друг другу. Если она порою, нет-нет, да и заявляет еще свои права, то скорее в силу привычки, чем от избытка чувствительности. К тому же, мне вообще не свойственно собственничество по отношению к женщине. Я считаю их коллективным достоянием. Что за блажь, право, думать, что какое-либо живое существо, тем более женщина, должна целиком принадлежать тебе одному! У меня на этот счет давно нет иллюзий. Я никогда не добиваюсь взаимности, беру только то, что дается мне

без труда и усилий с моей стороны. Поэтому скорые разлуки никогда не огорчают меня. Мне кажется, я и любил по-настоящему всего один раз в жизни, да и то еще в третьем классе. Преподавательницу пения — Нину Яковлевну, дебелую блондинку лет тридцати с царственно уверенной шеей. Шея эта меня почему-то особенно воодушевляла. Уроков пения я ожидал, словно свидания, с тем жгучим удушьем в горле, какое знакомо, наверное, всем влюбленным, смотрел на нее, как в чад, и долго еще потом не мог опомниться, вспоминая ореол ее волос вокруг матового, чуть тронутого увяданием лица. Помнится, я буквально испражнялся тогда стихами, в которых сравнивал свой предмет со сказочной феей, птицей-феникс и Зоей Космодемьянской. Почему именно с ней, — одному Богу известно. Пыл мой угас в тот день, когда, сквозь розовый туман восхищения, я разглядел однажды ее живот. Живот победно рвался у нее из-под платья, пучился наподобие опары, вызывающе расплзаясь во все стороны. Живот этот заслонил передо мною мир, в котором еще светило солнце и пели птицы. Выгорая изнутри лютой яростью, я возненавидел все в ней: ее лицо, ее волосы, ее пение и походку. Не раз мысленно я впивался пальцами в ее величавую шею и заочно убивал виновника моей драмы изо всех видов оружия. Не в состоянии вынести снедавшей меня муки, я правдами и неправдами уговорил бабушку Варю перевести меня в другую школу. С тех пор увлечения мои не заходят дальше первой размолвки. Оттого теперешнее мое состояние кажется мне чем-то для меня противоестественным. «Стареешь, Боря, — натужно пытаюсь я съязвить по своему адресу, — на покой, в семейный уют потянуло».

Я выхожу из купе и бесцельно бреду по проходу. Дух тлена и запустения витает внутри и сна-

ружи поезда. Мусор, словно размножаясь простым делением, лезет, тянется, течет изо всех щелей и закоулков, намереваясь, кажется, заполнить собою все изнывающее в духоте пространство. Пассажиры уже успели выбраться за пределы вагона, сонно затаившись в придорожном кустарнике. В скудной тени лесополосы, переминаясь с ноги на ногу, топчется знакомый мне длиннорукий курсантик с двумя лычками на погонах. Вся его вялая, опущенная книзу фигура выражает томление и досаду. Встретившись с ним взглядом, я сочувственно киваю ему. В ответ он лишь обреченно пожимает плечами: «Ничего, мол, не поделаешь — служба». «Знаю, — молча соглашаюсь я, — самому приходилось».

В глубине прохода, в преддверии тамбура появляется молоденькая проводница. Блаженно жмурясь от солнца, девчушка идет мне навстречу, чем-то похожая на сытого котенка. Ленивая, чуть враскачку поступь ее, кажется, еще дышит недавними снами и, только сойдясь с нею лицом к лицу, я замечаю, что она пьяна — глухо и бессознательно.

— Марию мою не видела? — пытаюсь я легонько встряхнуть ее. — Она к тебе не заходила?

— Кого? — невнятно лепечет та и вдруг обессиленно утыкается мне в грудь. — Не знаю.

Я осторожно поворачиваю девчушку за плечи и веду к служебному купе, где она, немного придя в себя, вопросительно вскидывает на меня осоловелые глаза:

— Выпить хочешь?

— У тебя есть?

— Там. — Она кивает в сторону стенового шкафчика. — Возьми и налей... Там есть...

Я достаю оттуда уже початую поллитровку и два порожних стакана, наливаю:

— Хватит?

— Лей еще... Голова болит.

— Где же это ты так?

— Там. — Ладонка ее неопределенно плывет куда-то за окно. — С подружкой.

— Не рано ли? — подвигаю я ей стакан. — Не боишься?

— Чего?

— Спиться.

— А! — отмахивается она от меня и, лихо, одним глотком опрокинув свою долю, облегченно откидывается на спинку сиденья. — Хуже смерти ничего не будет!

— Ну, до этого тебе еще, пожалуй, далеко.

— Уже жить не хочется.

— Что так?

— Скучно, интереса нету.

— Замуж иди.

— Не берут.

— Где глаза у ребят!

— Правда? — Круглое лицо ее благодарно млеет. — Не хуже ведь других, правда?

— Лучше.

— Честное слово?

— Конечно.

— Мне это многие говорят, — ее медленно, но неотвратимо клонит ко мне, — а как всерьез, так все враспышную. — Слезы обиды навертываются у нее на глазах. — Что им во мне не нравится!

— Мне — всё.

Я говорю это безо всякой задней мысли, с тем только, чтобы утешить, успокоить ее, но она прижимается ко мне теснее и теснее, лица наши сближаются, я уже чувствую на своих губах ее дыхание и, наконец, выдержка изменяет мне.

Уж кому-кому, а мне-то доподлинно известно, что из этого не может получиться ничего путного.

Острота случайных связей давно не воспламеняет меня. Связей этих было в моей жизни несчетное количество и ни от одной из них во мне не сохранилось ничего, кроме безразличности и разочарования. Иной раз, правда, всплывет вдруг в памяти одно-другое лицо — смешливой стюардессы с авиалинии Ташкент - Москва, длинноногой спринтерши из Казани, которая больше всего на свете боялась забеременеть, беловолодой официантки на взморье, пытавшейся после встречи со мной отравиться спичками, но легкое сожаление о них тут же улетучивается, даже не замутив во мне совести. Единственное, в чем я не могу заподозрить себя, это в неискренности первого порыва. Мне всегда кажется, что на этот раз судьба сжалится надо мной и одарит чем-то прочным и стоящим. Наверное, поэтому и сейчас, вглядываясь в пылающее лицо проводницы, я ищу в нем чего-то такого, что еще не встречалось мне в женщине и что, наконец, привяжет меня к ней прочно и навсегда. «Боже мой, — взывает все во мне, — открой же для меня хоть эту тайну!»

Она засыпает глубоко и безмятежно, и робкие блики короткого счастья проступают на ее почти детском лице.

Чувствуя себя опустошенным, полым, я поднимаюсь и сажусь на край дивана. Там, за окном, в одуряющей духоте августовского полдня неожиданно, словно выплеснутый самою этой жарой, возникает тягучий старческий голос:

Прощай, мамаша дорогая,
Прощай, отец мой дорогой,
Ведь вас я больше не увижу,
Лежу с разбитой головой...

Мимо окна, вдоль кювета, с подвешенной на бечевке через шею консервной банкой, бредет

слепец. Чутко ощупывая суковатой палкой путь перед собой, он медленно движется сквозь вязкий зной полосы отчуждения и в этом его дремотном движении сквозит что-то бессмысленное и роковое.

Подхлестнутый тревожным предчувствием, я встаю, выливаю в стакан остатки спиртного и, залпом выпив, с гулким колотьем под сердцем выхожу в смутный провал двери, в тлен и зной, в беспмятство.

XV

«...простые люди, не зная различия между духовной и самодержавной властью, могут думать, что патриарх есть второй государь, самодержцу равносильный и даже больше него, а потому, если случится между патриархом и царем разногласие, то скорее пристанут к первому, думая, что поборают по самом Боге».

Перо плавно скользило по листу, но чем дальше углублялся Кирилл в текст нового царя указа, тем страшнее и кощунственнее он — этот указ — ему виделся. «Выходит, — изумлялся он, — Петровы потешники, мало им пьяных игрищ, будут управлять теперь и Святой Церковью! Что такое — Правительствующий Синод? Сборище приказных и военных! А духовному пастырю земли русской к ним на поклон?» Ум Храмова, воспитанный в кельях покойного патриарха Адриана, отказывался воспринимать происшедшее. Неужто местоблюститель Стефан так оскудел духом, что не возопиет перед народом с амвона о поправленной патриаршей власти? Неужто не решится он объявить, что негоже государю смущать черный люд умалением святого сана? Неужто покорится антихристу?

Кириллу было ведомо, какая кара ожидает всякого, кто осмелится до урочного времени разгласить приказную тайну: дыба и клещи заплечных дел мастеров Толстого или Бутурлина не останутся без употребления. Но ревностное желание попытаться предотвратить неминуемое, упредив местоблюстителя о близкой беде, пересиливало в нем страх пытки и наказания. «Господь не попустит, — успокаивал он себя, — да и Стефан, муж

ученый и богобоязненный, в обиду не даст, известное дело: служба — царю, исповедь — Всевышнему!»

Заперев в потайной ларь писанный царевой рукой черновик, Кирилл поспешил из приказа, направляясь в сторону Новодевичьего монастыря, где временно обосновался приехавший из Киева местоблюститель. Нетерпение и обида гнали Храмова вдоль стрелецкой слободы, мимо Москва-реки, не давая ему остынуть и опомниться. Он несколько не сомневался, что, выслушав его, тот не преминет вмешаться. Ведь хватило старца на то, чтобы всенародно укорить царя в своей речи против мужей, бросающих жен, и людей, не соблюдающих постов. Преображенский потешник не решился тогда перечить пастырю, стерпел, но, видно, затаился до поры и лишь теперь выпустил когти. У Храмова, говоря по правде, давно накипело против молодого государя, и потому сейчас, когда представился случай помешать Петру в очередной богопротивной блажи, он не скрывал от себя собственного удовлетворения: «Ужо поглядим, ваша милость, каково-то у вас получится!»

Знойный закат багрово струился над монастырскими куполами. Вечернее солнце, слепяще отражаясь в их позолоте, заливало поросший густой повиликой двор ровным красноватым светом. Птичий галдеж среди вялой листвы, взявший силу после жаркого дня, сопровождал Кирилла до самого игумена крыльца.

Молоденький служка провел его по низким сводчатым коридорам к покою Стефана и, открыв перед гостем дверь, опустил долу плутоватые глаза:

— Пожалуйте...

Яворский, сидевший над книгой, поднял навстречу вошедшему затуманенный чтением взгляд.

Медленно окидывая Храмова с головы до ног, он словно бы вспоминал что-то, но так и не вспомнив, спросил глухо:

— Чего тебе? — Узкое, в черной с проседью бороде лицо его настороженно осунулось. — Кто ты?

— Думный дьяк Кирилл Храмов, — растерялся от неожиданности Кирилл. — Исповедаться бы...

Мгновенная тень скользнула от глаз хозяина к кончику хищного носа, но и его — этого мгновения — хватило, чтобы у Храмова тревожно заныло сердце: «Чего это он, боится, что ли?»

— Говори, — снова уходя в себя, уронил местоблюститель. — У Господа милости на всех хватит.

Взволнованно и сбивчиво поведал Кирилл хозяину о случившемся, присовокупив к сообщению, что, коли выйдет надобность, то он — Храмов — готов, не страшась никакого греха, послужить Святой Церкви хоть животом, хоть имуществом, на чем стоит и стоять до конца будет.

Когда он умолк, Стефан тяжело встал из-за стола и, с трудом волоча ноги, двинулся в красный угол, где и преклонил старческие колени. Долго длилась его безмолвная молитва. В робком свете скромной лампадки лики святых с икон смотрели вниз загадочно и томно. Казалось, внемля молящему, они думают о чем-то доступном только им и оттого не слышат старца.

— Иди с Богом, — по-малороссийски певуче произнес, наконец, тот, не оборачиваясь. — Отпущено тебе.

По дороге домой Храмова не оставляло гложащее сомнение. Не такого приема своему известию ожидал он от местоблюстителя. Чудилось, что тот уже знал о злополучном указе и даже — пронеси, Боже! — имел к оному известное касательство.

Тень, на мгновение омрачившая чело старца в начале встречи, не укрылась от Кирилла: «Может, и вправду говорят, — укорял себя он за горячность, — будто заморозил молодой антихрист пастыря льстивым обхождением и посулами? Может, метит Стефан в президенты новоявленного Синода? Может, прельстилась душа его земной властью и славою?» Одно утешало Кирилла в его сетованиях: не запродаст служитель Церкви душу дьяволу, тайны исповеди не выдаст властям предрержащим. На ней — этой тайне — святая святых веры — от века держится православное духовенство.

Дома он долго еще не мог успокоиться, метался по светлице под жалобные увещевания жены и все думал, думал: «Источается, скудеет русская церковь. Если отцы Христовой обители не гнушаются вместе с богохульствующим царем погрязать в разврате и пьянстве, то чего уж спрашивать с малых сих? Благо, избавил Господь преподобного Адриана воочию лицезреть крушение оплота православия. Слетелось на Русь лютеранское воронье праздновать тризну по ее гибели, теперь не выпустят из когтей, пока до зернышка не склюют. Куда нынче православному податься, где правды искать?»

Лишь после вечерней молитвы, укладываясь спать, Кирилл проникся обреченным равновесием: «Бог не выдаст, свинья — не съест». С тем он и уснул...

И снилась ему река. Она текла среди лесистых берегов тихая и незамутненная, как и небо над нею. Кирилл то ли плыл, то ли шел по этой реке, а навстречу ему, из-за крутого поворота выявлялся челн под диковинным голубым парусом. Челн скользил вдоль берега с русоволосым человеком на борту, в котором он сразу же узнал Андрея, того

самого, что зван был первым нести сюда Божье слово и за это окрещенного людской молвой Первозванным. Святитель приветливо улыбался ему, осеняя путь перед собой крестным знаменем. Лодка подплывала все ближе и ближе к Храмову, и когда, казалось, нужно было только протянуть руку, чтобы коснуться ее, крест дрогнул, выскользнул из рук святителя и упал в воду. И тут же парусная голубизна отделила от Кирилла зыбкое видение...

— Кириллушко! — Сначала в дремотное сознание его проник панический шепот жены, потом над ним обозначилось ее лицо: узкое, большеглазое, чуть примятое страхом. — По твою душу...

Все вокруг сразу обрело объем и резкость: в провале двери, упершись кулаком в притолоку, стоял знакомый Храмову особенный следственный судья Скорняков-Писарев, за плечом которого в темноте сеней смутно маячили настороженные глаза приказных.

— Слово и дело, — беззлобно молвил судья, и в пухлом скопческом облике его засквозила печаль. — Собирайся, Храмов Кирилл, Юрьев сын.

«Сон в руку, — с обреченной горечью подумал Кирилл, спускаясь с полатей. — Беда одна не ходит».

Он еще не мог, не хотел верить, отгонял от себя назойливую мысль, что предан Яворским, одним им и никем кроме. Слишком уж кощунственным казалось ему подозрение в святотатстве. Пугало не предательство исповедального таинства, а самая возможность такового. Если так, тогда конец всему — государству, Церкви, России! Только полный исход во тьмах и растворение в миру оплатит этот неотмолимый грех. Так, стараясь укротить в себе властно крепнущую уверенность, он

оделся, вышел в ночь и, проведенный через спящий город, оказался у тайного приказа. И лишь почувствовав под собою волглую солому подземелья, обессиленно сдался: «Он, больше некому!»

Мысленно подводя итоги прожитому, Храмов со страстным самоистязанием доискивался истока той порчи, того зла, какие обрекли теперь Русь на духовный разор и поругание. Вспомнилось, что еще при Алексее Михайловиче, Царствие ему Небесное, началось пагубное нашествие иноземцев в московскую землю. Привечал покойный государь ученую братию со всего света, любил, незабвенный, поспорить с заморскими книжниками о предметах непреходящих и горних. Уже в те поры, тихой сапой, исподволь стали басурманы внедряться в исконные боярские и служилые семьи. Женились и рожали детей от русских, добавляя к славянско-татарской смеси гремучую каплю норманнской крови. По матери, Амалии, урожденной Россельс, Кирилл и сам был наполовину немцем, но затем, по ее ранней смерти, он постарался начисто забыть о своей сомнительной родословной. Вот и выходило, что греховные сомнения нескольких верований замутили чистый источник истинной веры...

Скрежет отодвигаемого засова вернул Храмова к действительности. Из распахнутой двери в темницу хлынул тусклый свет переносного фонаря. Спускаясь по осклизлым ступенькам, вошедший поднял его над головой, и Кирилл признал в госте все того же следственного судью: «Вот оно, начинается! — похолодел он. — Не оставь, Господи, раба своего слабого!»

Судья, осторожно нащупывая ногой твердь, ступил на подстилку, утвердил фонарь сбоку от лестницы и неспешно опустился перед Храмовым на корточки. В зеленых и по-кошачьи немигающих глазах гостя светилась ласковая укоризна:

— Не страшись, Кирилла Юрьевич, я к тебе с добром. Мука муке — рознь. Такое испытание, как тебе, не всякому даровано бывает. Пострадать за веру избанным дается. В великий соблазн вверглась Россия, не сегодня это началось и не завтрава кончится. Долгонько распинать себя будем в назидание векам и народам. За то на Воскресении одесную Господа место обретем. Радуйся, братове, благодать Божья с нами. — Он помолчал, пожевал задумчиво безвольными губами, потом снова заговорил, но уже деловитее и проще. — Сам знаешь, не одна душа через мою дыбу прошла, царевичу кость ломал, не имел жалости, но твоим палачом быть не хочу. На-ка вот. — В протянутую Кириллом руку скользнули две бесцветные облатки. — Прими, не мучайся. Примешь, словно заснешь. Без боли, без печали. Грех я на себя возьму, отпоют по обряду. А Стефана не суди, не своей он волей нечестие творит. Так надо, судьба у нас такая, такая, брат, у нас судьба. — Поднявшись, он потянулся к выходу, взял фонарь, медленно взошел по ступеням, на пороге обернулся. — Прости, Кирилла Юрьевич, не суди... Скоро встретимся... Очень скоро. Там и сочтем долги.

Дверь с лязгом захлопнулась за ним, темь сошлась над Храмовым, но, опрокидывая облатки в рот, он все же почему-то зажмурился и уже не размыкал век. У облаток оказался вкус облепихи — кисловатый и терпкий. И снова перед глазами потекла река, озаренная пронзительной голубишной одинокого паруса.

И был тот же сон...

XVI

Пробуждение мое тяжело и смутно. Всю ночь с короткими промежутками мне снилась какая-то чертовщина. Причем, все в красках: река, лодка, парус неправдоподобно голубой, как поле авиационного околыша. В голове стоит ровный незатишающийся звон, адски хочется пить, пожарнице внутри меня вытлевает наружу сухим тошнотворным жжением. В купе — никого, и только стадо порожних бутылок, хвост которого льнет к двери, а голова покоится на столике, напоминает о вчерашней гульбе. Я встряхиваю первую попавшуюся под руку посудину в надежде выгудить из нее желанный всплеск, но тара безнадежно пуста, и мне не остается ничего иного, как смириться со своей участью и встать, чтобы хоть немного размяться и прийти в себя. Во рту держится устойчивый кислотавый привкус, будто я объелся облепихой.

Я выхожу в коридор и сразу же натываюсь на Ивана Ивановича. Он, как всегда, до синевы выбрит и отутюжен. Свежий галстук пылает у него на белоснежной груди фиолетовыми разводами. Чёрт его ведает, когда он только успеваает!

— Доброе утро. — Его безукоризненная корректность просто угнетает. — Как спалось?

— Как в белой горячке.

— Понимаю, — радушно подмигивает он мне. — Это дело поправимое, одну минутку.

Поманив меня за собою, он идет по проходу, останавливается у питьевой нишки, нажимает рычаг и — да, это уже выше моего понимания! — в подставленный стакан льется янтарного цвета напиток, в котором лишь последний пижон не узнал

бы чистого сухого. Льется там, где еще вчера невозможно было добыть даже каплю воды!

— Вы что, от Кио? — издеваюсь я, чтобы скрыть смущение. — Или, как Лев Ошанин, работаете волшебником?

— Все гораздо проще, чем вы думаете, — протягивает он мне стакан. — Вчера вечером ваши братья-грузины перепились, и летчик спьяну залил бурдюк вина прямо в бак.

— Дают!

— Широкая душа алчет поэзии.

— Безобразия она алчет, — целительная теплота разливается по мне, — и пакости.

— Вам лучше?

— Немного.

— Еще?

— Пожалуй...

Медленно, но верно, очертания окружающего приобретают облегчающую отчетливость. Терпкая кисловатая влага насыщает сердце праздничными ритмами. Мне уже хочется куда-то идти, чего-то желать, с кем-то разговаривать о внезапном и невысшенном. Словно угадав мое состояние, Иван Иванович отечески подбадривает меня:

— Проветримся?

— Неплохо бы...

Мы выходим в тамбур и молча закуриваем. В распахнутую дверь я вижу двух пассажиров, сидящих на гребне придорожного кювета. У одного — печальное лицо язвенника, на котором, полыхая голубым денатуратным пламенем, выделяется нос. Нос этот живет какой-то своей, отдельной от всего остального тела жизнью и сизый кончик его кажется зрячим, до того он — этот нос — длиннущ и сосредоточен.

— Вы какой одеколон уважаете, товарищ? — деловито спрашивает второй, вся внешняя консти-

туция которого свидетельствует о настырности характера и близкой апоплексии. — Тройной или, извиняюсь, цветочный?

— С похмелья, — исходит печалью первый, — мне все едино, я пил даже жидкость из огнетушителей.

— Нет, — с мечтательной уверенностью вздыхает второй, — цветочный обратно лучше: сразу память снимает.

— Может быть... Может быть... Но разве в этом дело?

— А в чем же, извиняюсь?

— Дело в количестве, дорогой, только в нем и ни в чем другом. При желании можно захмелеть даже от газированной воды, поверьте моему опыту. Только чуточку фантазии и воображения.

— Я человек простой, — равнодушно зевает собеседник, — мне крепость трэба... Во, легок на помине!

В поле моего зрения появляется старшина, восточного типа красавец с вологодским акцентом, которого я со вчерашнего дня уже выделил среди приставленных к нашему поезду постовых.

— Вот, — вытянув из кармана галифе темную посудину со знаком смерти на этикетке, он виновато разводит руками, — у здешней стрелочницы конфисковал, больше ничего нету. Закуски опять же дала.

Нос язвенника плавно кружит над бутылкой и затем первым прицельно пикирует в поднесенный ему стакан. Кадык на его индошачьей шее самозабвенно трепещет, смеженные глаза вваливаются.

— Главное, — сипит он, передавая орудие производства старшине, — вовремя выдохнуть.

После того, как поочередно каждый из них проглатывает свою долю, они долго и вдумчиво

заедают выпитое мелко нарезанной сельдью, аккуратно разложенной старшиной на газете. Процесс этот, сам по себе, доставляет им видимое удовольствие: их облик молитвенно углублен и возвышен.

— Чудно, — удовлетворенно откидываясь, наконец, на спину, мечтательно вздыхает будущий апоплексик, — как выпью, так меня на баб тянет. Молодым я ходок был.

— В юности, — полыхание лилового носа становится почти нестерпимым, — я не мог равнодушно даже Жюль Верна читать, — стоило там появиться женщине, как меня бросало в дрожь... Молодость!

Старшина лишь снисходительно усмехается и, сладко потягиваясь, встает:

— У меня, если без балды, от Робинзона Крузо, — он сделал ударение на «о», — штаны рвались.

— Ну, это вы бросьте, — печаль язвенника сделалась еще затаенней и недоверчивее, — где же там женщины?

— А «Пятница нагибается», помнишь? — старшина не скрывает своей победительности. — То-то и оно!

— Любовь зла, — философски изрекает апоплексик, — полюбишь не токмо козла.

— Любовь... Любовь! — Нос язвенника никнет и заостряется. — Кто знает, что это такое!

Я искоса всматриваюсь сейчас в неуловимое лицо Ивана Ивановича, ища в нем хотя бы слабого отблеска возможных в прошлом безумств, но, увы, оно — это лицо — бесстрастно и неуязвимо, как музейная маска с мумии фараона: «Кто же ты, наконец, достопочтенный спец по расхожим чудесам, Иван Иванович Иванов! Любил ли ты?»

Словно продолжая мою внутреннюю тему, голос носатого начальника внизу, в кювете растроганно срывается:

— Я любил только однажды, но, Боже мой, как я любил!.. И кого!

XVII

СКАЗАНИЕ О КОБЫЛЕ «СИЛЬВЕ»

— Взяли меня, как многих, из-за пустяка: будучи «свежей головой» по номеру, пропустил опечатку в комментариях к речи вождя на девятнадцатом съезде. Вместо: «его выступление прозвучало как грозное предостережение поджигателям новой войны», было напечатано «поджигателей». Один этот маленький слог стоил мне затем многих лет жизни. Судом несправедным, но скорым, особое совещание определило для меня полные десять, разумеется, с последующим пятилетним поражением прав состояния. Должен вам сказать, вырос я в семье довольно обеспеченной, отказывать себе в чем-либо не привык, а потому заключение давалось мне нелегко. Уже после первого этапа я усох килограммов на двадцать и вскоре прочно обосновался в разряде доходяг. К тому времени, когда меня пригнали в Потьму, я окончательно потерял человеческий облик. Врач командировки, бегло осмотрев меня, только головой покачал: «Жить, может, будешь, лес валить — никогда». Так бы и околевать мне в бараке для дистрофиков, если бы не подвернулся тут нарядчик из хозчасти — Покатилов Пармен Федотыч, тайный почитатель печатного слова и всех, к этому самому слову имеющих касательство. «Ладно, — сочувственно поцокал он языком, выслушав мою историю, — приставлю-ка я вас к Сильве, у меня как раз конюх освободился. Работенка не совсем, чтобы интеллигентская, но сыты будете». «Сильвой» звали кобылу, обслуживавшую по мелким надобностям рабочую зону. Перекантовать пиломатериалы из цеха в цех, подта-

щить громоздкий кругляк к раме, вывезти за зону ассенизационную бочку было ее уделом. Сами понимаете, с лошадьми до этого я имел дело лишь в качестве седока, путал кнут с хомутом и, по аналогии со словом «шурин», считал, что конь — это родич мерина. Но шеф мой — Покатилов, видно, полагая, что горшки, и в самом деле, обжигают не боги, от своего слова не отступился и через несколько дней я был зачислен в его команду постоянным конюхом. Когда я в первый раз вошел к ней в стойло, она даже не повернула ко мне головы. Потом я понял причину такого небрежения, но тогда это показалось мне с ее стороны, по крайней мере, невежливым. Мы привыкали друг к другу долго и не без осложнений. Первое время я старался подольститься к ней: не спешил отягощать ее лишним грузом, не повышал на нее голоса, подкармливая из неприкосновенных запасов. Но в ответ Сильва лишь поводила в мою сторону блестящими глазами, в которых сквозили откровенная брезгливость и равнодушие. Работала она старательно, но не более того. Лагерная жизнь и лошадь приучит не рваться вперед и не шуметь: своего так и так не отберут, а больше положенного все равно не получишь. К тому же, в зоне у нее оказалось множество дружков, которые не упускали случая поделиться с нею ларьковой коркой или крохой неожиданной передачи. Здесь, наверное, сказывалась неосознанная благодарность невольника к единственному свободному, то есть не имевшему срока существованию, разделявшему с ними тяготы заключения. Люди, как вы знаете, легче доверяют животным, чем своему ближнему. Это и понятно. Человек более склонен к монологу и деспотии, нежели к собеседованию и компромиссу. Бессловесная тварь, молча сносящая нашу злобу и великодушие, ближе нам и привлекательнее неподатли-

вой души себе подобного. В общем, с самого первого дня Сильва предпочитала мне своих многочисленных лагерных доброхотов. Многие из них ходили к ней чуть ли не каждый день, домогаясь у меня права почистить стойло, выскрести ее самое, просто побыть с нею наедине. Меня это, конечно, вполне устраивало. Отработав кое-какой урок по зоне, я отправлялся в гости к чертежникам, где, в разговорах и чаепитии с бывшими профессорами и народными художниками, насыщенно проводил время. Благо, кормежка у меня, с тех пор, как я очутился в хозбригаде, была, хоть и не особо калорийная, зато, что называется, от пуза. Когда я возвращался, Сильва воспринимала мой приход все с тою же брезгливой индифферентностью. Но что-то неуловимо новое появлялось в ней в мое отсутствие. Где-то в глубине ее египетских глаз я улавливал некую затаенную томность, свойственную женщинам лишь в часы полного удовлетворения. От всего ее сытого крупного тела исходил еле осязаемый аромат изнеможения и неги. Не прикасаясь к еде, Сильва с отрешенной задумчивостью смотрела прямо перед собой, и взгляд ее, обращенный внутрь, заключал в себе столько сознания собственного достоинства, что я невольно проникался к ней почтительностью и уважением. Смутное предчувствие открытия, разгадки уже зарождалось во мне, но из полного неведения меня вывел лишь Пармен Покатилов. Встретившись как-то со мною в зоне, он с начальственной непосредственностью озадачил меня: «Ну что, сам-то пользуешься?» «Чем, — не понял я, — добавкой, что ли?» «Ну ладно, ладно, — откровенно хохотнул тот, — все там были, что уж». И только тут до меня дошло, отчего Сильва так неприязненно отнеслась к моему у нее появлению, почему таким презрением по отношению ко мне веяло тогда от

нее, и зачем, наконец, с такой настырностью ломилась к ней лагерная братва. Она ждала от каждого из нас не подачек, а любви! Ужас и отвращение охватили меня, казалось, небо разверзлось надо мною и скорбные ангелы смотрят с высоты в мою сторону, охваченные гневом и состраданием. «Зачем, зачем мы живем! — вопил я про себя, и сердце мое обливалось дымящейся кровью. — Зачем мы существуем, если Ты оставил нас? Сжался над нами, ведь мы недостойны жить!» Но, сами понимаете, жизнь тем не менее продолжалась и мне нужно было снова вставать в шесть утра и отправляться в рабочую зону к своему производственному месту. Сильва, словно почувствовав тогдашнее мое состояние, отнеслась ко мне с известной долей снисходительности. В этот день она, против обыкновения, не упрявилась на выводке, излишне усердствовала в работе, не нудилась и не капризничала. Это первое взаимопонимание несколько сблизило нас. Человек, как известно, ко всему привыкает, привык и я смотреть на вверенное мне существо без ложного стыда и предубеждения. Братва продолжала по-прежнему навещать ее, и я всякий раз уходил в чертежную, чтобы скоротать время в просвещенной беседе с осужденными светилами науки и живописи. Но вскоре и мне пришлось коренным образом изменить свои представления о морали и нравственности. Трудно сказать, как это у меня началось. Просто однажды я вошел к ней и не ощутил в себе обычного в таких случаях брезгливого холодка. В тусклом свете единственной лампочки свежевычищенный круп Сильвы играл и переливался всеми цветами радуги, сияя холка лоснилась и польхала, египетский глаз косил в мою сторону загадочно и призывно. И главное, этот запах, этот упоительный запах изнеможения и неги! Кровь ударила мне в голову и

застелила мир передо мной теплой одуряющей пеленой. Когда я очнулся, то, к своему удивлению, не почувствовал раскаянья. Скорее наоборот: что-то, еще дотоле неизвестное мне и пока дремавшее у меня внутри, вдруг проснулось и озарило мою душу светом любви и терпимости. С того дня мы почти не расставались. Входя к ней утром, я старался уже не отлучаться от нее до конца работы. Но что самое поразительное, я стал ревновать ее. Я наотрез отказывал всем жаждущим попасть к ней доброхотам, меня не раз били до потери сознания, но я не уступал, предпочитая гибель торжеству соперника. Не знаю, чем кончилось бы это смертельное для меня единоборство, если бы к тому времени не подспела Великая Амнистия. Обе зоны мгновенно опустели. Кое-кто не удерживался, приходил прощаться, таким я сочувствовал; пускал, под своим личным, правда, присмотром. Потом, словно опущенная в воду, Сильва бродила по зоне, почти не прикасаясь вялыми губами к траве. Время от времени она поднимала голову и печально смотрела за проволоку, туда, где в необозримых просторах великой страны исчезли, утонули ее безвестные рыцари и поклонники. Я никогда раньше не думал, что животное может так горестно и так по-человечески тосковать. Безучастная ко всему, возвращалась она к себе в стойло и только моя преданность несколько скрашивала ее существование. Но вскоре пришла и моя очередь. Меня освободили тоже, как всех, «за отсутствием состава преступления». В тот день я пришел к ней, предварительно нахлебавшись у лекпома неочищенного спирта. Слишком уж дико-винно несправедливой показалась мне тогда моя судьба. За что? Почему? По какому праву? Исступление, вспыхнувшее во мне, требовало выхода, и я отправился на конюшню. Она сразу угадала мое

намерение, но не вздрогнула, не захрипела. Она лишь покорно согнула шею, подставляя ее, словно привыкшая ко всему деревенская баба, под вознесенный мною над ней кнут. Как же я бил ее тогда, Господи! Обезумев от ярости, я распинал в ней все: и свой арест, и свою неудавшуюся жизнь, и свое внезапное освобождение, а, главное, свой позор, который, как мне тогда казалось, мне уже не замолить и не отмыть. Сильва, помнится, не шелохнулась, лишь впалые бока ее подергивались змеящейся судорогой да все ниже и ниже клонилась шея. Я только старался не встречаться с ее египетскими глазами, и, по-моему, мне это удалось, потому что, когда я вышел из конюшни, память моя не сохранила в себе их испепеляющей укоризны. Помнится, я снова напился и пил уже до самого отъезда, не переставая. Лишь очнувшись в поезде и глядя сквозь убегающую за окном ночь, я вдруг вспомнил все и заплакал. Я плакал, не стыдясь своих слез, о ней, о Сильве, и не было у меня в жизни, ни до, ни после этого, плача благодарнее и чище... К сожалению, это может понять только тот, кто был там, вместе с нами. Вот и все.

XVIII

— Бывает, — после затяжной паузы молвит старшина многозначительно. — И не такое бывает.

— Я и говорю, — соглашается другой, — полюбишь и козла.

Бутылка со знаком смерти на этикетке снова плывет по кругу, но уже при полном молчании и без прежней обстоятельности. Каждый из них думает сейчас о чем-то таком, что не терпит вмешательства со стороны и не требует излияний...

— Вот вам, Боря, и ответ на ваш вопрос. — Иван Иванович все-таки угадывает мои мысли. — Кто из нас не любил!

— И вы тоже?

— Почему я должен составлять исключение?

— Не знаю, только, мне кажется, вам все вокруг безразлично.

— Вы ошибаетесь, Боря, ах, как вы ошибаетесь! Я люблю, люблю горячо и бескорыстно, люблю много-много лет, их — этих лет — теперь даже и не сосчитать, но любовь моя иного, чем у вас, свойства. — Плоские кошачьи глаза его округляются, сразу меняя цвет и выражение: в них явно проглядывает едва ощутимая грусть. — Вы, Боря, привязаны к конкретному существу, к живой сиюминутной плоти, я же — к единому облику во времени и пространстве. Вам этого не понять сейчас, но когда-нибудь потом вам станет ясно, что это такое. А сейчас вам надо жить, Боря, просто жить и делать иногда из этой жизни хоть какие-то выводы. В этом мире смертельных уловок трудно выйти из происходящей игры; кто выходит, тот гибнет, это — закон. Поэтому каждый находит се-

бе допустимую правилами передышку, одна из которых — любовь. И совсем неважно, к чему и к кому... Смотрите!

Там — за порогом тамбура, впереди нас, в полосе отчуждения, словно выпорхнула из-под земли стайка экзотических бабочек: по зеленому полю, вдоль леса кружится цирковая карусель. Гимнасты и акробаты в разноцветных трико, молниеносно сменяя комбинации, то и дело возносятся над кустарником замысловатыми пирамидами. Мячи и обручи жонглеров перекатываются по умытому небосводу, наподобие колесниц фейерверка. Немного поодаль от них болезненно высокого роста клоун с тяжелой челюстью щелкунчика, стоя в окружении пестрого выводка лилипутов, старательно выстраивает на крохотной гармонике «Хотят ли русские войны?» Где-то там в поднебесьи над всем этим, трехкратно усиленный мегафоном, неистовствует оголтелый бас:

— Почему Саркисьянца нет на репетиции?.. Пить надо меньше, дорогие товарищи, это вам не кевезн, а цирк!.. Где силовая пара «Мы за мир»?.. Спать они будут в доме ветеранов сцены, здесь у них обязанность отрабатывать ставку... Слушайте вы, Карузо мимического жанра, если вас не устраивает моя программа, переходите в киномассовку... Итак, все за работу, через пять минут проверю...

Все происходящее сейчас передо мной почти неправдоподобно. Но за эти дни я прошел через такой бред, что уже разучился чему-либо удивляться. Правда, теперь во мне начинает зреть еще неясное пока предчувствие ожидающей меня впереди цели, к которой я медленно двигаюсь как бы по конусной спирали миражей и видений.

— Вот видите, Боря, — вздыхает за моей спиной Иван Иванович, — у всякой иллюзии есть своя изнанка. Воздушному созданию из-под купола

приходится стирать бельишко, а чародею с красной строки платить взносы в профсоюзную кассу. Но от этого обаяние платного чуда не становится менее привлекательным. Знаете, что Тертуллиан сказал о Спасителе: «И Он был распят, и на третий день воскрес, и это была правда, поскольку это невозможно». Неправда ли, бесподобно? Посмотрите-ка на тех бражников; куда только подевались их недавние печали? Созерцание чуда совершенно переменило их!

Я смотрю и не верю своим глазам: трое на гребне кювета преобразаются до неузнаваемости. С немым благоговением взирают они на внезапно возникшее зрелище. Что-то почти мистическое проглядывается в их отрешенных лицах.

— Грандиозно! — в полузабытьи шевелятся тонкие губы бывшего лагерника. — Феноменально!

— Дают! — не то восхищается, не то негодует другой собутыльник. — Ну, молотки!

— Первый класс! — невольное почтение вытягивает старшину по стойке «смирно». — Парад але называется.

Не успеваю я подумать, что хорошо бы выпить сейчас еще чего-нибудь, как из-за моей спины ко мне выплывает полный стакан, любезно протянутый Иваном Ивановичем:

— Будьте здоровы, Боря, это вам не повредит.

Не знаю, право, каким пойлом поит он меня на этот раз, но только, подняв глаза, я чуть не вскрикиваю от удивления и неожиданности. Картина внизу, словно по волшебству диапозитива, резко меняется. Еще мгновение назад восторженно созерцавшая текущее перед ними зрелище троица является сейчас собою стройную пирамиду: в широкие плечи апоплексиса упираются ноги его горемьгного партнера, который, в свою очередь, держит на

себе вытянувшего руки по швам старшину. Вдохновенное лицо старшины озарено нездешней целеустремленностью:

— Але гоп! — кричит он, вынимая из кармана галифе клейменную знаком смерти бутылку. — Откупорка в воздухе по желанию публики! — Пробка летит вниз, горлышко тонет в волевых губах. — Коньяк три косточки, высший класс!

— Главное, ребята, — вторит ему другой, принимая от него посудину, — сердцем не стареть!

— Где наша не пропадала! — хрипит нижний, и бутылка, сквозь которую уже струится солнце, летит в сторону. — Одна живем!

Словно в сомнамбулическом забытии, они, одну за одной, проделывают множество гимнастических фигур, настолько замысловатых, что вскоре замороженные их действием циркачи выстраиваются вокруг них восторженным полукругом. Разинув крашенные рты, мастера по-детски глазят на трех хмельных чародеев, бездумно игнорируя взывающий к ним через мегафон бас:

— Прошу по местам! Акробатов не видели? После чистого денатурата люди совершают и не такое. Саркисьянц, вы что? решили перенять опыт? Я уволю вас без выходного пособия, и уже никакие справки из психдиспансера вам не помогут! Коверные, прошу заняться делом, это лучшее средство от похмелья! Группа ассистентов, возьмите себя в руки, вы когда-нибудь пили что-либо крепче молока? Попробуйте, и вы перевернете мир.

Среди вереницы броско раскрашенных лиц я сразу же выделяю одно единственное лицо, принадлежащее маленькой лилипутке в голубом трико. Сквозь прозрачный нейлон мне видны ее фарфоровые очертания, крохотная грудь, темное пятнышко впадинки внизу живота. Затаенные в

гнездах ресниц глаза карлицы обращены в мою сторону, и мне явственно видится в них зов и желание.

«Да, да, — мысленно кричу я ей, и сердце мое при этом срывается и летит в пропасть, — я тоже!»

«Когда? — ликующе сияет вся ее детская суть. — Где?»

Я: — «Сейчас... Везде».

Она: — «Конечно!»

Я: — «Не боишься?»

Она: — «Нет!.. Нет!»

Я: — «Иди... Иди сюда».

Я тянусь было к ней, но тут между нами вырастает квадратный, похожий на выставочного робота человек с мегафоном через плечо, и зычный голос его раскалывает тишину:

— Не мешайте товарищам культурно развлекаться на лоне природы! Займитесь делом! К сожалению, Саркисьянц, для вас заразительны лишь дурные примеры, такой класс вам не под силу! Силовая пара «Мы за мир», предупреждаю, пенсии олигофренам выплачивают в собесе, в цирке надо работать! Прошу разойтись по местам!

Пестрое каре бросается врассыпную, и человек-робот, подхватив на руки мое сокровище, торжественно несет его сквозь кустарник.

«Прости меня, — взывают из-за его массивного плеча глаза лилипутки, — ты же видишь! Прости меня!»

«Я найду тебя! — тянусь я вслед ей. — Обязательно!»

«Спасибо, — сияет она. — Я жду...»

Я облегченно смежаю веки, мне хочется сохранить в себе незамутненным ее образ и ее прощальный зов.

— Раз, два, три, — продолжает резвиться старшина, — але, гоп!

— Ведь мы ребята, — вторит под ним партнер, — ведь мы ребята семидесятой широты.

— Сам пью, сам гуляю, — напрягается внизу третий, — мы люди простые, нам бы грёши...

Голос человека-робота уже ниспадает, кажется, прямо с неба!

— Пить вредно, Саркисянец, вы только что сами в этом убедились. Но если бы вы умели хотя бы сотую долю того, что они, я бы получал свои триста со спокойной совестью. По местам!.. Начали!..

ХІХ

Сквозь плотно смеженные веки я чувствую, как меня проникает чей-то изучающий взгляд. Взгляд чужой, настороженный, пристальный. Я чуть расклеиваю ресницы, чтобы исподволь разглядеть сидящего рядом со мной человека. В полутьме слабо освещенного купе постепенно выявляется треугольное лицо с глубоко запрятанными в отечные складки кожи пронзительными глазами. Затем, из темноты за его спиной, обозначаются ящички-соты, забытые казенно опечатанными конвертами, зарешеченные оконца под самым потолком, сортировочный стол у торцовой стены помещения. Связав мысленно зрительную информацию воедино, я заключаю, что нахожусь в почтовом вагоне.

— Как я сюда попал? — притворяться спящим теперь уже не имеет смысла. — Каким образом?

— Вас оставил здесь какой-то гражданин в смокинге. Он сказал, что придет за вами, как только вы проснетесь... Слишком уж вы были нехороши... совсем нехороши.

— А вы кто, проводник?

— Нет, я здесь живу.

— То есть, как?

— Очень просто... Вернее, не так уж просто... Но у меня нет другого выхода.

— Не понимаю.

— Видите ли, — мнется тот и лицо его от смущения отекает еще сильнее, — мне негде жить... Боюсь, вам это покажется довольно странным... Это трудно объяснить.

— Да уж валяйте! — милостиво разрешаю я, откидываясь на подушку. — Спешить мне все равно некуда.

— Если с самого начала...

— С самого.

Я снова закрываю глаза, и, сквозь обволакивающую меня дрему, моя память принимается записывать его неторопливую, с глухотцей речь:

— Простите, но мне придется сделать маленький экскурс в далекое прошлое моей судьбы. Без этого вам трудно будет составить себе понятие, как я дошел до жизни такой... Родился я сорок три года назад, под Москвой, в Химках, в водонапорной башне. Да, да, не удивляйтесь, это была обычная водонапорная башня, приспособленная под временное жилье. Прорубили, знаете ли, окно в виде амбразуры, оборудовали рядом кабиночку для отхожего места, вынесли кое-какое лишнее железо и, в результате, получилась вполне сносная площадь для вселения. В этой башне из слоновой кости исполкомовской сообразительности я и прожил почти всю свою сознательную жизнь. Родители мои, учителя-словесники, истинные рыцари революции (отец, святая душа, даже, кажется, что-то штурмовал, не помню точно что, Перекоп или Зимний), относились к своим житейским невздам стоически. О том, чтобы добиваться более сносных жилищных условий, в нашей семье не могло быть и речи. Трущобы Лондона и бидонвили Парижа ежедневно и ежечасно взывали к взыскующей совести моих стариков. Высокое классовое самосознание, хотя отец мой происходил из купеческой семьи, а мать была потомственная гувернантка, предохраняло их от чванства и буржуазного перерождения. Я рос в атмосфере неувядающих идеалов борьбы за лучшее будущее человечества. Тройка в моем дневнике приравнивалась у нас в семье к враже-

ской вылазке, а двойка уже вплотную граничила с вредительством. В тридцать восьмом родителя моего, как матерого английского шпиона, отправили смывать свой гражданский позор на лесосплавы Печоры и Ангары, где он и пробыл около двадцати лет, выйдя оттуда еще более укрепившимся в своей беззаветной преданности делу построения нового общества. За эти двадцать лет я, под неусыпным руководством матери, с золотой медалью окончил школу, стал лучшим выпускником Плехановского института, с блеском защитил диссертацию на тему «Жилищный кризис в США» и был приглашен штатным референтом по вопросам коммунального хозяйства в Госплан. К тому времени, когда отец вернулся из заключения, я уже имел печатные труды и сотрудничал в центральной прессе. Но, как это ни странно, все это не изменило нашего квартирного положения. Сколько я ни интриговал, сколько ни подключал к делу влиятельные звонки и официальные ходатайства, исполком наотрез отказывался принимать мои документы, мотивируя отказ наличием у нас в семье санитарной нормы. В конце концов я плюнул и подал заявление в кооператив. Вам когда-нибудь доводилось быть пайщиком жилкооптоварищества? Нет? Значит, вы не знаете жизни. Современный жилищный кооператив это, если хотите знать, альфа и омега, начало всех начал, в текущем быту интеллигента средней руки. Он — его лучезарная цель, его движущая творческая сила, его воспарение и полет. Не ошибусь, если скажу, что именно жилищному кооперативу мы обязаны рождением множества оригинальных идей в науке и технике, доброго десятка значительных книг и неисчислимого количества высокохудожественных переводов с разных языков. Можно сказать, благодаря ему, мы пережили незабываемое время политического и культурного

ренессанса. Говорят, не знаю, насколько это правда, что даже металлическая пробка к белой головке изобретена кооперативным пайщиком. А какое количество нерасторжимых браков, скрепленных не столько Гименеем, сколько общими взносами, взлелеяло это содружество! Я уже не говорю о его влиянии на живопись и скульптуру, расцвет которых непосредственно связан с освобождением внеплановыми новоселами многоквартирных подвалов. Что и говорить! Я уверен, хотите верьте, хотите нет, что кооперативное строительство в нашей стране окажет огромное влияние на будущее человечества... Но, извините, я отвлекся, полет, знаете ли, поэзия лучших моих лет воодушевила. Так вот. В самый разгар жилищного бума встретил я случайно в электричке девицу. Я, по правде говоря, от рождения робок, особенно с женщинами, но здесь, уж и не знаю, что со мной случилось, осилил себя, подсел. Сидит она, знаете, этакое деревенское существо с котомочкой, в пустом вагоне и горько плачет. Не выдержал я, спрашиваю: «Что с вами, девушка, могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Мотает головой: нет, мол. А сама стреляет глазом на меня, оценивает. Слово за слово, выясняется следующее. Устроилась девчонка по рекомендации своей землячки домработницей в одном столичном семействе. Уж эти мне нынешние семьи сравнительного достатка! Основаны они черт знает на чем и черт знает чем держатся. В результате, к девчонке стал приставать хозяин, а за ним и хозяйка, оба с известными целями. В конце концов та не выдержала, сбежала, но идти ей теперь некуда и жить негде. Человек я, должен вам сказать, не склонный к движениям и порывам, а тут, не знаю, что со мной и произошло, вдруг загорелся: «Пойдемте, — говорю, — со мной, мама будет очень рада». Про маму это я, конечно, наобум ляпнул, по-

надеялся на ее разночинные идеалы. И, как оказалось, совершенно зря. Их у нее хватило ровно настолько, чтобы не вышвырнуть нас из дому в тот же вечер, но на следующий день я уже искал частную квартиру. Это и решило мою судьбу. Через месяц мы расписались, а спустя год въехали в построенное мною на паях с товарищами однокомнатное королевство. Медовая безмятежность первых дней омрачилась лишь нашим визитом к ее родителям. Боже мой, такого сборища мелких хищников мне еще видеть не доводилось! Они не брезговали ничем. Подарков им показалось мало, и у меня из чемодана было изъято все, вплоть до носовых платков и сапожной щетки. Причем, я сам слышал, как мать ее, нечто среднее между квашней и снежной бабой, выговаривала ей однажды в сенях: «У них, у городских, всего прорва, сосут нашу кровь, наживаются, свое берем — не чужое». Насчет крови, правда, это она несколько преувеличила, эритроцитов в ней, по внешнему виду, было человек на пять, не меньше. Отец же, напиваясь, не раз похвалялся в моем присутствии: «Хлебом меня не корми, дай ихнего брата облапошить, думают, больно умные, а я любого очкарика средь бела дня по миру пуцую». Но, как говорится, счастье ослепляет. Вскоре я и думать забыл о своих деревенских родственниках. Молодую жену я сразу же определил учиться в торговый техникум. Признаюсь, меня тогда воодушевила идея самому, наподобие Пигмалиона, создать свою Доротею, сделать из пензенской девочки женщину, отвечающую всем современным мировым стандартам. Училась она с туповатой старательностью провинциального неофита, положившего себе во что бы то ни стало сделаться достойным дарованной ему веры. Я водил ее по музеям и выставкам, пристрастил к театру и чтению, выписал ей журнал мод.

Проходило время, и я, с тайным удовлетворением вдохновенного художника, все чаще замечал, как конопатая простушечка, недавняя лапотница и кухарка своим внешним видом начинает походить на дам, из тех, которые хоть сейчас готовы руководить государством. Техникумом дело не кончилось. Я решил, была не была, доводить свое, в буквальном смысле, дорогое детище до совершенства. Ночей не досыпал, кропая статейки во все мыслимые органы экономической печати, но своего добился-таки: жена, не зная материальных забот, аккуратно переходила с курса на курс Плехановского института и в конце концов не без успеха закончила его. Наступила новая полоса нашей жизни, вчерашняя домработница сделалась полноценным интеллигентом с товароведческим уклоном. Соответственно изменилось и ее отношение ко мне. Она уже более не ловила моего одобрительного взгляда за обеденным столом, не старалась выглядеть хозяйственной и деловитой и не только не поддакивала мне во всем, как раньше, но порывалась спорить со мной по специальным вопросам. Если бы перемена в ней тем и ограничивалась, то это лишь позабавило бы меня. Но все обстояло куда серьезнее. Она стала охладевать ко мне как к мужчине. Под всякими предлогами жена все чаще и чаще уклонялась от моих законных требований. То отнекивалась усталостью, то у нее возникало недомогание, то ей приходило в голову в самый, простите, неподходящий момент, затевать ссору. Сначала я относил это за счет издержек эмансипации и профессионального отчуждения. Но жизнь опровергла мои теоретические выкладки. По роду службы, видите ли, мне приходится часто бывать в командировках: вояжи по стране с начальством, обобщение опыта, различные конференции. Обычно в таких случаях, возвращаясь, я предупреждал

жену телеграммой, чтобы она могла вовремя встретить меня на вокзале. Но однажды я был отозван из поездки срочным звонком высокого ранга, и поэтому, впопыхах, явился домой без предупреждения. Еще во дворе, заметив в своем окне приглушенный свет, я почувствовал неладное... Вы смехаетесь! Конечно, я вас понимаю, все, как в дешевеньком анекдоте о муже, приезжающем из командировки, но, кто виноват, если жизнь так скупа на выдумки!.. В экстазе они даже не позаботились о предосторожностях: английский замок был закрыт на один поворот ключа, цепочка снята, дверь в комнату распахнута настежь. В общем, едва переступив порог, я воочию узрел французскую любовь и все такое прочее. Что меня поразило, она даже не пыталась оправдываться. Вот уж поистине, творение оборачивается против создателя. Дитя пензенской природы оказалась достойной дочерью цивилизации. В короткой, но глубоко прочувствованной речи разгневанная моим внезапным вторжением супруга изложила мне свою программу, суть которой сводилась к тому, чтобы я, не задерживаясь долго, освобождал помещение, где мы прожили вместе почти десять лет и куда она намеревалась прописать очередного покровителя. Воспитанный в лучших традициях коммунального рыцарства, я наскоро собрал чемодан и тогда же провел первую свою ночь на вокзале. Там я узнал массу интересного, обогатив свои знания по социологии самой разнообразной фактографией. Я узнал, например, что у нас существует проституция, гомосексуализм, нищенство как профессия. Мне довелось познакомиться с бродягами, ворами, спекулянтами, торговцами краденым, слепцами и мошенниками. Оказывается, бок о бок с нами, своим обособленным миром, существовала другая, отличная от нашей, жизненная сфера, целое собрание

социальных изгоев, где действуют другие, неподвластные общепринятым, законы. И я, верите, полюбил этот мир, привязался к нему, видно, что-то в генетическом шифре моем соответствовало ему. Сказался, верно, глубоко заложенный в нас бродяжий дух наших азиатских предков. Мне удалось выхлопотать перевод на работу, связанную с разъездами. В коротких перерывах между командировками я проводил время под сводами негостепримных московских вокзалов, а случайное знакомство с начальником почтового вагона окончательно определило мою судьбу. Моя жизнь на колесах сделалась постоянной. Здесь я живу, питаюсь, отправляю естественные потребности и даже пишу докторскую: «Бродячие хиппи, как результат обнищания масс в западном полушарии» ...Вот, простите, в двух словах причина моего пребывания здесь, рядом с вами...

— Голова болит, — коротко и вяло суммирую я все мною услышанное. — У вас выпить нету?

— А ваш товарищ оставил, — с поспешной готовностью бросается тот мне на помощь. — Просил налить, как только проснетесь.

Выуженная из сумрака полого стола, передо мною появляется блистающая девственным сургуточом четвертинка. Когда после третьего глотка в моей медленно угасающей крови вспыхивает множество крохотных солнц, а стены вокруг раздвигаются до четко осязаемых размеров, я поднимаюсь и молча выхожу в тамбур.

За мелкой изморосью дверного стекла неслышно клубится рассвет. Окутанные текучим туманом деревья, кажется, плывут мимо в сизое ничто утренней перспективы. Мир вокруг дремотен, очищающ и тих, как дитя, прозревающее свой первый сон. Беру на себя дверь и спускаюсь вниз. Едва ноги мои касаются тверди, как впереди меня, в ды-

мящихся травах придорожной полосы вспыхивает яркое пятно. Пятно плавно движется мне навстречу и в нем — в этом пятне — по мере приближения все явственнее обозначаются, твердеют черты вчерашней лилипутки. Утро так беспорочно и благостно, что, если бы не пыльная, в мутных подтеках лента поезда вдоль леса, можно было подумать, будто это первая Ева бредет по первой земле, в поисках своего первого возлюбленного. Делая шаг к ней, я вдруг ощущаю себя тем самым Адамом, которого со слепой улыбкой ищет она сейчас, и через минуту руки наши находят друг друга, и мир мгновенно смыкается в нас. «Прости, Господи, — забываясь, шепчу я, — перед соблазном этого древа мы, смертные, бессильны!»

XX

Двери в пустынных коридорах казались Марии вымершими сотами. Жора походя откатывал то одну, то другую из них, но тут же задвигал снова, обескураженно вздыхая:

— Никого... Никого... и здесь никого... Куда они все запропастились, чёрт побери!..

Миновав последний вагон, они очутились в хвостовом тамбуре, и тут, в темноте, Жора приник к ней, и она почувствовала, как в нем западает дыхание, и чуткие губы его скользят по ее лицу, шее, плечам:

— Мария...

— Подожди.

— Ты удивительная...

— Тебе кажется.

— Нет... Нет...

— Скоро пройдет.

— Никогда...

— Вот увидишь.

— Не говори так... Не говори.

— Зачем я тебе?

— Не могу без тебя.

— Смешной...

— Я так благодарен тебе, Мария...

— Как маленький...

— Выйдем?

— Давай...

Он открыл дверь, чуть помедлив, спрыгнул вниз и потянулся оттуда к Марии:

— Смелее.

Мария расслабленно упала в темь, цепкие руки Жоры подхватили ее, бережно опустив на землю:

— Пошли? — Он выбросил ей руку уже с другой стороны кювета. — Иди сюда.

Но едва они пересекли полосу отчуждения, как из тени лесополосы перед ними выступила смутная фигура:

— Кто идет?

— Это я — Жгенти.

— Товарищ майор! Не узнал, богатым будете.

— Стережешь?

— Служба.

— Не надоело?

— Недельный отпуск обещали...

Привыкнув к густому сумраку, Мария, наконец, разглядела его. Скромного сложения длиннорукий курсант с лицом обиженного подростка. Сколько их, подобных этому, перевидала она на своем коротком веку, проводя большую часть жизни среди военных или рядом с ними. Даже первая настоящая влюбленность случилась с нею в ракетном городке, под Моздоком, где отец ее заведовал тогда оперативной частью.

В то лето она с грехом пополам закончила десятый класс и готовилась к поступлению в институт. Занималась Мария спустя рукава, лишь бы не докучали родители, ухитряясь при малейшей возможности улизнуть в город или на танцы. Вокруг нее упорно вилась офицерская братия всех званий и возрастов от взводного до генерала включительно, но она, давно наскучив поздними страстями денежных ухажеров, искала общества своих однолеток первого года призыва, среди которых сразу же выделила ртутно живого черноволосого крепьша со снежным пятном чуть повыше виска. Его звали Эрик. У него была смешная фамилия Невинный. Службу ему облегчала способность к рисованию. Большую часть времени он проводил

в клубе, выполняя заказы политотдела по наглядной агитации. В свободные часы парень не расставался с фламастером. Мария любила смотреть, как под его рукой сказочно оживает чистая поверхность бумажного листа. Она обложила его, как труднодоступную крепость, с применением всего арсенала ударных средств и он, уступая позицию за позицией, в конце концов сдался на милость победителя. Эрик и впрямь оказался в полном смысле слова невинным, обидчиво удивляясь ее фантазии и опыту. Но едва преодолев вступительную робость, он впал в изнурительное неистовство.

При встречах с Марией, заместитель отца капитан Соловейчик — давний и неудачливый ее вздыхатель — только головой качал: «Одни глаза остались, Манечка, злоупотребляешь». — «Перезимуем, — лениво отмахивалась она. — Как-нибудь». «Ну, ну, — загадочно отводил тот глаза. — Дело хозяйское». Соловейчик удалялся, оставляя после себя привкус беды и угрозы. Спустя несколько дней она узнала от Эрика, что приглашена вместе с ним к капитану на именины. «Ты обещал? — спросила Мария и болезненное предчувствие кольнуло ее. — Зачем?» «Старший по званию приглашает, — дурашливо развел руками он. — Закон тайги». В тот вечер в коттедже Соловейчика дым стоял коромыслом, пили, словно в последний раз. Временами Мария ловила обращенный в ее сторону, с тяжелой усмешкой внутри, взгляд хозяина, что-то тоскливо вздрагивало в ней, но следовал очередной тост, и тревога снова отодвигалась за пределы сознания. Эрик скоро опьянел и, тушуясь перед чинами, лишь блаженно улыбался окружающим. Под утро, когда семейные разошлись и часть гостей похрапывала, где придется, капитан предложил остальным съездить в горы. В крытый брезентом «газик» набилось все, что еще могло

двигаться и говорить. Туда же втиснули и вконец упившегося художника. Машину повел сам Соловейчик, казавшийся, в отличие от других, почти трезвым. В пути он изредка взглядывал на нее и тут же отворачивался, следя за дорогой. Всякий раз, встречаясь с его глазами, в которых сквозило недвусмысленное предупреждение, Мария горестно холодела. Голоса за спиной начали звучать, как во сне, — глухо и отдаленно, мир сокращался до размеров собственного тела, и одолевало желание забиться в какую-нибудь едва заметную щель, где бы ее никто не мог отыскать. Машина, резко свернув в сторону, запрыгала по схваченному кустарником склону и вскоре остановилась перед стеной ажинника. «Приехали, — криво усмехнулся Соловейчик. — Выходи». «Эрик! — вырвалось из нее. — Эрик!» Но тот беспробудно спал, уткнувшись головой в угол кузова. Остальное совершалось будто в бредовом кошмаре. Соловейчик силой вытащил ее из кабины, бросил в траву и, не стесняясь свидетелями, разодрал на ней платье. «Стерва! — крипел он. — С солдатней путаешься! попробуй теперь офицерского». Кричать или звать о помощи было бессмысленно, кругом в утренней дымке высились поросшие диким лесом горы, от ближайшего жилья ее отделяли добрых пятьдесят километров. Он издевался над нею с изобретательностью мстительного маньяка, придумывая положения одно унижительнее другого, а когда, наконец, сник, место его заступил следующий. Их было семь, озверевших в хмеле скотов с глазами, в которых не было ничего, кроме мутного мрака и похоти. До сих пор при одном только воспоминании о той ночи Мария задыхалась от омерзения. Они уехали, выбросив из машины спящего Эрика. После пробуждения ему достало одного взгляда, чтобы определить суть всего происшедшего. Тогда

он вскочил и бросился по дороге. Он бежал, не слыша ее мольбы и ее крика, бежал так, словно земля горела под его ногами или за ним гналась сама смерть. Казалось, там, внизу, парня ожидало что-то такое, без чего он не мог, не имел права жить. Лишь отлежав две недели в беспамятстве нервной горячки, Мария узнала, что Эрик вогнал в Соловейчика целую обойму, предварительно изувечив его до полусмерти...

Разговор, шедший до сих пор мимо Марии, снова пробился к ее сознанию. Жора мирно покуривал рядом с курсантом:

— Давно заступил?

— В пять ноль-ноль, товарищ майор.

— Кого-нибудь из наших видел?

— Все в лес подались.

— Это где?

— Сразу за лесозащитой, через поле, метров четыреста.

— Не заблудиться бы.

— Хотите фонарик?

— Обойдемся... Пока.

— До свидания, товарищ майор.

Жора нащупал в темноте руку Марии, порывисто стиснул ей пальцы и властно повлек ее за собой.

XXI

Сначала между редящих деревьев навстречу им порхающими бликами заскользил сумеречный свет. Свет, обтекая их, с каждым шагом креп, расширялся и вскоре перед ними открылась поляна, посреди которой с веселым гудением пылал костер. Вокруг костра, по кромке света и тени вытягивалась вереница озаренных пламенем лиц, среди которых Мария сразу же выделила знакомого пожилого грузина в водолажке, восседавшего на двух непечатых бурдюках с третьим полуопроложенным между колен.

— Пейте сколько душа примет, гости дорогие, у Давида Сихарулидзе еще есть. — В свете костра влажные глаза его загадочно мерцали. — Куда мне его девать? Укусус делать, что ли? Продавать? Что я на деньги куплю? Разве это деньги! Бумага, лавровый лист заворачивать. Пейте, пока Давид Сихарулидзе добрый. Натуральный твиши теперь только у него.

Стаканы плыли по кругу и с каждым глотком людское кольцо вокруг огня оживало, приходило в движение. Первым подал голос анемичный фронт в полосатых, тюремного фасона штанах, сидевший между известным актером и его постоянной кинопартнершей:

— Когда в Перу в меня стреляли местные реакционеры, я думал о вас, друзья мои. Когда Фидель сказал мне: «Ты наше знамя, Женя», я тоже думал о вас. Когда королева Англии прозрачно намекнула мне... Ну, словом, вы понимаете о чем я говорю... Тсс... Жена Цезаря выше подозрений... В общем, когда она... Я думал только о вас. Я думал также о родине, партии, святых заветах

революции. Я верил, вы ждете, любите меня, и я не смог обмануть ваших надежд. И вот я здесь.

Завороженно внимавшая ему с другой стороны костра дама в брючном костюме, удивительно похожая неподвижным ликом на изрядно составившуюся мосторговскую куклу, не выдержала переполнявшего ее восхищения, захлопала в ладоши:

— Браво, Женя! О, как ты прав, как бесподобно прав! Нам нельзя расставаться. Нас так мало, нас, может быть, всего только четверо. Если не мы, то кто же воспевает Россию?

В пределы освещенного круга вдвинулось молчаливое, но словно бы жеваное лицо, с насмешливым и злым вызывом в подслеповатых глазах:

— Боже упаси Россию от ваших песен, Бэлочка. И что это всем полукровкам неймется в русские мессы записаться? Не много ли берут на себя современное еврейство и ассимилированные инородцы? У нас, слава Богу, своих певцов хватает, с избытком даже, проживем без вас. Один Толик наш чего стоит, не вам чета.

— Все это ерунда! — лениво прервал его сосед — плечистый гном с короткой шеей. Резкий ежик топорчился у него над низким лбом, придавая ему сходство с породистым кабанчиком. — Главное сейчас, это опасность неофашизма. Наша задача — срывать маски с замаскированных последышей Гитлера. К тому же, известные аллюзии позволяют нам здесь затронуть и внутренние проблемы. Вот мы с Олегом, к примеру, ставим сейчас...

— Заткнись. — Актер был явно не в духе. — «Мы ставим»! Я ставлю! А ты у меня сбоку-припеку. Вас много, а я один. У меня лауреаты в прихожей паркет протирают, министры за честь почитают чокнуться, с Самим через вертушку об-

щаюсь, а ты кто такой? Необрезанный еврей на подхвате у четвертого отдела!

Актриса, сладко потянувшись, потерлась о плечо полосатого франта и вздохнула:

— Ах, мужчины, не могут без споров! О чем спорить, все так прекрасно: ночь, костер, звезды! В такую ночь только любить, только любить друг друга!..

Снова увлекая Марию за собой, Жгенти обошел компанию с тыла и, опускаясь за спиной грузина, негромко обронил:

— Мы хотим выпить, Давид.

— Посмотри там, рядом с корзиной, канистра. — Тот даже не обернулся, продолжая свое дело. — Рог в корзине.

— Ладно, налей этого.

— Разве это вино? — все так же не оборачиваясь, сквозь зубы пробубнил Давид. — Это для них вино. Им все равно, что пить, лишь бы напиться. Иди, тебе говорят!

— Спасибо, Давид.

— Иди, иди...

Едва припав к рогу, налитому ей услужливым Жорой до краев, Мария почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног. Обжигающая невесомость подняла ее над землей и вынесла в открытое пространство:

— Где я?

— Со мной.

— Я ничего не вижу.

— Сейчас это неважно.

— Почему?

— Потому что мы одни.

— Я хочу еще.

— Осторожно, не разлей.

— Еще.

— Мария...

— Ты слышишь?

— Да.

— Мне холодно.

— А так?

— Хорошо.

— Теперь ты видишь меня?

— Да... Вижу... Близко-близко...

Лицо Жоры заполнило ее целиком и наступило небытие, в котором не существовало ничего, кроме них и неба над ними.

СОН О БОМБЕЖКЕ

Черная ночь разверзлась перед Марией. Ночь, заполненная ровным однообразным гулом. Там, за пределом лобового стекла простиралась звездная бездна, в глубине которой зыбко маячило расплывчатое сияние Млечного Пути. Под рукой Марии светились приборы, чутко отмечая скорость и маршрут полета. Краем глаза она наблюдала сидящего рядом с ней за штурвалом Жору. Сквозь плексиглас гермошлема напряженное лицо Жгенти было неузнаваемо. Веселая синева его глаз сгустилась почти до чернильной гремучести, высокий лоб рассекла резкая черта торжественной печали, веснушчатые скулы медально заледенели. Самолет, раздвигая темь, устремлялся к выплывающему из ночи морю огней внизу, и в предчувствии неизбежного Мария напряглась и отрешенно похолодела. Скоро, скоро, всего через несколько минут кто-нибудь из них — она или Жгенти — должны будут нажать крохотный красный клавиш над приборной доской. Крохотный красный клавиш, от которого зависела сейчас жизнь и смерть плывущего им навстречу города. Там, внизу еще ничто не предвещало беды. По расцветенным рекламой улицам шумно кружился людской водоворот, вдоль магистралей, обгоняя друг друга, мчались автомобили, за ярко освещенными окнами мельтешили танцующие тени. Город жил, пульсировал извечными страстями земли. Город любил и ненавидел, смеялся и плакал, рыгал от сытости и умирал с голоду, принимал новорожденных и хоронил мертвецов, нищенствовал, кутил, питал надежды и отчаивался. Смежив веки, Мария пред-

ставляла себе, как в это самое мгновение мать склоняется у изголовья ребенка, в горячечном забытии стонут возлюбленные, беззаботно разыгрывают зрелище лицедеи. И ощущение своей власти над всем этим наполняло ее гулкой и сладострастной жутью. В ней не было места жалости, она ненавидела и презирала их всех, живых и мертвых, старых и молодых, бессребреников и злодеев. Сейчас Марии с отчетливой остротой припоминалась каждая обида, нанесенная ей в ее несложившейся жизни. Она не имела возможности выбирать. За тлевшие в ней беды и горести должны будут ответить все разом, и ей нет дела до невиновных, потому что всякий из них мог оказаться на месте ее врагов и оскорбителей. Плевать Марии было на то, какой Туманян или Иванов, или Сидоров растлевал сейчас пьяную школьницу, сколько солдафонов выстраивалось в очередь к заезжей чувихе и чей нелюбимый муж валялся в ногах у жены, моля о снисхождении и ласке. Пускай они исчезнут, испепелятся все, заплатив за свои и чужие вины, тем более, что смерть их будет мгновенной и легкой, у них не найдется времени даже подумать о ней — этой смерти, превращаясь в тень, в прах, в ничто.

Словно угадывая состояние Марии, Жгенти, не оборачиваясь в ее сторону, безмолвно спрашивает:

- Ты готова?
- Да.
- Ты не пожалеешь?
- Нет, никогда.
- Они тоже хотят жить.
- Они не имеют права жить.
- По-твоему, они все виноваты?
- Все.
- И дети?

— Из них вырастут такие же скоты.
— Тебя так обидели?
— Теперь это не имеет значения.
— Но ты не забыла об этом?
— Забыла, но помню.
— Когда ты нажмешь, возврата не будет.
— Я не хочу возврата.
— На земле нас останется двое.
— Мне этого достаточно, чтобы ни о чем не жалеть.

— Ты любишь меня?
— Выбора мне не дано.
— Может быть, вернемся?
— Нет. Никогда.
— Еще не поздно.
— Лучше умереть.
— Я сказал.
— Я слышала.
— Выхожу на цель...

Марии перехватило дыхание. Холод окружающей ночи заполнил ее. Казалось, она уже не существует сама по себе и звезды проходят сквозь нее, не встречая сопротивления. Ею овладело чувство полной отстраненности от всего, что происходило сейчас там, внизу, на земле. Дарованным изнутри зрением она видела в эту минуту золотоволосую, похожую на себя девочку, которая, жмурясь от солнца, босиком шлепала по пыльной дороге среди августовского сада, покорно расступавшегося перед нею. Девочка шла, еще не зная, что ждет ее впереди. Девочке думалось, будто мир предназначен только для нее и только ей светит солнце и поют птицы. Но ее будущее было открыто Марии. Не существовало на свете такого падения и позора, которого ей бы не пришлось пережить. Они — ее насильники и убийцы — власть наиграются ею, поправ в ней самое святое и сокро-

венное. Какими слезами придется ей плакать, вымалывая пощады у очередного негодяя! Сколько раз жизнь покажется ей бессмысленной и нестерпимой! Как дорого заплатит она за каждый миг радости и умиротворения! Так пусть же девочка исчезнет с лица земли, еще не испытав ничего этого, на пыльном проселке, посреди августовского сада и вместе с ним. Лучшее, что Мария может подарить ей сейчас, это — смерть в минуту безмятежности и покоя, когда мир кажется созданным тобой и для тебя.

Лицо Жгенти в гермошлеме с каждым мгновением все более мертвело и заострялось:

- Еще есть время.
- Об этом не может быть и речи.
- Подумай.
- Не хочу.
- Мне жаль тебя.
- Думай только о себе.
- Ты чудовище.
- Не страшнее других.
- Приготовиться!
- Я жду.
- Пуск!..

Красный клавиш под рукой Марии послушно поддался, и в ту же секунду она услышала резкий, разрывающий уши свист. Затем огни внизу слились в сплошное светящееся облако. Клубясь и разрастаясь, облако поползло вверх и сдавленный грохот сопровождал это его лавообразное вознесение. Машина, уходя от опасности, стремительно набирала высоту. Озаренная взрывом, ночь за бортом снова наливалась аспидной тьмою.

Молчание становилось мучительным и Мария первой не выдержала этого испытания:

- Ты думаешь, они успели подумать?
- О чем?

- О смерти.
- Нет, едва ли.
- Значит, они исчезли, не страдая?
- Да.
- Кто-нибудь мог остаться в живых?
- Ты боишься свидетелей?
- Нет, соседей.
- Соседей не будет, эта штука была рассчитана безошибочно, теперь нас на земле только двое. Понимаешь, только двое: ты и я.
- Мне больше ничего не надо.
- А Борис?
- Он сам выбрал свою участь.
- Но ведь ты не любишь меня.
- Теперь это зависит от нас обоих.
- Но если не получится, мы возненавидим друг друга!

— Тогда нам придется тоже исчезнуть. Каждый заслуживает своей судьбы и едва ли стоит оттягивать неизбежное, если жизнь становится обузой.

- Мария!..
- Иди сюда...
- Мне страшно.
- Я с тобой.
- Жизнь моя...

Лицо Жгенти придвинулось к ней настолько близко, что, казалось, она видела в его глазах свое отражение. Горячая волна благодарной нежности захлестнула ее. Руки Марии парили над ним, освобождая его от громоздких одежд и ремней. Потом она в полузабытьи подалась к нему, силясь утонуть, расплавиться в нем без следа и остатка. Черная ночь гудела вокруг них, бездна внизу клубилась тленом и опустошением и даль впереди не сулила им ничего, кроме тоски и одиночества. Но восторг торжествующего объятия

стер внутри них грань между жизнью и смертью, тьмой и светом, памятью и забвением. Жизнь под опустошенным небом снова начинала свой круговорот...

— Скажи мне что-нибудь. — Голос у Жоры западал и срывался. — Ты слышишь меня, Мария?

— Как сквозь сон...

— Скажи мне что-нибудь!

— Зачем?..

— Я люблю тебя, Мария.

— Тебе так кажется... Сейчас.

— Я никого еще не любил... Только тебя.

— Это пройдет... Все пройдет...

— Нет, нет! Никогда!

— Если бы это случилось немного раньше!

— Еще не поздно, Мария, еще не поздно.

— Я постараюсь, Георгий.

— Как я благодарен тебе, Мария!

— За что?

— За то, что ты есть. И — со мной.

— Теперь это до конца.

— У нас не будет конца.

— Рано или поздно...

— Не думай об этом, не думай!

— Кажется, я...

— Мария...

Сначала она почувствовала головокружение, затем легкий толчок под сердцем и, наконец, ночь распалась перед ней, обнажив у горизонта высвеченную солнцем полоску сожженной земли. Там, внизу не осталось даже руин. Изборожденная взрывом пустыня стелилась вокруг насколько хватал глаз. Космы множества смерчей возноси-

лись над сквозным, не защищенным ничем простором. Мир встречал свой очередной восход молчанием и безлюдьем. Жуть звериного одиночества обрушилась в душу Марии, исторгнув из нее тягостный и уже нечеловеческий крик...

XXIII

Когда Мария очнулась, у костра творилось что-то неопишное. Транзисторная какофония разламывала лесную тишь. Все вокруг костра смешалось в пароксизме бешеной пляски. Мелькающие в огненных бликах сомнамбулические лица казались ей тронутыми серой паутиной масками. Маска Фимы и маска молоденькой проводницы, маска полосатого франта и маска кинодивы, маски — армянского священника, русофила с жеваным лицом, актера, дамы в брючной паре, обремененного тревогой о неофашизме кабанчика, Лёвы и даже грузина в заношенной водолазке. Капризный ритм укачивал их, доводя до изнеможения и бреда.

— Я — женщина! — голосил полосатый, перепрыгивая через пламя. — Я хочу забеременеть!

— О, возьми меня, черноголовенький! — несся следом за водолажкой брючный костюм. — Старые персы — моя страсть!

— Кровь за кровь, — взвивался над головами кабанчик, — Штрауса в Шпандау!

— У любви, как у пташки, крылья. — Актриса, наконец-то, оказалась в родной стихии. — Сольемся в экстазе!

— Боже, царя храни, — плакала славянская душа горячими слезами, — долгая лета, долгая лета.

— Не так страшен чёрт, — самозабвенно заголялся служитель культа, — как его малюют.

Один только Лева Балыкин и здесь не терял присутствия духа. уверенно вырубивая к кинодиве:

— Однава живем, маруся! Я парень еще по ефтим делам годный. Не хотица ль вам пройтица?

— Зачем тебя я, миленький, узнала? — вела свою тему молоденькая проводница. — Ты постепенно выпил мою кровь.

— Не могу больше! — жалобно вздыхал Фима, выписывая замысловатые кренделя. — Умер-шумер, лишь бы был здоров...

Музыка прекратилась так же внезапно, как и возникла. Мешанина лиц около огня, сразу же остановясь и сникнув, стала лениво растекаться по своим местам. Они двигались так вяло и потерянно, словно жизнь в них только и держалась недавним движением и ритмом. Казалось, уже ничто не в состоянии избавить их от этого оцепенения. Но тут, будто сотканная из тьмы и шелеста листьев, в круг вплыла похожая на колыбельную песня: «Кавалергарды и кирасиры, как вы прекрасны, как вы красивы! Как вы лежите дружной семьей, крепко обнявшись с вашей землей...»

Ночь выделила перед Марией знакомые черты с печалью недоумения в желудевых глазах, и сердце ее благодарно затихло и озадачилось: «Где ты был до сих пор?» Взгляды их мгновенно скрестились и она услышала его безмолвный ответ: «Здесь». «Почему все так? — чуть не закричала она. — Зачем?» «Они дети, — повеяло от него. — Больные дети, их надо жалеть, поверь, они достойны жалости». «Я тоже?» «И ты, и я, и все остальные, одни больше, другие меньше». «Когда же спасение?» «Не знаю, — опустил он глаза, — не знаю, но нельзя терять надежды, иначе жизнь бессмысленна».

Костер медленно угасал. Устало согбенные фигуры вокруг него таяли, сливаясь с непроглядной стеною леса. Только глаза, множество глаз фосфоресцирующе светились в темноте, с покор-

ной мольбой обращенные к затухающему огню. В них — эти глазах — Мария, словно в зеркале, увидела себя, свое детство, свои мечты о счастье и безмятежности, и горячая волна нежности и снисхождения к ним всем, без различия, прилила к ее сердцу. «Господи, — тихо заплакала она, — они ведь и вправду дети, больные дети, что же с них взять сейчас? Когда к ним придет здоровье и возраст, они поймут, они все поймут и станут счастливее».

Именно в это мгновение Мария почувствовала, что там, внутри у нее зародилось и пошло в рост новое человеческое существо, и обновляющее сознание своего материнства обернулось в ней благодарным вздохом:

- Боже мой!..
- О чем ты плачешь, Мария?
- Обо всем... Обо всех...
- Тебе плохо?
- Нет. Мне никогда не было так хорошо.
- Ты меня любишь, Мария?
- И тебя... И то, что во мне... И всех...

XXIV

Я уже привык к тому, что всякий раз просыпаюсь в чужом купе. С легкой руки Ивана Ивановича, который, кажется, знаком чуть ли не со всеми в поезде, я мало-помалу осваиваю один плацдарм за другим, с боем, как говорится, пробиваясь в хвост состава. Теперешнее пробуждение застаёт меня среди ночи в купе, освещенном лишь узкой полоской света из слегка приоткрытой двери. В голове, к моему удивлению, вполне сносное равновесие. Отдаленный звон и легкое головокружение не в счет, с таким похмельем жить можно. В памяти смутно брезжат события предыдущего дня: бездомный чудаков в почтовом вагоне, жаркий шепот лилипутки на заре, попойка с циркачами в придорожных кустах. Остальное теряется в бессвязных подробностях и всплесках, сквозь которые, будто отражение в глубоком колодце, маячит изменчивый облик моего постоянного спутника. «Как тень, — мысленно усмехаюсь я, — ни на шаг не отходит».

За дверью, в коридоре кружат негромкие голоса. С одним — глуховатым, ровным, с неизменной нотой усмешки внутри — я уже сжился. Другой — высокий до писка, лихорадочный, захлебывающийся — слышу впервые.

— ...Вам будет трудно меня понять, — Иван Иванович словно раздумывает вслух, — но я попытаюсь... Так сказать, популярно.

— Как вам угодно, как угодно, — дискант обиженно взвывается до самого высокого предела, — я готов слушать хоть до утра.

— Видите ли, — во вкрадчивой задушевности Ивана Ивановича прочитывается откровенное со-

чувствие к собеседнику, — при всех ваших бедах и неурядицах вы — из стана победителей. Да, да не удивляйтесь! Вы баловни и жертвы собственного детища. Вы взлелеяли его в своих душах, оно проросло вас, вашу плоть и кровь. Иных из вас оно осыпает милостями, иных пожирает, но от этого не меняется отношение и тех, и других к земному существованию. Вы приходите в мир, чтобы прежде всего взять. Отдать, это для вас вопрос побочный, второстепенный и едва ли обязательный. Это уже скорее проблема морального престижа, чем естества...

— Позвольте, позвольте!..

— Я же говорил, что вам трудно будет меня понять. Я еще только начал, а вы уже возмущаетесь. Кстати, нетерпимость — это тоже отличительная черта победителей. Стоит вам встать на место побежденного, влезть в его шкуру, проникнуться тлеющей в нем болью, вы сразу же перемените позицию и легче разберетесь, о чем я говорю. Поверьте, мне искренне жаль их, тех, кто устелил своими костями дороги от Потьмы до Колымы, но мое сердце не с ними. Закон победителей неумолим: каждый умирает в одиночку. Приняв этот закон, они только расплатились по счету. Мир их праху, но не более того. Да, да, не более того! Победитель жаждет переделать мир по своему образу и подобию, нисколько не задумываясь над тем, достойна ли его убогая сущность быть моделью такому преображению. Но если Божий мир и мастерская, то не для отмычек, здесь в чести делатели, а не взломщики. Поэтому, и «аз воздам». Я лично всегда с побежденными, с теми, в ком от рождения до могилы теплится животворное чувство вины перед ближним. Побежденный вступает в жизнь, как в храм, преклоняясь и благоговей. Ему и в голову не приходит что-либо переиначи-

вать здесь. Он с робостью настоящего мастера решается иногда добавить к общей красоте частичку и от себя, но, добавив, долго еще мучается потом, соответствует ли его маленькое дело всему остальному, сотворенному не им и до него? Все по-настоящему прекрасное создано побежденными. К сожалению, им нет места в вашей действительности, у них слабые мускулы и тихие голоса, среди базарной толчеи самолюбий они не умеют постоять за себя. Чтобы не быть растоптанными вами, им приходится отходить на обочину, уступая дорогу вам. Так будет еще долго, еще очень долго. Век принадлежит — победителям. Многие годы вы еще будете рвать глотки друг другу, в борьбе за призрачное место под солнцем, но, помните, в урочное утро, когда наступит время подвести итог, вещей петух споеет не для вас — для них. Не вы будете званными на пиру — они.

— Ну это, знаете, в области мистики!

— Душевная глухота — тоже одно из основополагающих качеств вашего брата. У вас ведь ко всякому непонятному для вас явлению имеется удобное словесное клише.

— Я от спора не ухожу.

— О чем же здесь спорить, уважаемый, о чем!

— Бойтесь?

— Чего?

— Прямого спора.

— Запомните, многоуважаемый, — мягкая, даже несколько жалостливая укоризна Ивана Ивановича прямо-таки обезоруживает, — я никого и ничего на этом свете не боюсь. Профессия обязывает меня к сдержанности, спор в моем положении — непозволительная роскошь...

Приятное головокружение постепенно укачивает меня. Говор в коридоре сливается в тихий монотонный рокот, медленно текущий мимо созна-

ния и памяти. Прошлое начинает передо мной свое круговое движение с кадров самых случайных и неожиданных...

С утра над Сокольниками, дрожа и погромыхая, шуршал дождь. Низкое небо текло чуть ли не по верхушкам сыро нахохлившихся тополей. Мокрая листва перед окном то и дело зябко отряхивалась, приникая к подоконнику кружевом соцветий. В тусклом сумеречном свете дождливого дня комната наша выглядела еще приземистой и темнее. Бутылка, стоявшая на столе между отцом илевой, была уже наполовину пуста, а разговор у них не клеился. Они только что вернулись с похорон одного из наших многочисленных родственников и все еще не могли прийти в себя. На крупном, скомканном болезнью лице отца проступал обманчивый румянец, в затравленных глазах злым костерком бился страх, пальцы, сжимавшие рюмку, мелко тряслись.

— Скоро и я, — в который уже раз повторял он. — Скоро и я. Недолго осталось.

— Ты еще всех нас переживешь, — вяло успокаивал его Лева. — У тебя все впереди, вот увидишь. Сейчас такие лекарства изобретают, мертвых воскрешать будут.

— Чудо-лекарства, вроде твоего «футбола», — криво усмехнулся отец, и дуновение близкой грозы перехватило мне горло. — Покорно благодарю, господа изобретатели перпетуум-мобиле.

— Что ты имеешь против моего «футбола»? — уязвленный в самое больное место, Лева поднялся. — Чем он тебе помешал?

— Работать надо!

— Ты мне завидуешь!

— Я?

— Да, да — ты.

— Слушай, ты, бездарность, — отца несло и остановить его, я это знал, уже не было никакой возможности, — я первая ручка в центральной газете, ты, дармоед, живешь на моем иждивении, с какой же стати мне тебе завидовать? Может быть, твоим прошлым успехам в роли задних ног осла в «Насреддине»?

— Ничтожный бумагомаратель, днем гонишь дешевую информацию в спортивной газетенке, а по ночам кропаешь лирические стишки, которые никто не печатает. Неудачник!

— Злобный негодяй!

— Ты сам ненавидишь весь мир, потому что скоро умрешь, тебя уже ничего не спасет!

— Неблагодарный скот!

— Плевать я хотел на твой хлеб!

— Получай же, тварь!..

Когда на шум в комнате с кухни прибежала бабка Варя, братья уже катались по полу, стараясь вцепиться друг другу в глотку. В два голоса с нею мы пробовали было разнять их, но крик наш лишь вызвал в них новый взрыв ожесточения. Круша и ломая все на своем пути, они выкатились разъяренным клубком во двор, и тут драка вспыхнула с новой силой. Сонное царство дома сразу же ожгло, рассыпаясь сверху донизу трескотней ставен и форточек:

— Куда только милиция смотрит!

— Людей бы постыдились, белая кость!

— На ладан дышит, а туда же — драться!

— Их всех в желтый дом пора!

— Да разнимите вы их кто-нибудь, мужики!

— Они-те разымут, самому достанется.

— Безобразники!

— Управы на вас нет...

Напрасно бабка с плачем и причитаниями кружила над ними. Подступить к ним не было никакой возможности. Обезумев от ожесточения, они уже не замечали ничего и никого вокруг. Опустошение ненависти вытравило из их лиц и глаз все человеческое. Отец, ухитрившись среди единоборства снять с себя ботинок, слепо колотил Леву каблуком, от которого на лбу и лице у того оставались рифлёные отпечатки. Это происходило словно во сне, когда бессилие что-либо предпринять разрывает сердце жгучим испепеляющим отчаянием. Стыд и обида душили меня. Не в состоянии выдержать этого горького напряжения, я опрометью кинулся через двор, за ворота, в дождь. Потом меня долго кружило по Сокольникам, и я шел, не разбирая дороги, сквозь проливную хлябь, с твердой решимостью ни при каких обстоятельствах не возвращаться домой. Я не мог представить себе, как я встречу с ними после этого, как буду смотреть на них, разговаривать. Слезы пережитого унижения, смешиваясь с дождем, оседали у меня на губах соленой горечью, от которой комок в горле взбухал еще острее и удушливее. «Как они могут, — мучительно сокрушался я. — Неужели им не противно? Зачем жить после этого?..»

Сквозь мое наваждение ко мне начинают снова пробиваться голоса. Оттуда, из коридора.

— Мы говорим на разных языках, — устало обороняется Иван Иванович. — Давайте сменим тему.

— Вот именно, на разных! — с воодушевлением подхватывает дискант. — Я сейчас работаю над этой проблемой. Людям трудно понять друг друга, язык усложняется, смысл сказанного теряется в оттенках и полуоттенках, в сносках и недоговоренности. Человечество должно взять на во-

оружие эсперанто. Просто, коротко, удобно. Никаких разночтений, полная ясность и взаимопонимание.

— Вы думаете?

— Эта проблема мною выстрадана.

— Вот как?

— О, это целая одиссея! Если позволите...

— Если хотите, — без особого энтузиазма соглашается Иван Иванович. — До утра времени много...



ЭСПЕРАНТО НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА

— Русский я выучил еще в гимназии, по немецкому переводному словарю. Причем, выучил с таким совершенством, что первый же великоросс, с которым мне довелось встретиться, принял меня за своего. Моя способность к языкам оказалась поистине феноменальной. Пятнадцати лет я уже владел английским, французским, шведским, испанским, венгерским, польским, хинди, арабским, турецким, урду и санскритом, не считая моего родного — эстонского. Окружающие прочили мне будущность Шлимана*, наперебой предлагая свою дружбу и покровительство. Но умножая с годами знание языков и наречий, я сохранял верность своей первой любви — русскому. К тому же и мои политические симпатии целиком и полностью принадлежали Советскому Союзу. О, я считал эту страну мерилом правды и справедливости. Казалось, там, сразу за нашей восточной границей, реально воплотилась сказка о счастье. Семнадцати лет я уже был убежденным коммунистом. Я и женился по признаку партийной принадлежности. Моя жена Густа считалась в подпольной среде лучшим мастером конспиративного искусства. Нас была небольшая кучка энтузиастов, боготворивших Советскую Россию. Мы печатали и распространяли листовки, вели осторожную пропаганду среди рабочих и студенческой молодежи. Мы работали в неблагоприятной, так сказать, обстановке, если не сказать больше. Большинство эстонцев

* Шлиман — знаменитый археолог и полиглот.

политически несознательны. Они так никогда и не поняли всех преимуществ социалистической системы планирования, например. Их возмущало лучшее в мире советское судопроизводство. О колхозах и говорить нечего, какое-то поголовное тугоголовое упрямство. К сожалению, это могло быть сломлено только силою. Но, вы понимаете, историческая необходимость! До славного освобождения оставались годы, а сердце мое разрывалось вдали от земли обетованной. Мне помог случай. Я, знаете, пишу. У меня и сейчас готов роман о социалистических преобразованиях в эстонской деревне. Но тогда я, разумеется, был поэтом. Я не признавал и, простите, не признаю лирики. Кому это нужно в нашу реконструктивную эпоху! Нытикам, маловеерам, перерожденцам? Потом когда-нибудь, может быть. А сейчас — нет! Мы должны петь громовыми голосами, чтобы нас слышала масса, весь мир, века! Вы против? Можем поспорить на досуге, так сказать. А теперь я продолжу. В Москве тогда начался первый съезд наших литературных учителей, да и не только наших — советских писателей. Товарищи разрешили мне, на свой страх и риск, конечно, попробовать пробраться туда нелегально. За небольшое вознаграждение знакомый железнодорожник из сочувствующих спрятал меня в вагоне со скотом. Это было немножко грязно, зато надежно: цель оправдывала жертву. Границу я миновал почти благополучно, хотя при случайном досмотре с эстонской стороны и лишился последней наличности. Если б вы знали, какая радость, какой восторг охватили меня, когда на первой же остановке я услышал снаружи русскую речь! Сердце мое не выдержало переполнивших его чувств, и я закричал, изо всех сил колотя в двери: «Я здесь, товарищи! Я — здесь! Откройте!» Первый пограничник, которого я увидел,

оказался украинцем. «Ты с виткеля? — строго оглядел он меня с ног до головы. — Як заховався?» В общем, радость не была взаимной, мы не поняли друг друга. Но я лично отнес это за счет законной в таких случаях бдительности и даже одобрил парня: «Первое в мире государство рабочих и крестьян обязано зорко охранять свои рубежи». Я твердо верил, что стоит мне предъявить первому же компетентному товарищу свой партийный мандат, аккуратно вшитый в подкладку пиджака, все разъяснится само собой. Первый же компетентный товарищ отрекомендовался Шарифутдиновым. Это лишь придало мне воодушевления. Знание тюркских наречий было предметом моей особой гордости. Но, как человек занятой, Шарифутдинов мягко отклонил мои попытки заговорить с ним по-татарски. «Все это хорошо, — сказал он, — мандат, ваше творчество, любовь к нашей стране, но все-таки зачем вы нелегально пересекли советско-эстонскую границу?» Все мои старания вновь объяснить товарищу Шарифутдинову цель моего приезда в Советский Союз не увенчались успехом. «Ничего, — успокоил себя я, — найдутся более компетентные товарищи». В ожидании беседы с последними я коротал дни в одиночной камере следственной тюрьмы. Кусочек чистого неба великой страны, сиявшего над намордником, скрашивал мне существование. «Пустяки! — думал я. — Пустяки! Зато я здесь — на земле своей мечты!» Более компетентный товарищ, оказавшийся, кстати, армянином Геворкяном, начал без обиняков. «С какой целью переброшены на советскую территорию?» Напрасно я пытался втолковать ему сразу на двух языках (уважаемый армянский я знал чуть ли не по первоисточнику), что у меня нет иного задания, кроме продиктованного мне сердцем. Он не понял этой поэзии. «Ну-ка, Горо-

бец, — скомандовал он стоявшему у двери красноармейцу, — дай ему с левой». Если вы когда-нибудь имели дело с кувалдой средней величины, то вы поймете мое состояние после его удара. «А теперь, — как сквозь сон слышал я голос Геворкяна, — вспомнили?» Мысль о том, что меня просто испытывают, придавала мне силы. С трудом, но я все же поднялся. «Коммунисты, — сказал я, — умирают, но не сдаются». Это почему-то окончательно вывело Геворкяна из себя. «Да ты еще издеваться! — заорал он. — Горобец, потревожь-ка его с правой!» Много раз в жизни после этого меня били. Били как подследственного и как осужденного. Били как эстонца и как политического. Били просто так, для острастки. Но того Горобца я буду помнить до самой смерти. Этот темный белорусс первый научил меня выносить самую тяжелую для человека муку: муку бессилия перед несправедливостью. Когда в конце концов я очнулся в камере, то понял, что попал в заколдованный круг, из которого уже едва ли выберусь. «Что ж, — подумал я тогда, — молох революции требует жертв, даже невинных. Пусть этой жертвой стану я, а не кто-нибудь, более нужный для дела». Меня еще долго гоняли из одной следственной тюрьмы в другую, прежде, чем карающий меч революции определил для меня меру наказания. Мера эта показалась мне мягкой до несправедливости. Я даже несколько упал в своих глазах. Но время лечит. Тем более, что дальнейшее время мое состояло из сплошных этапов и пересылок. На всех видах транспорта, включая собственные ноги, гоняли меня вдоль и поперек страны, оказавшейся действительно великой и необъятной, но уже в ином, не прежнем для меня смысле. В своем нелегком пути мне довелось встретиться, а чаще всего и работать с евреями, грузинами, азербайджанцами, узбека-

ми, уйгурами, даже нганасанами и, вы не представляете, сколько раз я был свидетелем того, как людям не удавалось договориться лишь только потому, что они не знали языка друг друга. Поверите, иногда доходило до схваток со смертельным исходом, а причина вражды, как потом выяснялось, не стоила и выеденного яйца. Именно в те годы, скитаясь по лагпунктам и командировкам, я понял необходимость развития всемирного языка и решил посвятить этому жизнь. Срок мой кончался в сорок четвертом. Но шла война и мне, как немецкому шпиону, добавили еще пять, с обещанием не поскупиться и в будущем. Но к тому времени вокруг меня уже сгруппировался кружок энтузиастов эсперанто — языка будущего, среди которых были и вольнонаемные. Благодаря им — этим вольнонаемным — я, пожалуй, и выжил в те годы, когда, казалось, уже не оставалось надежды выжить. Именно их стараниями меня устроили в хозчасть, где я до конца срока проработал ассенизатором. При всех известных неудобствах, это занятие давало мне целый ряд преимуществ, главным из которых была возможность подкармливаться около кухни. Постепенно в голове у меня стал складываться план книги о роли и значении всемирного языка в деле взаимопонимания между народами. Главной проблемой для меня сделалась бумага. В дело шло буквально все: обрывок старого письма, случайная картонка, полоска газеты. Кое-что мне подбрасывали те же вольнонаемные эсперантисты, остальное я выменивал на хлеб и курево. Большую часть времени заняло обобщение и систематизация накопленного материала. К выводам я перешел уже на пороге освобождения. Но в год, когда звезда свободы озарила мою душу первой надеждой, меня вызвал к себе лагерный кум Берзинь. «Ты, — сказал он, — так и не оценил

глубокого гуманизма нашего государства. Вместо того, чтобы осознать за эти годы всю меру своего падения, ты снова занялся подрывной деятельностью: организовал в зоне антисоветскую группу, вырабатываете шифрованный язык для связей с мировым сионизмом». Излишне говорить, что после почти трехчасового разговора мы так и не поняли друг друга. В результате мне добавили мои очередные десять со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде поражения прав и сто первого километра. Приговор не обескуражил меня, я давно свыкся со своей судьбой, лагерный быт вошел в мою плоть и кровь, мне уже трудно было представить себя в иной жизни. Я жалел лишь о том, что распалась первая ячейка великого дела. Всех моих единомышленников отправили по разным этапам и никогда больше я ничего не слышал о них. Реабилитация застала меня на «пятьсот третьей» под Игаркой. К тому времени труд моей жизни вчерне уже был закончен. После предыдущего провала я думать забыл пользоваться бумагой. Это оказалось не только безнадежно, но и опасно. Я взял на конспиративное вооружение собственную память. Строчку за строчкой, абзац за абзацем заучивал я свою книгу наизусть, и она, наподобие матриц, прочно откладывалась во мне в ожидании ротации и продажи. За лето, которое я после освобождения провел в Игарском порту, где сбивал себе в качестве грузчика запасную копейку на дорогу, мне удалось полностью записать сочиненный труд, перепечатать его на машинке в трех экземплярах и отправить в Москву, в Академию Наук. Лишь теперь, вкусив, как говорится, от горького древа науки, я понимаю, что мне просто повезло. Рукопись моя попала на рецензию к человеку не только добросовестному, но, что самое важное, давнему эсперантисту. Книге был дан ход.

Когда я добрался до столицы, ее уже обсудили на Отделении языка и заслали в набор. Казалось бы, чего еще желать? Полное исполнение желаний, превращение, так сказать, гадкого утенка в полноценного лебедя, Алладин и волшебная лампа. Но — вы угадали! — мысль о жене, о Густе не давала мне покоя: где она, что с ней? Я искал ее с одержимостью влюбленного и упорством маньяка. Я обивал пороги самых высоких инстанций, но не гнушался и простыми справочными. В конце концов усилия мои увенчались печальным успехом: мне вручили официальную бумагу, по которой значилось, что Густа, как русская шпионка, была в сорок первом году заключена в Дахау, где впоследствии и погибла. Горю я не поддался. Одиночество только укрепило меня в моей работе. Неисчерпаемые возможности эсперанто в большом и благородном деле взаимопонимания между людьми сделались еще более очевидными. Передо мною открылись многообещающие перспективы. Я много пишу, у меня отдел в научно-исследовательском институте, где директором Геворкян. Да, да, не родственник, не однофамилец, а тот самый Геворкян, с которым я когда-то на следствии не смог найти общего языка. У него поразительная хватка к языку будущего, мы принципиально изъясняемся между собою только на эсперанто, но договориться о чем-либо нам с ним пока что не удалось. Но это, знаете, издержки новой проблемы... С вашего позволения, я закурю.

XXVI

— Блажен, кто верует, — сочувственно вздыхает Иван Иванович после недолгого молчания, — тому легко живется. Вы счастливый человек. С такой верой в здравый смысл существования жить можно. Жаль только, что человечество не спешит воспользоваться спасительной возможностью вашей .методы.

— Новизна всегда отпугивает, — самозабвенно горячится собеседник. — Но скоро все поймут, что другого выхода нет.

— Буду рад за них и за вас.

— Вот увидите, вот увидите!.. Теперь, пожалуй, можно и поспать. Извините.

— Спокойной ночи!

— Благодарю вас...

Уверенные шаги затихают в глубине коридора, дверь чуть слышно отъезжает и на пороге объявляется респектабельная фигура Ивана Ивановича:

— Ба, да вы бодрствуете!

— Давно.

— Я был рядом.

— Я слышал.

— Занятный экземпляр.

— Просто больной.

— Ах, Боря, болен — здоров, это все так относительно! — беззвучно посмеиваясь, он опускается на краешек дивана у Бориса в ногах. — Болен мир, в котором мы живем, отсюда все последствия. Паранойя — знамение века. У этого еще не самая опасная форма... Кстати, у меня для вас сюрприз.

— С вами не соскучишься. — Я никак не настраиваюсь принимать его всерьез. — Что у вас сегодня?

— Поднимайтесь, не пожалеете...

Чёрт его знает, что он еще задумал, но я покорно встаю и тянусь следом за ним через коридор и тамбур в чуткую, безветренно затаившуюся ночь. Гравий насыпи звучно отзывается у нас под ногами. Ломкая тень бросается нам наперерез, но, словно споткнувшись, вдруг встает и затем снова отступает в темноту лесополосы.

— Проходите, — слышится оттуда. — Только осторожнее.

Рядом с Иваном Ивановичем я давно перестал чему-либо удивляться и поэтому воспринимаю случившееся, как должное. Он подает мне руку, помогая перебраться через кювет, после чего мы спешим к мерцающему сбоку от полотна огоньку путевой сторожки. Кинувшийся нам было под ноги пес, едва взвизгнув, черным клубком поспешно откатывается в сторонку. Мой провожатый без стука и по-хозяйски размашисто распахивает дверь:

— Степану Петровичу!

— Здоровеньки булы, — плечистый старик в застиранной тельняшке не выражает ни радости, ни удивления. — Сидайте.

Многоступенчатый агрегат около печи, занимающий почти половину сторожки, не оставляет места для догадок. Кратер чугуна под прессом из опрокинутой сковородки и двух кирпичей бурлит свекольной лавой, хмельным паром устремляясь в змеевик, чтобы затем тоненькой струйкой стечь оттуда по деревянному желобу на дно пузатой трехлитровой банки. Поглощенный укрощением огня в печи, хозяин, не поворачиваясь к нам, кивает в сторону стола, где развернутой батареей

выстроилась добрая дюжина бутылок, заткнутых кукурузными кочерьяжками:

— Угощайтесь... Закусь в ящике.

С уверенностью знатока Иван Иванович продвигает одну из них к себе, откупоривает, сливает несколько капель на стол и, чиркнув спичкой, зажигает мутноватую лужицу. Язычок голубого пламени растекается по выпщербленной поверхности.

— Фирма дорожит своей репутацией, — одобрительно молвит он, разливая содержимое бутылки по стаканам. — Первач экстра класса.

Самогон и вправду оказывается выше всяких похвал. Под закуску из соленых помидоров и зеленого лука мы в два приема опорожняем поллитровку и тут же, без пересадки, принимаемся за вторую.

— Удивительный вы человек, Иван Иванович. — Окружающее постепенно обнаруживает для меня свои самые радужные стороны. — Когда вы только успеваете со всеми перезнакомиться! Уж вы не чёрт ли?

— Нет, — скромно опускает тот глаза. — Моя общительность, Боря, привлекает сердца. В эпоху некоммуникабельности этому, как вы сами успели убедиться, нет цены.

— Только ли?

— Ну, еще немножко интуиции и везения.

— А может быть, и нечистой силы.

— Вы верите, Боря, в нечистую силу?

— Общаясь с вами, поверишь во что угодно.

— Вы мне льстите.

— Нисколько. — Мало-помалу я перестаю контролировать себя. — Иногда у меня такое впечатление, что под одеждой вы обросли добротной чёртовой шерстью. Недаром вам все так легко

удается. Когда, например, вы успели застолбить эту частную лавочку?

— От этой сторожки, Боря, на три версты несет бардой.

— Почему этого не почувствовал я?

— Мне всего от природы дано немножко больше, чем остальным: зрения, слуха, обоняния. Такие феномены случаются в жизни.

— Не верю!

— Но это так.

— Если так, вы можете сказать, где сейчас находится Мария?

— Для этого не надо быть нечистой силой, Боря. — Скорбь его глубока и неподдельна. — Она с Жорой Жгенти.

— Где?

— С моей стороны это было бы бестактно.

— Вы меня предаете, Иван Иванович.

— Наоборот — спасаю.

— От чего?

— От самого себя.

— Думаете, спасаете?

— Обязательно.

— Но для начала я все-таки хочу знать, где Мария?

— Всему свой черед... Пейте.

Мысль о Марии приходит внезапно и уже не оставляет меня. Я чувствую, как во мне постепенно зарождается въедливый червь ревности. Скорее это даже не ревность, а обида. По крайней мере, она могла бы повременить с очередным адюльтером до Москвы. Почему это надо делать непременно за моей спиной? Что это, извращенная патология, желание пощекотать себе нервы или месть? Как она посмела! Какое имела право? Воображение мое расплывается, рисуя мне картины, одну другой больнее и откровеннее. Я зримо пред-

ставляю ее себе, всю до подробностей, такой, какой была она в первый день там, в песках, и множество раз после, и жаркое, выжигающее душу оцепенение охватывает меня. Мария, сейчас, с ним, с этим, так же, как со мной, закрыв глаза и улыбаясь? «Нет, нет! — мысленно кричу я, и крик этот рассекает меня насквозь. — Никогда!»

— Лейте, — подставляю я стакан, торопясь укротить возникающий внутри ад. — Будь оно все проклято!

— Может быть, хватит?

— Вы меня жалеете?

— Нет, Боря, люблю. — Он осторожно накрывает мою ладонь своей. — Вы мне дороже сына, которого, к сожалению, у меня нет. Придет час, когда вы поймете, что я ваш друг, и поверите мне.

— Тогда лейте.

— Полный?

— По завязку.

— И сразу спать.

— Обстановка покажет.

— Пейте...

— И себе.

— Не откажусь... Ваше!

Чугунное солнце загорается у меня в голове, сквозь его раскаленную толщу голоса в сторожке звучат глухо и отдаленно. Обмякшее лицо Ивана Ивановича медленно разрастается, заполняя собою пространство перед глазами. Потолок то падает, то взлетает надо мной, и засиженный мухами газетный козырек вокруг лампочки видится в эти минуты сброшенным в непогоду парашютом.

Потом около себя я обнаруживаю хозяина. Тельняшка старика касается моего плеча, седой ежик величественно крестится ко мне и трубный бас его властно обволакивает меня:

— Служишь?

— Стараюсь, — слова, как мыльные пузыри, слетают с моих губ, не задерживаясь в памяти и не осмысляясь. — Только плохо получается.

— Что так?

— Атмосферный столб давит.

— Ишь ты.

— Сам-то служил?

— Было дело.

— Когда?

— Давно. Лет тридцать, с лишком.

— Где?

— В спецчастях.

— В конвойных, что ли?

— Вроде того.

— Много народу перестрелял?

— А что тебе до моих святцев?

— Не хочешь — не говори.

— Дело прошлое.

— А помнишь! — Мстительное злорадство источает меня. — По глазам вижу, помнишь!

— Еще бы забыть. — Близоруко прищуренный глаз его косит в мою сторону. — Оттого и сюда ушел, что память крепкая.

— Загадки загадываешь?

— Мне, милый, бояться некого. Что было, то былшем поросло. По закону с меня теперь все списано. Такие времена были, что всякий спасался, как умел. Ты молодой, тебе этого не понять, когда не знаешь, где проснешься, то ли дома, то ли во внутренней тюрьме. Парень я был ловкий, крутился кое-как, только и на мою задницу нашелся хер с винтом. Вызывают меня однажды к высокому начальству и говорят...

XXVII

Я уже не слышу его. Время замыкается в моем сознании. Мне грезится дорога в ночи среди скупого подмосковного леса. Их трое в кузове крытой брезентом машины. Три папиросных огонька поочередно вспыхивают из-под пепла, озаряя сосредоточенные лица курильщиков коротким красноватым светом. В том, что сидит с краю, опершись рукой о задний борт, я без труда узнаю Степана Петровича. Тридцать с лишним лет, минувшие с тех пор, лишь старчески размягчили его черты, не изменив в них их характерности и сути. Сейчас ему явно не по себе, он часто поеживается, нервно зевает, курит беспрерывно и тяжело. Рядом с ним носатый гном с тремя кубиками в петлицах Наум Альтман, заражаясь его тревогой, то и дело заходится в судорожном кашле. В глубине кузова, за бесформенным нагромождением обернутого мешковиной груза молчаливо дымит капитан Демиденко, хмурый хохол с отечным, будто раз и навсегда заспанным обликом.

Подрагивая на выбоинах, трехтонка плывет через лес, и лес сходится за нею, сопровождая ее движение легким прерывистым шорохом. Подсвеченные сверху новолунием облака текут сквозь листву и хвою, и в быстрых бликах мерцающей ряби дерева, казалось, несутся куда-то, стремительно и затаенно.

Бор постепенно расступается, редеет, уступая место сначала подлеску, затем кустарнику и, наконец, полю, по обеим сторонам которого на самом их дальнем краю возникает редкая россыпь огней. Но по мере хода, огни все ближе и ближе сдвигаются к дороге, выявляя из темноты контуры

заборов и строений. Машина замедляет обороты и вскоре останавливается около двухэтажного, барачного вида дома с аляповатой фанерной вывеской по фронтому: «Трудовая коммуна имени...» Далее следует фамилия, предваренная двумя громкими эпитетами.

Через минуту над задним бортом появляется волосатая, резко усеченная к подбородку голова майора Габриадзе.

— Целы? — Он пытается шутить, но сдавленная дрожь в голосе выдает его беспокойство и волнение. — Давай за мной!

В сопровождении ожидавшего их на крыльце лейтенанта они поднимаются на второй этаж, где за дверью, оснащенной табличкой «Культчасть», навстречу им встает приземистый, бритый наголо полковой комиссар с орденом Красного Знамени на шевиотовой гимнастерке.

— Голдобин. — Рукопожатие его вяло и влажно. — Я в курсе. Чердак столовки подойдет?

— Лишь бы посторонних не было. — Беспокойное нетерпение колотит майора. — Чтобы без накладок.

— Не маленькие, — хмуро усмехаясь, выходит из-за стола тот. — Комар носа не подточит... Пошли.

Тесной группой они направляются в глубь слегка освещенного поселка. Машина с погашенными фарами, глухо пофыркивая, следует за ними. Бритый затылок полкового комиссара белым пятном маячит перед Степаном Петровичем. До сих пор он знал об этом краснознаменце только по газетам. Сам из бывших люмпенов, тот, после гражданской войны добровольно вызвался собрать воровской молодняк обоого пола в трудовую коммуу. Дело состоялось, и вскоре коммуна гремела на всю страну своей организацией и хозяйством. Лич-

ное шефство основоположника социалистического реализма, гордившегося своим бродяжьим прошлым, еще более укрепило авторитет начинания. Фамилия новоиспеченного воспитателя не сходилась со страниц газет и журналов. О нем рассказывали легенды и слагали стихи. Казалось, взлету его уже не будет конца. Но вот он, грузно ступая, идет сейчас впереди Степана Петровича в глубь жилой зоны, чтобы своими руками похоронить рожденное в муках детище. Приказ исключает кривотолки. Через два часа специальное подразделение войск НКВД, которое оцепит коммуну, должно обнаружить здесь умело спрятанное оружие: три станковых пулемета, пятьдесят трехлинеек и несколько ящичков патронов к ним. К утру от школы перековки преступного мира, как в умилении окрестили ее заезжие литераторы, не останется даже воспоминаний. Совершается очередной, едва заметный ход в хитроумной партии борьбы за власть. Полтора десятка лет службы в закрытом ведомстве приучили Степана Петровича не задаваться праздными вопросами. Для многих его сослуживцев излишняя щепетильность стала поводом к аресту и гибели. Но сейчас и ему, выдавшему виды, делается не по себе. Кому помешали эти, никогда не имевшие ничего общего с высокой политикой ребята? Какую выгоду можно извлечь из них? В чем дальний прицел намеченного погрома?

Бритый затылок комиссара, слегка качнувшись, замирает на месте:

— Вот, смотрите сами.

Забежавший вперед лейтенант услужливо взбирается по приставленной к фронту лестнице, открывает лаз и тут же тонет в провале чердака:

— Порядок. — В приглушенном голосе его бьется почти мальчишеский восторг. — Хранилище, самый раз.

Остальное происходит в полном молчании. Из кузова подогнанной вплотную к лестнице машины груз по цепочке медленно уплывает под крышу, где Степан Петрович и Альтман старательно забрасывают его чердачным хламом и ветошью. Когда последняя винтовка ложится в тайник и они поворачивают к выходу, Наум чуть слышно роняет:

— Что происходит, Петрович?

— Спроси чего-нибудь полегче.

— Это же жуть.

— Тебе в диковинку?

— Такого еще не было.

— Привыкай.

— За себя не боишься?

— Пока нет.

— У нас свидетелей не жалуют.

— Авось пронесет.

— Едва ли, я свое начальство знаю.

— У них тоже холка есть.

— Сам знаешь, там закон один: ты умри сегодня, я — завтра.

— Двум смертям не бывать.

— Легкий ты человек, Петрович.

— Не дрейфь, Наум, выживем, у нас тоже голова на плечах имеется... Спускайся, я закрою.

Тою же дорогой, но уже следом за трехтонкой они возвращаются обратно. У крыльца административного корпуса комиссар, не оборачиваясь, хрипло бросает лейтенанту:

— Проводишь до шоссе кружным путем. Приказ начальства.

В мутном свете входного фонаря приземистая фигура его кажется сейчас еще ниже и тяжелее.

Поднимаясь по лестнице, он грузно переваливается с ноги на ногу, словно сверху на него давит какая-то почти невыносимая кладь. Таким он и запоминается Степану Петровичу на всю последующую жизнь.

— Сдает старикан, — снисходительно молвит ему вслед лейтенант, вскакивая на подножку. — Поехали!

Небо у горизонта начинает литься медленно, но неотвратно. Пространство раздается вдаль и вширь, обнажая подробности отступающих в поле построек. Сладкое оцепенение предутренних снов витает над их крышами. Степан Петрович мысленно представляет себе, что произойдет там через каких-нибудь час-полтора, и сердце его заходится в яростном колотье. «Черт меня дернул связаться с этой лавочкой! — гневно казнится он. — Пайковые-то пятаки боком выходят».

Перед поворотом на шоссе машина притормаживает, лейтенант остается посреди проселка, весело козыряя им вдогонку и самодовольно посмеиваясь. Из глубины кузова Демиденко впервые подает голос:

— Молокосос.

— Зеленый еще, — примиряюще вздыхает Альтман. — Подрстет поумнеет. У него все впереди.

— Поумнеет, чтобы нас с тобой шлепнуть, — зло обрывает его тот и внезапно оказывается у заднего борта. — Скажите майору, к дежурству явлюсь, домой забежать надо...

Не давая им опомниться, Демиденко перемахивает наружу, несколько мгновений виснет, держась за кромку борта, затем пальцы его разжимаются, и уже через минуту он бесследно исчезает в сумрачной синеве только что зачатого утра.

Ускользящий от Степана Петровича взгляд Альтмана затравленно мечется по коробке кузова, губы его мелко трясутся:

— Нет, Петрович, не могу.

— Головы нам теперь не сносить.

— Все равно не смогу.

— Чего ты боишься?

— У меня семья, Петрович.

— Легче им не будет.

— Куда мне идти!

— Страна большая.

— Найдут.

— Хуже не будет.

— Кто знает.

— Пошевели мозгами, голова садовая, нас уже заранее списали, не мы первые, не мы последние.

У Демиденки и то извилина сварила.

— Раз на раз не приходится.

— Что ты, первый день там работаешь?

— Говорят, перемены будут.

— Пожалеешь, Наум.

— Знаю, Петрович, и все-таки останусь.

— Как хочешь, дело твое, я им не кролик, чтобы самому в пасть лезть. Пускай они подышают сегодня, а я повременю... Не поминай лихом!

Едва ощутив под ногами шершавое скольжение асфальта, Степан Петрович разжимает пальцы и некоторое время еще бежит по инерции вслед за трехтонкой, как бы загипнотизированный вызывающим к нему взглядом теперь уже обреченного Альтмана.

Долго еще, сквозь время и забвение будут мерещиться Степану Петровичу, а с этой поры и мне, отмеченные страхом небытия глаза носатого гнома с тремя кубиками в петлицах гимнастерки.

XXVIII

Пережив вместе со Степаном Петровичем тревожное освобождение той ночи, я даже заметно трезвею. У меня такое чувство, будто через мое сердце просвистал освежающий вихрь, который унес с собою шлак и тяжесть пьяного одурения. Значит, если человек действительно захочет, он сможет выбрать? Надо только решиться, взяв на себя ответственность за последствия. Что, к примеру, мешает мне переиначить свою судьбу? Боязнь выделиться из среды? Страх остаться наедине с чужим и враждебным миром? Ужас перед необходимостью решать все самому? Только это и ничего более. Кто, говоря по совести, волен отнять у меня свободу, не отняв жизнь? Разве я не вправе сам распорядиться своей участью? Разве я не свободен от рождения, как существо, наделенное правом выбора? Легче всего сослаться на обстоятельства, оправдывая свое трусливое рабство. Осознай себя бессмертным и ты свободен!

Мысль эта озаряет меня так внезапно и обжигающе, что я не выдерживаю взятого сначала тона.

— Что было потом? — Теперь перед ним я как бы ужимаюсь в размерах, с удивлением отмечая в своем голосе заискивающие нотки. — Где потом пришлось скитаться?

— Всякое было, помотало меня по свету. — Он говорит о прошлом без горечи и сожаления, скорее даже с некоторой долей горделивого вызова. — Подался я тогда на Кавказ к знакомому баптисту, прижился у него, казачью мову перенял, а как выправил он мне временное удостоверение, уехал по вербовке в Якутию. Так и затерялся в

людях. Теперь здесь вот уже пятнадцатый год к век коротаю.

— Один?

— Столько лет каждый день гостей ждал, какая уж тут семья, самому выжить бы, а теперь поздно.

— Не скучно?

— Привык.

— Пьешь?

— Нет, милый, в рот я этого зелья сроду не брал. Смотрю — и то с души воротит.

— А варишь.

— На продажу.

— Куда тебе деньги-то?

— Походи с мое бездомным псом по России, много кому задолжаешь. Опять же дети.

— Есть?

— Кто без греха. Понабросал.

— Да уж, в тебя камня не бросишь...

Я разглядываю его скуластое, затвердевшее в думах лицо и невольно задаюсь вопросом: сколько же бед и обид заплуталось в этих извилистых морщинах и какой болью годами выгорали насто-роженные, глубокой посадки глаза? Мне трудно представить себя на его месте, но я и без этого знаю, что не выдержал бы, сломался, как ломались все Храмовы перед препятствиями, куда более незначительными. Какая порчь, какой недуг изъедает нас? Нищенский быт, копеечные проблемы, игрушечные трагедии. От постройки вековых соборов и ратного труда в бранях во славу Руси до дядиного «футбола»: умопомрачительная кривая вырождения храмовской фамилии! И в довершение всего жалкий конец в лагерях, богадельнях, психобольницах. Что за тля на протяжении веков исподволь выедала душу, кровь, основу рода? Почему, по каким земным или небесным законам

миллионы Степанов Петровичей, пройдя огни и воды грозного переворота, сумели сохранить себя, свою суть и будущность?

За все время нашего с хозяином разговора Иван Иванович не роняет ни слова. Он сидит против меня, внимательно изучая собственные ногти, словно происходящее вокруг его нисколько не интересует и не касается. Но я-то знаю, чувствую, что каждое произнесенное нами слово не ускользает от него, вызывая в нем самый живой и заинтересованный отклик.

— Интересно, Иван Иванович, — пробую я втянуть его в собеседование, — об этом вы тоже знаете?

— Знаю. — Он бесподобно невозмутим. — Возраст.

— Уму непостижимо, как это можно было перенести.

— Человек в конце концов ко всему привыкает. Такова его природа, иначе он бы не выжил.

— Удобная формула для троглодитов.

— Но это так.

— Жить не хочется.

— Это пройдет.

— Когда?

— Скоро, очень скоро.

— Вы мне даете гарантию?

— В этом мире никто никому ни в чем не может дать гарантии, но я надеюсь. И верю.

— Да здравствуют гарантии! — Я дурачусь, пытаясь скрыть охватившее меня смущение. — Еще одну и — по домам.

— Извольте...

Когда стены снова затевают вокруг меня плавный хоровод, я встаю и отношусь к Ивану Ивановичу:

— Пора.

— Пожалуй. — Иван Иванович расплачивается с хозяином, берет две бутылки с собой и направляется к выходу. — Мы еще зайдём.

— Заходите. — Тот провожает нас до двери и долго ещё я ощущаю его взгляд, устремленный мне в спину с порога.

Над островерхими макушками дальних сосен пробивается розовый восход. Отсыревший за ночь сумрак лесополосы дышит свежестью и прохладой. Травы под ногами в сизом налете туманной измороси. Перспектива вдали глубока и таинственна, как омут среди чащобы.

— В такое утро и впрямь можно подумать, что душа бессмертна. — Озорство не оставляет меня. — Как в сказке!

— Так ведь она действительно бессмертна, Боря. — Иван Иванович идет впереди меня, мне не видно его лица, но я уверен, что на этот раз он вполне серьезен. — Это истина, не требующая доказательств.

— Как мне понять это?

— В это надо поверить.

— На слово?

— А вы, Боря, хотите веры, обеспеченной всем достоянием государства или долговой распиской Господа?

— А если все-таки после меня ничего, а?

— Трудно вам жить, Боря.

— А вам?

— Я верую.

— Вы!

— Вас это удивляет?

— Скорее, смешит.

— Напрасно...

В его голосе столько усталого сожаления, что мне поневоле становится неловко. Чтобы хоть как-

то сгладить возникшее напряжение, я перевожу разговор в другую плоскость:

— Занятный тип, — говорю я, имея в виду Степана Петровича, — такого не согнешь.

— Вам это тоже под силу, надо только захотеть.

— Может быть...

— Попробуйте.

— Я бы попробовал, да...

Следующее слово беззвучно застывает у меня на губах. Чуть наискосок от нас из лесополосы, держась за руки, выходят Мария и Жгенти. Они как бы даже не идут, а парят над травой, занятые лишь собою и трепетной тишиной в себе. О, это, памятное мне, выражение на ее лице, когда черты его являют усталость и негу одновременно! Свет меркнет в моих глазах, сердце жарко взбухает и ноги становятся ватными. «Шлюха, шлюха, шлюха! — вопит во мне все. — Грязная тварь!»

— Будьте мужчиной, Боря, — поворачивается в мою сторону Иван Иванович, глаза его источают неподдельную боль. — Чтобы судить сейчас по справедливости, вам нужно остыть.

— Пойдите вы к черту!

Я выхватываю у него из кармана бутылку, одним ударом откупориваю ее и жадно приникаю к горлышку. Едкая влага обжигает мне гортань, горьким комом разрастается в легких, бьет в голову мутной и тягостной ломотой. Я пью, и вместе с самогоном в меня стремительно ввинчивается озаренное восходом небо.

Потом, ускользящим сознанием я отмечаю встревоженные голоса над собой, среди которых первым запечатлется голос Марии:

— Что с ним?

— Он хлебнул лишнего.

— Лишь бы не отравился.

— Давайте мне его на спину. — Самый тон Жоры, деловитый и будничнй, вызывает во мне приступ ненависти, близкой к помешательству, но сонное бессилие уже овладевает мной. — Здесь близко.

Я чувствую дыхание Марии у своего лица:

— Зачем он так, зачем!

И сразу вслед за этим тьма, ночь, провальное падение.

XXIX

Сегодня мне не хочется даже вставать. Сердце мое томительно и резко дергается, расплачиваясь за вчерашнюю попойку. Встать сейчас значит — начать все сначала. Сколько же можно! Кажется, что сам по себе я уже перестал существовать и во мне живут лишь химеры пьяного воображения: Мария, Жгенти, лесополоса и льющееся в меня розовое небо. Мутное опустошение обрушивается в меня: «За что она со мной так, за что?» Я тупо гляжу в стену перед собой без дум и желаний, чувствуя себя крохотным муравьем с оторванными кем-то лапами. За моей спиной с неотвязной монотонностью кружат голоса. Смысл разговора упорно ускользает от меня, слова складываются во фразы безо всякого значения. Крайним усилием воли я заставляю себя, наконец, прислушаться, и мало-помалу беседа в купе вытягивается в моем сознании в непрерывную нить...

— Чем я только ни болел! — Балыкин, судя по воодушевленной вибрации в голосе, уже успел опохмелиться. — Желтухой, триппером, свинкой, циститом, язвой, геморроем, было даже затемнение в легком, но из эпидемий я прихватывал лишь грипп и то в детстве. Про холеру читал только в книжках, где пишут за всеобщую неграмотность, нищету и тьму царизма. В общем, впечатляет: долго не заживешься.

— Симптомы азиатской холеры выражаются, главным образом, явлениями острого желудочно-кишечного катара и тяжелого поражения нервной системы. — Иван Иванович словно диктует по раскрытой книге. — Вследствие громадных потерь жидкости, кровь уменьшается в количестве и сгу-

щается; кровообращение ослабляется, особенно в кожных сосудах; поэтому поверхность тела наощупь холодна, между тем как внутренняя температура, измеряемая в прямой кишке, большей частью повышена, иногда до сорока градусов и более. Часто кожа покрывается клейким потом; приподнятая складка кожи долго остается, не разглаживаясь. Лицо получает своеобразное выражение: ввалившееся, бледное, губы и щеки свинцово-серые, запавшие глаза окаймлены синевато-серыми кругами; подбородок, нос и скуловые кости сильно выдаются. Голос беззвучный, монотонный; выдыхаемый воздух поражает своим холодом. Моча уменьшается в количестве и скоро совсем пропадает. Иногда больные жалуются на мучительное чувство тоски и страха, стеснение в груди и сердцебиение. Особенно тягостны болезненные судороги, которые появляются приступами, чаще всего в икрах, реже — в мышцах верхних конечностей и нижней челюсти. Пульс скоро становится совершенно неощутим. Сознание обыкновенно сохраняется до самой смерти, но больные скоро впадают в апатию. Смерть часто наступает уже в первые — вторые сутки...

В купе воцаряется молчание достаточно долгое, чтобы собеседники смогли внимательно осмотреть себя с ног до головы в поисках грозных признаков, после чего Жора Жгенти уважительно вздыхает:

— Вы, наверно, доктор!

— В некотором роде, если хотите, — голос Ивана Ивановича, как всегда, тих и вкрадчив, — в некотором роде. Хотя в данном случае я просто цитирую по Брокгаузу и Ефрону. Смолоду страдаю болезненной памятью. Это даже причиняет мне известные неудобства. Знаете, прожить такую жизнь и все помнить, это, как говорится, не сахар.

— Нам бы, Иван Иванович, нынче всем сдать свою память, — печально соглашается Балыкин, — где-нибудь, где поезда не останавливаются, в камеру хранения... и потерять квитанцию. Что ни вспомни, — жить не хочется.

— Когда я заходил на вынужденную, — молвит Жора, — я думал только об одном...

Жгенти в который уже раз принимается излагать историю своего последнего приземления, смакуя подробности и заговариваясь, а я, замороженный его гортанной речью, снова впадаю в прежнюю прострацию. Какое мне до всего этого дело! У каждого свои болячки. У меня нет времени для чужих. Сколько разных порчей и недугов обкладывают человека от колыбели до гробовой доски! Чума, сифилис, чахотка, испанка и малярия, рак и сумасшествие. Черными косяками бродят они по свету, сметая на своем пути расы и цивилизации, и ничто не в силах умерить их губительного движения. Но как же все-таки большинство смертных ухитряется благополучно умирать в своих постелях? Может, кто-то и где-то отмечает — кого и когда? Может быть, всякая болезнь заключает в себе и благо, и возмездие одновременно? Ведь выжил же я тогда, в пятьдесят втором, когда, казалось, выжить мне было уже не суждено.

Тогдашняя весна застала меня в Красноводске. В ту пору я сделал первую и последнюю в своей жизни попытку разорвать заколдованный круг обыденности и начать все, как говорится, с чистого листа. Пахнувший нефтью и негашеной известью город встретил меня далеко не так радушно, как мне хотелось бы после побега из училища. В ожидании вечернего поезда в сторону Ашхабада, я неприкаянно шатался по выжженным, наверное, до материковых пород улицам, глотал раскален-

ную пыль немощных тротуаров, пил теплую, пахнущую хлоркой воду опреснителей и все никак не мог привыкнуть к мысли, что нахожусь где-то в начале иной, еще неведомой мне цивилизации. На базаре, где завшивленные старухи в расшитых монистами балахонах, в перерывах между истреблением паразитов и молитвой, торговали сушеным виноградом и творогом, я, истратив последнюю трешницу, слегка отведал жидковатого мацони, и через час меня уже несло. Меня несло почти беспрерывно. Во время коротких передышек я успевал только подпоясаться и выйти из очередного клозета. К ночи меня свалило в полубеспамятстве на вокзальной скамейке, и более я уже не вставал. Очнулся я в палате, сплошь заставленной казарменными койками, на которых коротали время между оправками десятка три прихваченных дизентерийным поносом душ. Справа от меня рыжебородый дед косил в мою сторону из-под куцых бровок плутоватыми, купоросного настоя глазами.

— Ишь ты, очухался! А я тут об заклад побился, что врежешь! Надо же! — Всклокоченная бороденка его с вызовом подалась ко мне. — Какую штуку упорол. Жальчее всего, что не угадал. Подсек ты меня, паря, под самый корень. Чего бы тебе окачуриться, я бы за упокой выпил, а то во здравие в меня не идет, обратно лезет. Нехорошо, мужик, совесть иметь надо. Собрался помирать, так помирай, не вводи людей в искушение и соблазн.

Потом я привык к его манере изъясняться, но в первую минуту злорадство диковинного соседа показалось мне обидным до слез.

— Отдам я тебе десятку, — сказал я всерьез. — А дешево ты меня оценил, дед!

— На больше не тянешь, жидковат.

— Спасибо.

— Не на чем.

— Почему же сам идешь?

— По всякому шел. В твои-то годы я плоты по Каме гонял, за сезон сотельную выколачивал. Тогда, брат, сотельная, как нынче мильён, а то и с верхом. Потом воевал опять же, сквозь две войны протопал, золотую оружию от Думенки выслужил. А уж какую деньгу потом я по плотницкой части гнал, тебе во сне не видать. Сколько по стране моих домов да опалубок стояло, считать — собьешься. Бывало, такие куши рвал, чемодан от кредиток не закрывался. Коньяк «Клим Ворошилов» из шаек хлебал, паюсную на стол ведрами носили. Вот какая мне цена была! А нынче вот на пару с тобой жидким удобрением исхожу. Вторую неделю опорожняюсь, копейки на три, считай, уж того фикаля налил, еще на пятак осталось, коли по пятиалтынному тонна считать. Вот и вся мне теперь цена на два гроша без гривенника.

Ожесточение прямо-таки испепеляло старика. Злостью этой он словно бы заговаривал какую-то выжигавшую его изнутри горечь. Он умолкал только затем, чтобы оправиться, после чего снова брался изливаться клокотавшей в нем желчью:

— Рази нынче дохнут! Вот, помню, в двадцать первом в тифу дохли, это — действительно. Как мухи! Штабелями складывали! Любо-дорого, за поглядеть денег не жалко. Бывало, положат тебе напарничка валетом, жару от него, как от голландки, а глаза продерешь утром, у него уже пятки синие. А тут вот, хотя кто душу бы потешил, загнулся. Одна дрисня кругом — и никакого зрелища.

Просыпаясь по ночам от судорожной мути в животе, я постоянно заставлял его бодрствующим, со взглядом, устремленным прямо перед собой в

одну видимую только ему точку. Сухие губы его при этом беззвучно шевелились в яростной скороговорке. Болезнь свою старик переносил так, будто ее и нет вовсе. Казалось, он считает больными всех, кроме себя. Иная, не знающая врачевания хворь источала его душу, по сравнению с нею людские недуги виделись ему блажью и баблством. Уже поправляясь, он ехидно посмеивался надо мной:

— Выходит, не весь я из дерьма, кой-чего и для разживы осталось. А ты вот все текёшь, чем кормитесь, тем и живете.

— А ты?

— Сравнил хер с пальцем! Меня дело держит. Я одних нужников для вашего брата, может, тыщу поставил, понимать надо! С меня патреты писать можно, сколько я всякой всячины понастроил. Да и пожил, не в пример вам, в свое личное удовольствие. Бабье мне ноги мыло и после юшку пило. С моих пацанов уставную роту можно составить, а из девок цельный веселый дом, еще и останется. А после вас чего? Дерьмо, одно дерьмо, жидкая фи-каля.

— От святости ты, дед, не умрешь.

— Да уж цену себе знаю. А отчего помру, не тебе, слюнявому, знать. У меня с косоглазой договор, от дрисни не помру, помру от духоты. — Загустевшей синева глаза его подернулись мечтательной дымкой, медная бороденка вскинулась кверху. — Мне бы, по моей породе царем быть, с министрами разговоры разговаривать, с народными комиссарами, то есть. У меня в заднице больше, чем у вас всех нынешних в голове. Каких бы делов я понатворил! Первым делом всех черемисов, жидов, инородцев — под корень. Развелось их, как собак нерезаных, куда ни плюнь — нацмен. Лопочут по-своему, к матери послать некого, не

понимают. Потом бы я за вашего брата, городского очкарика, взялся, — всю бумагу измарали, скоро на подтирку не останется. Кого — в дело, кого — в расход, по наличности сознания. Порядок бы полный навел: живи, народ, радуйся. Торговля расписочно и на вынос — круглые сутки, жратва — от пуза, в неделю четыре выходных. Бабы — на пятючочек пара. Полный коммунизм, живи — не хочи! — Он вдруг приподнялся на локте, и, проникая меня затравленным взглядом, тихо вздохнул. — Тошно, выпить бы...

«Да, старик, — пронзаясь его болью, подумал тогда я, — недешево тебе твоя злость дается».

Проснувшись однажды утром, я внезапно обнаружил, что койка рядом со мной пуста и незастелена. Дежурная нянечка, ругательная старуха с лысеющими висками, потроша тумбочку старика, на мой безмолвный вопрос только сварливо огрызнулась:

— Раком твоего дружка задушило. Непутевым жил, непутевым помер. С трех книжек деньги все приютам записал. Нашелся благодетель, а что я тут за ним урыльники выносила, это ему нипочем.

За окном низвергалось в мир щедрое солнце азиатской весны. Море за дальними крышами казалось литым и неподвижным. Земля не заметила утраты, продолжая свой бесконечный круговорот. «Как просто, — подумал я, — как все просто!..»

Видение смазывается, линяет, растекаясь в самые отдаленные уголки памяти. Разговор за моей спиной все еще держится вокруг холеры. Каждый представляет себе ее последствия на свой лад.

— Лучше разбиться, — говорит Жора. — Даже пожалеть себя не успеешь.

— Да уж, не дай Бог, — соглашается с ним Балыкин, — хоронить будет нечего, весь в дерьмо уйдешь.

— Все тлен и прах, — философски замечает Иван Иванович. — Все, кроме храма внутри нас. Это наше и с нами во веки веков. Наливайте, Лева, душа горит.

Холера, холера, холера! Что я знаю о ней? Не считая справки, выданной только что вездесущим Иваном Ивановичем? От этого понятия исходит куда больше предостережения, чем можно судить по его клиническим признакам. Оно внушает мне страх не столько своим содержанием, сколько той атмосферой еще неясной для меня угрозы, которая в нем таится. Откуда это во мне? С чем это у меня связано? Зревший в моей душе кокон близкого озарения вдруг взрывается и на крыльях выпорхнувшей оттуда бабочки прошлого внезапно возникают витиеватые письма. Я вижу себя в захламленном чулане старой московской квартиры, склоненного над кованым сундуком с нашим семейным архивом. Среди альбомов с пожелтевшими фотографиями и стихами я выделяю толстенный гроссбух в кожаном переплете, схваченном позеленевшими застешками, и передо мной открывается предельно неторопливый мир полковых гарнизонов. Ежедневная муштра на плацу, пульки по вечерам, редкие балы в местных собраниях, хлопоты о карьере и хлебе насущном для себя и своей семьи. О, этот почерк с ампиричными завитушками, похожими одновременно на облачный абрис и скопление парусов, отображенных в чернилах необычного, голубого цвета!

ИЗ ЗАПИСОК ПЛАЦ-МАЙОРА
ПЕТРА ХРАМОВА

«Лето 1831 года было необыкновенно жаркое, так что в первых числах июля жнитва и сенокос начинались одновременно. В воздухе постоянно держалась какая-то мгла; часов с трех дня солнечный диск представлял резко очерченный желто-красноватый круг без лучей. В народе говорили, что это не к добру, а старики уверяли, будто бы тоже самое было «перед французом».

Хотя в старорусских округах холера не появлялась, но как она уже обнаружилась около Новгорода, то начальство поселений принимало против нее всевозможные меры, между которыми было немало очень странных, порождавших толки и ропот в народе. Например, в каждой деревне приказано было заготовить известное число гробов, а на кладбищах вырыть несколько могил, дабы, с появлением эпидемии, умершие погребались немедленно. В избах велено было иметь в готовности чистое белье для покойников и т. д. Все это исполнялось со скрытым неудовольствием, и не могло не повлиять на общее настроение поселян. Это впервые было заметно в воскресенье 12 июля, по выходе из церкви. В другое время, по окончании службы, народ расходился не вдруг, образовывались на паперти группы, слышался говор; одни подходили к священнику, другие к соседнему помещику. В этот же раз все молча уходило в свои дома и деревни. Помню, что в тот же день вечером, мне с матушкой приходилось проходить через погост, где мы встретили только священника, отца

Иоанна Парвова, задумчиво стоявшего у колодца. Ни обычных в праздничные дни хороводов, ни песен, ни даже игр ребятишек не было.

Следующий день, 13 июля, был необыкновенно знойный. Так как полевые уборки были в полном разгаре, то в нашей усадьбе, кроме семидесятилетнего старика Димитрия, бывшего слуги моего деда, никого не оставалось. Матушка и все дети занимались на балконе чисткою ягод для варенья. За садом, на версту, шло вспаханное поле, за ним река с крутым противоположным берегом. На нем-то и была наша приходская церковь, на краю поселенного большого села Коломны. Около трех часов дня, несколько поселян, появясь на берегу, начали что-то кричать вниз женщинам, занимавшимся у реки стиркою. Бросив работу, они поспешно взбирались в гору. В то же время несколько групп поселян, одна за другой, почти бегом направились берегом к соседним деревням. Все это казалось нам необыкновенным, особенно, когда увидели, что кто-то бежит полем, по направлению к нашему саду. Издали трудно было различить, кто это, но по мере приближения, мы узнали священника Парвова. Не постигая причины подобной поспешности, матушка послала к нему навстречу Димитрия. Но пока его отыскивали, пока он, пройдя сад, вышел в поле, мы видели, что на нашу сторону успели перейти вброд несколько поселян. Они, имея в руках кто палку, кто грабли, кто топор, гнались за священником. Вскоре эту толпу опередил верховой. С огромной дубиною в руке, он подскочил к священнику в тот самый момент, когда наш посланный сошелся с ним. Сильным ударом дубиною по голове отец Иоанн был сбит с ног. Тотчас подоспели другие, и не прошло пяти минут, как несчастный был избит до полусмерти: голова его пробита, рука сломана, лицо представляло од-

но окровавленное пятно. Все это произошло в 100 шагах от нашего сада, на наших глазах. Матушка моя была до того испугана происходившим, что всех нас поставила возле себя на колени и заставила молиться. Из толпы нам кричали: «Счастье ваше, что поп не добежал до дома; а то мы не оставили бы бревна на бревне».

Этим далеко не кончились истязания отца Парвова. Обмотав ноги веревкою, его потащили по полю, так что он бился головой о камни и кочки; потом перевели на ту сторону реки, и у разграбленного его дома, били камнями, допрашивая после каждого удара, где у него спрятан яд и зачем он накануне сыпал его в колодезь.

Нужно заметить, что священник Парвов, как человек умный и приятный в обществе, был любим всеми офицерами и соседними помещиками, что не вполне нравилось поселянам. Хотя они и ничего не имели против него особенного, но считали его как члена комитета участником всех распоряжений начальства. В описанный день, он, ничего не предвидя, переехал на нашу сторону реки удить рыбу, что составляло его любимое занятие. Услыша шум в селе, он хотел возвратиться, но жена одного из причетников крикнула ему с того берега: «Спасайтесь, дом грабят и ищут вас».

По какому поводу и по чьему наущению был подвергнут описанным истязаниям священник, и при самом строгом расследовании установить не удалось. Дня через три сделалось только известным, что в ночь на 13 июля в Старой Руссе произошел бунт в военно-рабочем батальоне, где убили почти всех офицеров. Войска в это время в городе не было, потому что все посланные батальоны находились в лагере под Княжим двором, до которого было два перехода. Каким образом случившееся ночью в Старой Руссе могло быть поутру узнано за 50

верст и принято за сигнал к мятежу на пространстве нескольких округов — не объяснимо. Ни телеграфов, ни почтового тракта в этих местностях не было, между тем, весть о случившемся в рабочем батальоне, как молния, прошла в округе и 13 июля, почти в один и тот же час, совершены страшные убийства в Перегине, в Великом селе, в Коростыне и в Залучьи, хотя расстояние между этими штабами было от 30 до 70 верст.

Мне подробно известно лишь то, что происходило в первом из этих сел, а потому скажу только о Перегине. Случившееся в других пунктах имело совершенно тот же характер.

Начальником 12-го округа был подполковник Кржевоблодский, человек семейный и гостеприимный. 13 июля, по случаю именин, у него обедали почти все офицеры округа, аудитор, доктор, — всего человек более 12-ти. В конце обеда несколько поселян заглянули в открытые со стороны сада окна, не снимая шапок. Один из офицеров встал, чтобы узнать, зачем они в саду; но только что он высунулся из окна, как удар топором раздвоил ему голову. Это было сигналом. Пораженные ужасом, хозяева и гости едва успели вскрикнуть, как человек 20 вскочило в окна, другие вбежали со двора, и началось общее избиение. Офицеры все до единого были тут же убиты. Избитые — доктор Шестаков с женой, хозяйка дома, ее дочь и жена капитана Войнеловича, оставлены были живыми для допросов. Шестакова целым кагалом повели в аптеку, где заставили пить всевозможные лекарства, в доказательство того, что «в них нет холеры».

Целую ночь и последующий день продолжались неистовства над теми, кого не нашли в штабе. Их искали по деревням, в лесах и оврагах; кого находили — подвергали всевозможным мучениям.

Одну из офицерских жен, после битья розгами, несмотря на последние дни беременности, привязали за косу веревкою к лодке и потянули топить в реке. Не найдя глубокого места, ее перевели вброд и бросили на другом берегу. Найдя приют у помещичьих крестьян деревни Старица, она в следующую ночь, переодетая в сарафан и лапти, пришла к нам, где и была укрыта.

Как могла человеческая натура дойти до описанных зверств, а с другой стороны, как несчастные жертвы могли перенести эти зверства, — понять трудно. Как, например, понять, что священник Парвов, после того, что мы описали, был брошен в телегу и привезен для суда на волостной двор, в деревню Остратово, где разъяренная толпа, подобно евреям на суде Пилата, кричала «убить, убить его». Один из бунтующих уже приставил заряженное ружье к груди приговоренного, как раздались новые крики: «повесить его!» Тогда обвязали ноги несчастного веревкою и повесили на подтоке избы, вниз головой. Это совершилось уже поздно вечером. Несмотря на наступившую ночь, обезумевшая толпа, с криками: «пойдем добивать господ», бросилась в другие деревни.

Между тем, сын Парвова, следивший за происходившим, прибежал в Остратово и умолил какого-то старика снять отца его. Воспользовавшись отсутствием соседей, старик этот снял священника еще с признаками жизни, хотя кровь текла у него изо рта, из ушей и даже из глаз, обмыл его, привел в чувство и к рассвету отвез в село. Боясь держать умирающего в чьем-либо доме, где поселяне могли отыскать его, жена и сын, рассчитывая на то, что бунтующие не посмеют войти в храм Божий, перенесли священника в притвор церкви. Питаясь тем, что сын ночью передавал в окно, отец Иоанн две недели прожил в церкви и на-

столько оправился, что, когда пришли войска, мог сам выйти из заключения. Спустя два месяца он был вытребован в Новгород, где архиерей во время служения торжественно возложил на него пожалованный синодом наперстный крест, а 1-го октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, он впервые, можно сказать, после своего воскресения служил в своей церкви. Багрового цвета лицо его было покрыто шрамами и отеками, но сам он сделался здоровее прежнего. Разве в том, что человек, с проломленною головою, с перебитою рукою, человек избитый до того, что на нем не было человеческого облика, наконец, висевший вниз головою, выздоровел без всякой медицинской помощи и жил потом двадцать лет, — не виден явный Промысел Божий?

Вот еще один из эпизодов народного террора. Месяца за два до бунта, из 2-го кадетского корпуса был произведен в военные поселения прапорщиком Корецкий, юноша лет 18-ти. Три дня денщик скрывал его в ближайшем лесу, был за это бит поселянами и все-таки не указал, где его барин. Затем, предполагая, что все утихло и народ образумился, Корецкий возвратился домой. Какой-то пастух, видя, как он прошел к деревне, сказал об этом поселянам, которые тотчас бросились к квартире Корецкого. Он успел выскочить через окно в огород и лечь между грядками; там нашли его, избили до полусмерти и, видя, что несчастный юноша бежать уже не может, вытащили на середину улицы и привязали к перилам мостика. Всю ночь он не подавал признака жизни, покуда свежесть утра не привела его в чувство. Покрытый запекшимися кровью ранами и пылью, страдающий от палящего солнца и массы мух, около полудня он имел еще силы сказать проходившей мимо него с ведрами женщине: «Голубушка, ради

Христа, хоть каплю воды». Вместо того, чтобы исполнить просьбу страдальца, эта мегера взяла горсть песка, засыпала им рот Корецкого и прижала ногою. Как объяснить подобное варварство в отношении человека ни к чему не причастного, и никогда не знавшего этой ужасной женщины?

Такие же зверства происходили и в других округах, с тою разницею, что там несколько офицеров успели скрыться, другие приняли некоторые меры к обороне. Но были случаи, когда начальство своим нравственным влиянием успевало кое-где, хоть на время, образумить народ. Так, начальник одного из округов, полковник Поссиет, пользовавшийся между поселянами репутацией человека хотя и строгого, но в высшей степени честного и справедливого, вышел к толпе, собравшейся у его дома.

— Вы пришли убить меня, — обратился он к поселянам, — видите, на мне нет оружия; убивайте, если я сделал зло кому-либо из вас.

— Нет, тобой мы, ваше высокоблагородие, довольны, — отозвался один из толпы.

— Так зачем же вы хотите совершить не христианское дело, противное Богу и царю?

— Да мы сами-то и не желали бы, да вишь кругом избивают начальство, значит, и нам нече отставать, — загудело несколько голосов.

Поссиету удалось убедить толпу разойтись. Несмотря на советы не только своих домашних, но даже и некоторых стариков из поселян скрыться куда-нибудь, он не соглашался оставить свой округ. Через несколько дней, узнав о прибытии в Старую Руссу генерала Леонтьева, Поссиет поехал к нему за приказаниями и был убит при въезде в город.

В артиллерийском округе, которым командовал полковник Малевский, последний успел наско-

ро запрятать какую-то хранившуюся в сараях пушку и, захватив ее с собой, вместе с бывшим у него в гостях помещиком Балкашиным выехал в коляске из своего штаба, Залучья, в поле. Оставив дома жену и двух взрослых дочерей, он целую неделю переезжал с одной позиции на другую. Во время этого маневрирования, толпы поселян несколько раз догоняли своего командира, бросались на занятый им пригорок или опушку леса, но достаточно было одного, хотя бы холостого, выстрела, чтобы преследование прекращалось. За неимением снарядов, Малевский заряжал свое орудие песком и мелкими камнями, которые не убивали, но кровянили атакующих, что помогло потом открытию участников бунта. В отместку за то, что им не удалось схватить своего командира, поселяне несколько раз секли его жену и дочерей, и одной из них вырвали даже косу.

Из всех округов Старорусского удела, только один Медведский не принимал участия в бунте, благодаря ловкости и распорядительности своего начальника. Верстах в тридцати от села Медведя, среди болот и казенных лесов, находились обширные казенные сенокосы, отдаваемые в аренду. Как только окружной услышал о начавшемся за Новгородом бунте, он немедленно объявил по волостям, что получил Высочайшее повеление заготовить возможно более сена для идущей будто бы из Малороссии в Польшу кавалерии, поэтому он скупает у арендующих все луга, по какой угодно цене, и приказывает поселянам, не исключая и жен их, забрав с собою провизию, отправиться на косьбу сена и сам отправляется с ними. Цель этой выдумки была та, чтобы удалить поселян дней на десять, прервать их сношения с соседями и в то же время занять их работою. Замысел вполне удался. Покуда разгорался бунт и совершались зверства в

других округах, медведские поселяне, ничего не зная, усиленно работали и, таким образом, были спасены от тех тяжких наказаний, которым подверглись потом их соседи за свои ужасные преступления. Мало этого, император Николай Павлович приказал освободить Медведский округ от всяких повинностей, которые должны были нести другие, и оставить ему все, чем пользовались военные поселения до бунта.

Такое исключительное положение одного округа дало впоследствии повод к следующему факту. Когда, в 60-х годах, военные поселения были обращены в удельных крестьян, Медведский округ тоже был обращен в уделы. Это показалось его населению величайшею несправедливостью. На все подаваемые им прошения, об оставлении в прежнем положении, удельное начальство отвечало отказом. Тогда население отправило с тою же целью депутацию в Петербург, которую, конечно, до дворца не допустили, а возвратили на место жительства, со строгим подтверждением не повторять впредь ничего подобного. Но население не унялось, и на следующий год ходоки были отправлены вторично. Их возвратили, продержав несколько месяцев в тюрьме. Видя, что надо покориться, население, сделавшись удельным, ради утешения себя и в память данных императором Николаем милостей, определило: поставить ему в селе Медведе памятник. На собранные 25 тысяч рублей был заказан бронзовый монумент, изображающий Императора, в натуральный его рост, в шинели, спущенной с одного плеча, и в фуражке. Этот памятник, на гранитном пьедестале, украшает и теперь площадь села у церкви.

Причины описанных зверств и злодеяний, совершенных одновременно на пространстве нескольких сот квадратных верст, населением, до то-

го времени вполне покорным, до сих пор остаются гадательными. Одни полагали, что мятеж был последствием обращения свободного населения в военных поселян, с подчинением их военной дисциплине и строгостям графа Аракчеева. Если бы это было единственной причиною бунта, то почему же он не возгорелся в то время, когда обращение совершалось, а десять лет спустя, когда Аракчеев не имел уже никакого влияния. Другие говорили, что причиною мятежа были безрассудные меры против холеры. Но раздражение, произведенное ими, могло вспыхнуть при появлении эпидемии, как это произошло в Петербурге, — в Старорусских же округах не было ни одного холерного случая.

Наконец, существовало мнение, что подстрекателями к мятежу были высланные поляками эmissары, которые возбуждали народ рассказами о его притеснениях и лживыми надеждами о полной свободе в будущем; однако никто из подобных эmissаров не был взят или уличен в подстрекательстве.

Когда первый чад от невинно пролитой крови стал проходить и жертвы мятежа были, большей частью без христианского обряда, похоронены их убийцами, на все население напал какой-то неопределенный страх. Народ как бы понял, что совершено нечто чудовищное. Поселяне не могли оставаться на ночь в домах. Каждый вечер, с женами, с детьми, они уходили за р. Ловать, в помещичьи леса, а утром возвращались в свои деревни. На вопрос, зачем они это делают, женщины отвечали, что их мужьям по ночам слышатся стоны со стороны кладбищ. Несколько опомнясь, бунтовавшие поняли, что вовсе без начальства оставаться нельзя. На шестой день убийств они собрались на волостные сходки, для выбора старшин и

тысяцких. Тогда же обнаружались и первые признаки раскаяния, так как на сходках уже говорилось о выборе депутатов, для отправления их в Петербург, просить прощения у Государя.

В отдаленных от Старой Руссы округах мятеж не возобновлялся. В некоторых деревнях даже не были тронуты семейства тех офицеров Гренадерского корпуса, которые, уходя в польскую кампанию, оставили их в местах квартирования. Жизнь этих семейств во все время бунта была ужасна. Они ежеминутно ждали той же участи, которая постигла семьи поселенных офицеров. Не смея выйти из дома, не смея послать за провизией, чтобы не напомнить о своем существовании, они по нескольку дней голодали, сидели, попрятавшись на чердаках и в подполицах.

Выше было сказано, что в Польшу ушли только действующие батальоны гренадерских полков, резервные же находились в лагерном сборе, при Князем дворе. Как только вспыхнул мятеж, последовало распоряжение выступить из лагеря в Старую Руссу, занять ее 4-мя батальонами, прочие же направить по одному в каждый штаб поселенных округов. Просим читателя вспомнить, что эти батальоны состояли из рекрут, взятых из местных жителей. Только унтер-офицеры и человек по 15 в каждой роте были из старых солдат, преимущественно уроженцев окрестных деревень, остальное составляла молодежь: сыновья, племянники и братья поселян. С войсками такого состава усмирять край было не совсем надежно; но других войск под рукою не было.

До Старой Руссы отряд генерала Леонтьева дошел благополучно. На следующий день батальоны, назначенные в штабы, отправились своими дорогами, а четыре, с артиллерийскою батареей, разместились биваками на площадях города. Орудия

были выставлены впереди моста, на шоссе, ведущем в Новгород. Вскоре получено было сведение, что громадные толпы поселян приближаются к предместьям. Вместо того, чтобы выслать им навстречу несколько рот, генерал Леонтьев решил остаться в оборонительном положении. Это ободрило мятежников; они подходили все ближе и ближе и, наконец, заняли окраины города. Наутро толпа тысяч в десять, с топорами и кольями, была уже в шагах пятистах от орудий. Батальоны стали в ружье. По лицам нижних чинов офицеры видели, что настроение их духа меняется: многие смотрели невесело и даже угрюмо. Командовавший батареей капитан обратился к Леонтьеву с просьбою дать залп из орудий, хотя через головы мятежников. Робкий генерал нашел подобную меру ненужною, говоря, что это только ободрит толпу, а проливать кровь народа он не решается. Через полчаса толпы были настолько близко, что солдаты могли узнавать в ней родных; некоторые даже переговаривались с ними. Положение офицеров становилось критическим. Капитан вновь умолял генерала дозволить дать хоть один выстрел картечью, представляя, что через пять минут будет поздно и все погибнет. Ему снова было отказано.

«Если так, — ответил командующий батареей, — то я все беру на себя», и, подскакав к орудиям, скомандовал «взвод, пли».

Вместо исполнения, номера, стоявшие с пальниками, бросили их на мостовую и затоптали фитиль. Взводный командир бросился на одного из них, желая сам произвести выстрел, но получил пальником по голове. Видя и поняв это, поселяне ринулись на мост, солдаты передали им ружья, выдали начальников, и началось общее избиение офицеров. Некоторые из ротных командиров обратились к своим частям с напоминанием о присяге,

но при первых же словах были заколоты. В батальоне, стоявшем у гауптвахты, капитан Колонтаров успел накинуть на себя шинель одного из унтер-офицеров, надел амуницию и, взяв ружье, стал на часы. Несколько минут он оставался неузнанным; но один из молодых солдат, указывая на него землякам-поселянам, сказал: «Гляди, братцы, какой рекрутик! Это наш капитан». Колонтаров был тут же изуродован до того, что денщик его только по метке на белье мог узнать его труп. Ночью, втиснув в мешок, он привез его молодой капитанше, оставшейся в своем имении неподалеку от лагеря.

Решительный Леонтьев не избег общей участи. Хотя он успел на дрожках ускакать от моста, но несколько верховых нагнали его у гостиного двора и тут же изрубили топорами.

В этот же день один из поселян, при разграблении квартиры Леонтьева, надел его мундир, ордена и ленту, сел на лошадь генерала и, имея в руках лист бумаги, свернутый в трубку, разъезжал по деревням, кричал народу, что прислан Государем с приказанием уничтожить дворянство.

Так кончилось второе действие ужасной драмы — бунта в военных поселениях. Эпилог ее, как увидим ниже, вполне ей соответствовал.

Батальоны, направленные из Старой Руссы прямо в округа, не посрамили себя, подобно оставленным в городе. Благодаря силе воли, энергии и знанию народного духа их командиров, они не только не приняли участия в бунте, но напротив, удержали занятые ими районы в полном повиновении.

Батальоном 5 карабинерного полка командовал полковник Толмачев, опытный офицер несколько женственной наружности, что, однако, не умаляло его решительности и мужества. Во время

трехдневного похода от Старой Руссы до штаба 12 округа Перегино, он вел батальон таким способом: не доходя до деревни, посылал в нее трех расторопных унтер-офицеров объявить жителям, чтобы к месту привала было немедленно доставлено столько-то пудов хлеба и разной провизии, с предварением, что если приказание не будет моментально исполнено, то деревня будет сожжена, что в двух местах и было сделано с несколькими домами. Если в деревне оказывались офицерские семейства, то они присоединялись к батальону, для чего брались подводы. Для того, чтобы молодые солдаты не могли входить в сношения с жителями, место биваков окружала цепь аванпостов, причем в каждой паре был один из старослужащих. Как последние, так и все унтер-офицеры имели ружья заряженными, а у тех молодых солдат, которые были уроженцами 12-го округа, были вынуты кремни из курков. Если жители какой-либо деревни оказывались скрывшимися в леса, как это и случалось, то она отдавалась в полное распоряжение батальона, причем солдатам предоставлялось брать в свою пользу все, что они найдут, со строгим приказом, по прошествии часа, по сбору, явиться на свое место. Поразительно то, что это не только не ослабило порядка, но напротив, батальон с каждым днем делался надежнее.

Проходя деревню Остратово, Толмачев узнал о мученической смерти Корецкого. Женщина, засыпавшая его рот песком, была на том же месте наказана розгами так, что уже не встала, и дом ее разрушен.

Толмачев довел свой батальон до штаба, не имея ни одного беглого. В Перегине он расположился биваком на площади, со всеми предосторожностями военного времени. Туда было свезено до 18 семейств убитых и бывших в походе офице-

ров. С них сняты были показания о всем, что они видели и испытали; это послужило путеводной нитью для первых действий следственных и судебных комиссий. Со стороны поселян не было даже попыток к возобновлению буйства, напротив, все приказания исполнялись чрезвычайно точно и быстро. Те самые люди, которые неделю назад были, как разъяренные звери, сделались вполне покорными. Видя, что нового мятежа опасаться нечего, Толмачев отделил небольшие команды в ближайшие имения для охраны помещиков.

Подобная мера была далеко не лишнею, потому что поселяне, в первые дни своих неистовств, старались перенести возмущение в помещичьи имения. Видя, что на нашей стороне крестьяне работают на прибрежном поле, они не раз из-за реки кричали им: «Чего вы работаете на своих бар. Видите, как мы расправились с начальством; бейте и вы господ, тогда избавитесь от барщины и оброков». Было несколько таких дней, что можно было серьезно опасаться за спокойствие в помещичьих имениях. Проявлялось уже некоторое неуважение: крестьяне являлись в село пьяными, некоторые не снимали шапок перед господами. Однажды старый наш слуга Димитрий посоветовал моей матери на ночь припрятывать меня, как старшего в семье, потому — говорил он — что в народе болтают, будто приказано убивать все мужское дворянское поколение. Вследствие подобных слухов, пишуций эти воспоминания провел три ночи в пустой картофельной яме, вместе со своим сверстником, сыном Димитрия. Такое сомнительное настроение помещичьих крестьян длилось не более трех-четырёх дней, но нигде никаких беспорядков не было. Не доказывает ли это, что далеко не везде помещичья власть была так тяжела, как это потом доказывали. Одна река отделяла

военные поселения от Демянского и Холмского уездов; там всевозможные неистовства и полная анархия, а на помещичьей стороне — тихо и спокойно.

В половине августа прошла весть, что в Старую Руссу прибыл граф Орлов и с ним несколько судебных комиссий, для производства суда и расправы над бунтовщиками. Вслед за этим в округа вступило несколько казачьих полков. Рослые и сильные сыны Урала, недовольные тем, что их потревожили из-за поселян, возненавидели их, и на каждом вымещали свою досаду. В числе имений, в которые даны были в виде охраны по три казака, было и наше. Они должны были сопровождать нас во всех поездках. Бывало, завидит только казак поселянина, не свернувшего заранее в сторону, как уже летит вперед отпустить встречному десяток нагаек.

Расправа с виновниками мятежа была сурова до жестокости. Положим, что нет кары, которая могла бы равняться с ужасами, сделанными поселянами; но если закон требовал казни виновных, то лучше было прямо казнить их, чем применять наказания, которых почти никто выносить не мог и умирал под ударами. К таким наказаниям были приговорены все непосредственные участники убийств и истязаний. Виновные в грабеже, после тяжкого телесного наказания, ссылались на каторжные работы, для чего достаточно было, чтобы в доме виновного нашли чашку или платок, принадлежащий офицеру. Затем почти третья часть населения тех деревень, которые участвовали в бунте, была, после прогнания сквозь строй, сослана в Сибирь. До самой зимы длилась кровавая расправа, после чего военные поселения были переименованы в округа пахотных солдат.

Описанные события произвели столь сильные на меня впечатления, что я, забыв многое, что было потом, до сих пор, спустя с лишком пятьдесят лет, совершенно ясно помню каждый эпизод».

XXXI

Они еще гремят во мне, эти барабаны того усмирения, когда действительность врывается в меня тягостным полукриком:

— Холера в поезде!..

Подхваченный внезапным порывом, я вскакиваю и, увлекаемый общим, густеющим в коридорах потоком, устремляюсь к выходу. По пути со всех сторон меня обтекают тревожные голоса:

— Влипли.

— Теперь пойдет!

— Главное, не выпускать из купе детей.

— Убережешься тут, как же! У всех уже и так понос, а клозеты на запоре.

— Что же теперь будет?

— Гроб с музыкой.

— Пускай прививки делают!

— От глупости?

— Не острите, тошно.

— Как говорится, спасайся, кто может.

— Кладбищенские шутки!

— Какие есть.

— Где она?

— Смотрите...

Вдалеке, посредине полосы отчуждения, почти у самого хвостового вагона уже гомонит панически взбухающая толпа, центр которой, по мере наплыва зевак, раздвигается все шире и шире. Прибитый к ней людским потоком, я протискаиваюсь сквозь плотно сбитую толпу и, оказавшись в первом ряду внутри круга, ошарашенно замираю: «Надо же!»

Передо мной, на медленно расползающемся в стороны травяном пятачке, с искаженным мучительной судорогой лицом корчится моя вчерашняя соседка по застолью, ельцовская партнерша из романтических кинобоевиков.

— Господи, да помогите же кто-нибудь! — Актрису беспрерывно рвет, выворачивает наизнанку, тушь вокруг ее ожесточенных глаз стремительно линяет, стекая к вискам темными разводами. — Чего же вы смотрите, помогите же, наконец!.. Скоты, скоты, скоты!.. Трусливые скоты, грязное быдло! — Яростный взгляд ее неожиданно останавливается на мне и все внутри у меня падает и холодеет. — Ты-то хоть подойди... Или тебя тоже на одно пьянство хватает?.. Дрянь гарнизонная!..

Первый порыв мой — броситься ей на помощь — сникает, едва оперившись. Вязкий цепенящий страх пригвождает меня к месту. Страх перед возможностью оказаться завтра в ее положении, быть вот так же унижительно опрокинутым навзничь, умереть, исчезнуть с лица земли. Я чувствую, как он — этот страх — зябко щекочет мне душу, ватной истомой стекая к кончикам пальцев.

Мне знакомо это ощущение предельной близости бездны и гибели. Поднявшись из самой глубины памяти, в моем сознании со всеми подробностями обозначается промозглая мартовская ночь голодного сорок седьмого года: жуткий провал подо мною и там, в стылой темени этого провала, в фанерном ящике, прикрепленном к подоконнику, под мерзлой рогожкой желанная добыча — сало дантиста Меклера. О это сало дантиста Меклера! Оно манило нас, дворовых волчат, своей добротной упаковкой и сытостью, которую таило в себе. Устремляя тоскующий взгляд на подоконник третьего этажа, мы, казалось, осязали не толь-

ко его вкус, но и запах. Мы жаждали его, как взрослые жаждут женщину. Мы стремились к нему, как парии к земле обетованной. Мы видели свое ближайшее будущее лишь в неразрывном с ним единении и прямой связи. Если бы кому-нибудь из нас предложили отказаться от него в пользу личного бессмертия, любой — это я знаю наверняка — предпочел бы для себя полное небытие. Первым не выдержал Володька Гуревич, носатый блондин из флигеля по кличке Шило. «В керосинной, — напряженно зевнул он, — есть лошадиные вожжи». «Ну? — отозвался Левка-Боксер с первого этажа и еще раз лениво повторил. — Ну?» «Хорошие вожжи, — нехотя пояснил тот, — длинные.» О это сало Меклера! Судьба моя была решена. Ночью меня, как самого щуплого и легкого, опутали на чердаке лошадиной сбруей и, словно на помочах, стали спускать через слуховое окно вниз. Мать моя родная, святые угодники, в те считанные мгновения я впервые подумал о бренности жизни и существовании Всеvyšнего! Томясь и цепенея, я плыл сквозь стылую тьму и тусклые созвездья струились вокруг меня нескончаемой чередой. Мне до сих пор кажется, что человеку нужен всего лишь один миг, чтобы состариться, и миг этот может наступить в любом возрасте. Думаю, что я состарился именно в ту мартовскую ночь на полпути к злополучному салу Меклера. Едва ноги мои коснулись подоконника, а рука нырнула в сторону заветной рогожки, окно передо мной ослепительно вспыхнуло и там, за стеклом я увидел грузного волосатого дантиста в одних кальсонах, с выдавшей виды ракетницей в руке: «Застгелю-ю-ю!» В его глазах я, наверное, выглядел этаким, опутанной водорослями рыбой в аквариуме, из которого уже нет выхода. Но исторгнутый мною шепотный крик был воспринят моими парт-

нерами наверху безошибочно: пути мгновенно ослабли и, раздирая ладони о страховочную веревку, я бесшумно устремился вниз, во тьму, в земное спасение. Но ветер того, свистящего у меня в ушах, страха так и остался во мне на всю жизнь...

Освобождаясь от воспоминаний, я огромным усилием воли беру себя в руки и даже делаю шаг вперед, но в это мгновение с противоположной стороны круга к женщине, выделившись из толпы, направляется почти невесомая фигурка Марии, следом за которой решительно поспешает Жора Жгенти. В ней сейчас что-то от встревоженной наседки в минуту грозной для потомства опасности. Даже цветы на ее сарафане, кажется, разгневанно топорщатся, словно перышки, и в сизых глазах стекленеет доподлинное птичье безумие.

Вдвоем с Жорой они бережно поднимают женщину, та затихает в их руках, толпа широко раздается, и, минуя образовавшийся проход, трое медленно удаляются в сторону поезда, сопровождаемые угрюмым молчанием окружающих. Издалека они глядятся эдакой цельной гидрой о трех головах, одна из которых, безжизненно свисая, уже смирилась со своей участью.

«Успел-таки и здесь! — закипает во мне все против Жгенти. — Где ты пройдешь, там еврея делать нечего».

Сзади на плечо мне ложится ладонь. По массивному перстню на безволосом пальце я узнаю руку Ивана Ивановича.

— Ну, — не оборачиваясь, нехотя отзываюсь я, — что скажете?

— Хотите выпить?

— Не хочу.

— Вы не в духе?

— Это касается только меня.

- Я вас обидел?
- Этого еще не хватало.
- Не будем ссориться.
- Идите к чёрту!
- Вот это другое дело...

Так и не обернувшись к нему, я стряхиваю его руку со своего плеча и подаюсь вперед без всякой цели и направления, в зной и хлопотливый стрекот августовского полдня. Отходя, я ощущаю тихий смех за спиной, именно не слышу, а ощущаю: затылком, лопатками, кожей. Но в смехе этом не чувствуется ни вызова, ни обиды, а только вздох и как бы даже облегчение. Да, да — облегчение.

XXXII

Когда Мария узнала о случившемся, ей и в голову не пришло, что вскоре, а точнее, через каких-нибудь полчаса она окажется в самом центре происходящего. Какая сила толкнула ее в тот роковой круг, к совершенно чужой для нее женщине? Где источник ее решимости? Что руководило ею в минуту выбора? Сочувствие, душевный порыв, жалость или протест против трусости окружающих? Всего этого она не могла бы объяснить теперь даже самой себе. Чувство, дотоле незнакомое Марии, коснулось ее и озарило ей душу долгим светом, широко раздвинувшим вокруг нее тьму опасности и смерти. Восхитительное состояние это было для Марии внове, и она, с упоением заполняясь им — этим состоянием, не переставала про себя удивляться: «Надо же, вот уж и вправду: не знаешь, где найдешь, где потеряешь!»

Глядя в осунувшееся, просветленное страданием лицо спящей перед ней женщины, Мария невольно проникалась к ней доверием и благодарностью. Мария не испытывала ни малейшей боязни заразиться, страх смертельной болезни даже отдаленно не напоминал ей о себе, бездумная вера в свою неуязвимость не оставляла ее с того самого мгновения, когда она сделала первый шаг навстречу опасности. Все в ней сосредоточивалось сейчас лишь на том, чтобы спасти, уберечь доверившуюся ей жизнь от снедавшей ее губительной порчи. «Лишь бы до вечера продержалась, — томилась надеждой Мария, — к вечеру врачи должны быть».

Время от времени в купе появлялся озабоченный Жгенти. Между ними происходил безмолвный обмен взглядами и он тут же исчезал, чтобы

вскоре появиться вновь. Но и его короткие визиты не смущали ее душевного равновесия. Она словно бы уже поднялась над своей недавней слабостью и короткая связь их виделась ей теперь, может быть, и неизбежной, но странной прихотью, оплаченной ею слишком дорогой ценой. Предчувствие иной, новой жизни прорастало в ее душе, и там, за тем пределом Жоре места не оставалось. Она еще ясно не представляла себе, что ждет ее впереди, но невозможность возврата к прошлому была осознана ею окончательно и навсегда. «Будь, что будет, — подвела Мария итог, — как говорится, перезимуем...»

— Прощу извинить! — Появление Ивана Ивановича не столько удивило Марию, сколько озадачило: что понадобилось здесь этому стареющему хлюсту, годному, по ее мнению, лишь чтобы путаться под ногами и показывать сомнительные фокусы? — Я, простите, немножко еще и доктор... Разрешите? — Словно по-щучьему веленью, в руках его возник стетоскоп. — Больная, кажется, спит? Прекрасно... Так... Так... Отлично. — Термометр выскользнул у него чуть ли не из рукава. — Посмотрим температуру... Вы не боитесь, — он посмотрел на нее в упор и впервые, когда взгляды их встретились, ей стало не по себе, — нет?

— Нет, — собралась она с духом и еще раз повторила. — Нет.

— Вы с ней знакомы?

— Нет.

— Где ее попутчики?

— Меня это не касается.

— Вы смелая женщина.

— Не знаю. Может быть.

— Вам не боязно заболеть?

— А вам?

— Ну, я другое дело!

- Это почему же?
- Я болел.
- Холерой?
- Да, и холерой.
- Когда вы только успеваете?
- У меня хватало времени.
- Сколько же вам лет?
- Порядком.
- Кокетничаете?
- Немножко.
- Не поздно ли?
- Вы меня хотите обидеть?
- Нисколько... Вы видели сегодня Бориса?
- С полчаса тому.
- Что он?
- Кажется, решил протрезветь.
- Пора.
- Я тоже так думаю... Извините, — он уже

держал термометр перед глазами. — Тридцать девять и два. Типичное отравление или в худшем случае дизентерия. Вам повезло.

— Почему — мне?

— Ну, разумеется, и ей тоже. Но скорее все-таки вам: она невольная жертва, вы же добровольная. Согласитесь, разница довольно существенная. Хотите знать, что я думаю по этому поводу?

— Занятно.

— Вы прожили чужую жизнь.

— Вот уж не подозревала. Что вы обо мне знаете?

— Все.

— Это что, сеанс черной магии?

— Если это объяснение вам удобнее...

— Оставьте ваши шутки.

— Потрудитесь закрыть глаза.

— Ну?

— Вот так... Чудес не ждите, я вам просто кое-что расскажу, — голос его постепенно глож, истончался, из тьмы перед глазами стали выявляться еще неясные, но с каждым мгновением все более определяющие себя дали и очертания. — А теперь слушайте... Себя слушайте...

Сначала, словно сквозь раструб морской раковины, она услышала шелестящий гул яростного прибоя. Затем из-под радужных разводов засветились зелень и голубизна. Мария увидела пустынный берег и женщину в черном у самой кромки воды. Лицо женщины было неузнаваемо знакомо ей, но определить его, дать ему обозначение реального имени она не смогла бы. В нем проглядывались Мона Лиза и Брижит Бардо, Кассандра и Терешкова, Кабирия и Марфа Посадница, Эльза Кох, Святая Жанна, Эдит Пиаф, Зоя Космодемьянская и Сонька-Золотая ручка. Оно — это лицо рвалось со дна памяти косметической рекламой, медальными барельефами, аляповатыми фото в обрамлении похотливых голубков, запечатленное в мраморе, глине, краске, угле и дереве, на стендах и во дворцах, в клозетах и на заборах. Но во всех ипостасях, сколько их было, оно несло в себе, в своей самой главной сути одну печать, одно проклятие — гордое проклятие Ожидания и Встречи. Женщина на берегу ждала. Ждала, беззвучно глядя в простершуюся перед ней даль, умоляя богов о встрече с желанным Улиссом. Но чем пристальней Мария всматривалась в нее, тем явственней прозревала в ее чертах облик своей злополучной попутчицы, с которой внезапная беда свела их теперь в одном купе, и голос, до мелочей знакомый по множеству фильмов и телезаставок голос, зазвучал у Марии в ушах...

XXXIII

ПЛАЧ ПЕНЕЛОПЫ

— Смешно говорить, но мне кажется, что у меня еще никогда никого не было. Да, да именно в этом смысле! Все, что было, это так — зола, фантазия, не в счет. Каждый из них прошел меня, словно камень стоячую воду, не разбудив во мне ни зова, ни отзвука. Все они жили в моей памяти ровно столько времени, сколько нужно, чтобы забыть вчерашний сон. Если я вспоминаю их, то скорее по именам, чем по лицам. Даже о первом, взявшем меня еще школьницей, во мне сохранилось только то, что он был мой родственник и крупно играл на скачках. Потом я потеряла им счет. Через мою постель прошли легионы. Я не брезговала никем. Моими любовниками были братья Покрасс и сестры Федотовы, ансамбль «Рэро» и хор Пятницкого, экипажи лайнеров и таксомоторные коллективы, слесаря, домуправы, поэты, проводники, эстрадные кумиры и статисты, военнотруженики и пенсионер, молодежные вожак и дряхлеющие массажистки. В промежутках между ними имели место дети самых разных народов и специальностей: чукчи, индейцы, негры, мулаты, французы, костариканцы, англичане, евреи, канадские и отечественные хохлы, сербы и даже один перс-папуас, мазилка-примитивист из Тбилиси. В общем, как говорят, «многим я садилась на колени», но никому из них не отдала самого главного — своего сердца. Мне всегда казалось, что во мне мирно сосуществуют два противоположных человека, один из которых при первой возможности пускается во все тяжкие, а другой лишь ждет сво-

его звездного часа, чтобы подарить кому-то единственному себя, свою жизнь и душу. Он грезился мне в сновидениях и пьяном бреде, лик его мелькал передо мною в случайном окне проходящего поезда, в обрывках кинохроники, среди уличной толпы и зрительного зала: всюду, где наступала меня внезапная память о нем. Я, пожалуй, и актрисой стала ради того, чтобы ему легче было найти, заметить меня. В мешанине лиц на премьерах я искала его лицо и в тысячах восторженных писем пыталась узнать его почерк. Думалось, вот-вот раздастся звонок и кто-то тихо произнесет: «Здравствуй, это я». Но шли годы, менялись любовники и любовницы, я старела, а он все еще держивался, не приходил. Какие же несметные полчища Змеев-Горынычей и Соловьев-разбойников стоят у него на пути, если он не пришел и до сих пор! Кто знает, сколько слез пролито мною в ожидании чуда, сколько передумано дум? Первая жизнь моя мне окончательно опостылела, а вторая так и не началась.

Господи, где же предел моей надежде, где конец моим ожиданиям! Не раз судьба манила меня призраком открытия, и я бросалась сломя голову за первым встречным, но уже наутро мне оставалось только разочарованно пожать плечами: не то, не так, не оттуда. О, разумеется, каждый из них считал себя победителем, таким неотразимым светским львом, перед которым распростерлась очередная жертва. Жалкие скоты, угрюмые онагисты с пустыми глазами и гнилым ртом! После ночей с ними мне доставало лишь мокрой губки, чтобы смыть самую память о них. Чего стоит один только Ельцов, вечно пьяный фигляр, возомнивший себя театральным пророком! Странная смесь наглости, лакейства и недюжинного дарования, помноженная на гонор и самоедство. Таким рань-

ше дальше передней ходу не было: не происхождением брезговали — душевной гнусности их чуврались. Но я жила и буду жить с ним, и не только с ним, со всеми, со всеми, кто хоть чем-то поможет мне быть на виду, удержаться на поверхности. Рано или поздно, он — мой возлюбленный Одиссей — увидит меня и позовет. Я сохранила для него все, о чем ему мечталось в юности: чистоту и нежность, преданность и обожание, единственные слова и восхитительное безмолвие. Затасканная постельной шпаной и лесбийскими ведьмами, я утатила от них такой запас здоровья и молодости, что и дойдя до края, меня хватит, чтобы начать новую судьбу с девственно белого листа. Я брошу и забуду все, что было со мной до этого, даже имя и фамилию, какими окрестила меня юродствующая богема. Какая я, к черту, Жанна, какая Крутинская! Однажды, когда ваша покорная слуга пробавлялась на периферии ассистентом у областного фокусника, заезжий гастролер, красная строка, двадцать два рубля за выход, приспособив меня к своей бригаде, одарил меня этой кличкой, словно фальшивым кулоном, что придавало афише весу, и с той поры я ношу ее, как знак, номер, бирку своего теперешнего существования. Но зачем она мне! Я всего лишь девочка из Калуги, дочь грузчика и уборщицы, Золушка рабочей слободы, выкормленная хлебом и картошкой в промозгом бараке, между пьяным отцом и забитой матерью. Как и всем девочкам под солнцем, мне хотелось любви и счастья, надежды и веры, здоровых людей и покоя. Еще в детстве, играя в «папки-мамки», я загадывала: если первым меня возьмет мальчик, он и будет моим принцем на всю жизнь. Первым меня взял сорокалетний пропойца с ипподрома и, значит, мой мальчик у меня еще впереди. Я не знаю, в каком облике этот принц явится

передо мною, но кем бы он ни оказался — нищим или богачом, красавцем или уродом, гением или бездарью — я приму его с благодарностью и смирением. Я приму его в камзоле и в рубище, босым и в ботфортах, с хворостью и здоровьем, на щите и со щитом. Я хочу, прошу, требую только одного: чтобы он был сильным.

Я так долго ждала, я так упорно звала, я так сильно жаждала его, что он не смеет ослабеть и дрогнуть в решающую минуту, этого я бы ему не простила. Сколько бы ни прошло лет и в скольких руках мне ни довелось бы побывать, я не устану его ждать от зари до зари, во сне и наяву, в памяти и в бреду. Теперь же все для меня трын-трава, простейшее заполнение мучительного антракта, бледная немочь перед воскресением. Как я устала от всего этого! Но в ожидании чуда мне не остается ничего другого. Когда же он явится, наконец, мой герой, моя заблудшая лапушка! Может быть, он — это усач из ресторана или аферист-неудачник, седой партнер по застолью, или этот постоянно пьяненький капитан с васильковыми глазами и блуждающей улыбкой на детских губах? В нем что-то есть, в этом капитане, что-то брезжит у него в глубине зрачков, словно свет через темную занавесь, будто фосфор со дна колодца. Может, он и есть Одиссей, путешествующий сквозь самого себя в преддверии родного берега? Я хочу и его, но станет ли это встречей в отличие от того, что было раньше? Но почему бы, в конце концов, не попробовать, чем черт не шутит, и сладкий бред обернется былью? Вдруг он-то и скажет мне свое несравненное: «Здравствуй, это я». И я отвечу ему: «Здравствуй». И еще: «Я — жду». И пусть рушится Троя и мир следом за нею, содрагаясь и скрипя под нами! Мы вдвоем возродим жизнь на земле и начнем исто-

рию заново. Где бы я ни находилась, с кем бы я ни была, какое бы имя ни носила, я, твоя Пенелопа, всегда стою у моря в ожидании твоей ладьи. Ты слышишь меня, Одиссей? Я — жду. Аминь!

XXXIV

Приходя в себя, Мария как бы оттаивала после ледяного беспамятства, в ушах еще звучал знакомый голос, но действительность уже возвращалась к ней, заполняя ее животворным сознанием окружающего мира: глухо гудел за окном полдень, спала больная, с противоположного дивана на нее в упор смотрел Иван Иванович.

— Что это было, — с трудом выдавила она, — сон, бред, галлюцинация?

— Скорее приблизительный слепок с вашей жизни, Мария. — Он не сводил с нее глаз. — Правда, под рукой у меня оказался благодарный оригинал.

— Вы дьявол.

— Увы, нет.

— Кто же вы?

— Скорее — что.

— Так что же?

— Этого нельзя определить словом.

— А как?

— Доверием.

— То есть?

— Вам надо поверить в меня.

— А точнее?

— Вы не должны бояться меня.

— Я вас не боюсь.

— Может быть, я употребил не то слово, но не будем придираться к словам. Суть в другом. Я ваш друг, и это должно определить ваше отношение ко мне. Что бы я ни делал, я делаю ради вас и Бориса.

— Зачем?

— Это моя маленькая тайна, моя личная идея фикс, так сказать. Но пусть она останется только моей.

— Вы странное существо, если вообще — человек.

— Это лишь кажущаяся странность. На самом деле все во мне до смешного обыкновенно. Просто душа моя оказалась способной вместить в себя полную меру людского страдания и откликнуться на него. Поверьте, я не совершаю никаких чудес. Моя единственная заслуга в том, что я умею вовремя помочь человеку сосредоточиться в самом себе и тогда вы обретаете способность слушать и видеть себя со стороны, проникать в суть вещей и явлений, приобщаться к другому, запредельному миру. Очищающая мистика, вытекающая из умело поставленной педагогики. Вы удовлетворены?

— В какой-то мере. Где вы были раньше?

— Ждал часа.

— Он пробил?

— Я здесь.

— Почему именно мы?

— Вы — это только начало.

— Что же будет?

— Будет любовь.

— Снова?

— Впервые.

— А после?

— Будет свет.

— Для всех?

— Сначала для вас.

— Мы будем счастливы?

— Это больше, чем счастье.

— Что же это?

— Спасение.

— За что?

— Этого не знаю даже я.

— Что станется с ней? — Мария кивнула в сторону спящей. — Она дождется?

— У нее еще есть время.

— Она страдает.

— Ей зачтется.

— А сейчас?

— Сейчас? — Осторожно, кончиками пальцев он прикоснулся ко лбу актрисы. Та мгновенно, словно по волшебству, ожила, веки ее расклеились, губы дрыгнули в полуулыбке. — Как вы себя чувствуете?

— Голова... болит.

— Это естественно. — Иван Иванович предельно серьезен. — После такого приступа!

— Я, кажется, бредила? — брезгливо морщится она. — У меня холера?

— Бог с вами, голубушка, какая еще холера! — Снисходительно посмеиваясь, он достал из жилетного кармана облатку и протянул ей. — Обыкновенное отравление или, в худшем случае, дизентерия. Вот вам таблетка левомецетина и будьте, как говорят, здоровы.

— Это правда?

— Как то, что я перед вами. Что бы вы хотели сейчас?

— Прежде всего я хочу выпить.

— Нет ничего проще, — можно было подумать, что Иван Иванович вынул этот флакон прямо из ничего, так мгновенно тот появился у него в руке. — Хлебните, это чистый коньяк.

— Как в сказке! — она сделала несколько судорожных глотков, и вскоре глаза ее блаженно увлажнились, лицо пошло розовыми пятнами. — Жить еще, оказывается, можно.

— Вполне! — Иван Иванович встал и несколько театрально раскланялся. — Думается, я становлюсь здесь лишним. В случае необходимо-

сти можете не искать, я объявлюсь сам. Итак, до встречи!..

— Шикарный тип, — определила актриса, едва за ним задвинулась дверь. — Я его еще в прошлый раз заметила. Вы давно с ним знакомы?

— Только что.

— Не темните.

— Какой смысл?

— Кто вас знает.

— Я с другом.

— Тем более.

— У меня другие правила.

— У всех у нас, матушка, одни правила: сегодня ваш, завтра — наш. Впрочем, может быть, вы — исключение. Кстати, я вам обязана...

— О чем вы!

— Скоты, грязные ублюдки! — Ее развозило прямо на глазах. — Все бросили... Все... И даже этот писака... Радетель самопожертвования и нравственности... Вы кто?

— Это неважно.

— Вы меня знаете?

— Немножко. По кино.

— Я вам нравлюсь?

— Не очень.

— Спасибо за откровенность. Остальные презирают или завидуют, но лгут, что любят... Я, наверно, что-нибудь болтала в горячке?... Это у меня бывает, я знаю... Во сне я становлюсь неменяемой. Лезет в голову всякая чушь. Детские химеры одолевают... Вам налить?

— Нет.

— Осуждаете?

— Вы меня плохо знаете.

— Как хотите... А я выпью. — У нее совсем по-детски задрожали губы. — Без этого я не засну... А я хочу заснуть... Заснуть... И увидеть тот

же сон. Это так замечательно, так прекрасно! — Флакон выскользнул из ее слабеющей ладони и скатился на одеяло. — Заснуть... заснуть... заснуть...

Сон придал ее обмякшему лицу выражение робости и мольбы, тени под глазами обозначились резче, углубленнее, округлый подбородок заострился и побледнел. Глядя на нее, Мария никак не могла отделаться от мысли, что перед нею не умудренная горьким опытом женщина, а всего лишь несчастный ребенок, который по сути еще и не начинал жить. Чутьем проснувшегося в ней материнства она угадала в спящей беззащитную душу собственного «я» и тихо заплакала, призывая судьбу к милосердию и пощаде. Мария плакала о себе и Борисе, о муже и дочери, о близких и дальних, обо всех, кто в эту минуту скорбел и страдал, и не было в ее жизни плача более тихого и облегчающего.

И был день, и был зов.

Я просыпаюсь с острым ощущением гложащей тоски под сердцем. Зябкое предчувствие близкой беды, потери исподволь источает меня. Белесое небо, наподобие застиранной простыни, кажется, охватывает меня со всех сторон и я плыву сквозь него — это небо, — вялый и податливый, словно сонная рыба. И вместе со мною плывет моя боль. Я весь как бы состою из нее — ноющей и вялой. Существование последних дней кажется мне сейчас сплошной вереницей ослепительных взлетов и провальных падений. Можно подумать, будто некие бредовые качели возносят и низвергают меня поочередно из яви и небытия, и я бездумно несусь по этой кривой, постепенно теряя волю к порыву и сопротивлению. Как тронутый червоточной лист, я плыву по течению неведомо куда и нету этому моему пути ни конца, ни края. Обрывки воспоминаний той, оставшейся позади, жизни еще цепляются следом за мной, но, едва коснувшись памяти, распадаются в прах, оборачиваясь во мне хаосом случайных слов и звуков.

Но вот надо мной, в белесой мути моего кричащего одиночества появляется знакомое лицо: две васильковые капельки среди россыпи медных веснушек и литого серебра волос. Лицо, словно примериваясь, некоторое время рыжим подсолнухом покачивается в вышине и затем резко идет на снижение, закрывая от меня окружающий мир.

— Я люблю ее, капитан. — Голос Жгенти чуть дрожит от напряжения. — Понимаешь?

— Это твое дело. — Невнятная боль во мне мгновенно кристаллизуется, обретая облик и цель. — Это меня не касается.

- Ты должен понять меня...
- Мне плевать.
- Будь человеком, капитан.
- Иди к черту!

Теперь-то я наверняка знаю что, какая жгучая червоточина снедает меня. У этой боли есть имя и оно — это имя — второй день выедаёт меня изнутри. Мария! Имя это, еще недавно не вызывавшее во мне ничего, кроме досады и брезгливости, вдруг становится для меня предметом источающей душу муки. Я гляжу в его, обрызганное медью веснушек, резкое лицо, в акварельную бездну его глаз и чувствую, как во мне медленно закипает почти непреодолимое желание вцепиться ему в горло и задушить, смять в нем хрупкое биеение жизни. Чтобы избежать соблазна, я отворачиваюсь и через силу выдавливаю из себя:

- Уходи, майор, хватит.
- Будь человеком, капитан.
- Уходи, говорю.
- Не обижайся, капитан...
- Пошел ты...
- Ладно...

Лицо Жгенти исчезает, освобождая облинявшую высь надо мной, и вскоре чуть слышные шаги его затихают в пышущем зноем полдне, а я снова и снова задаюсь собственным недоумением: что же произошло, наконец, что изменилось в моем отношении к Марии? Какая муха меня укусила? Отчего при одной мысли о ее близости с этим летуном руки мои начинают трястись, а в горле набухает удушливое жжение? Меня вдруг охватывают безнадежность и опустошение. Уйти, скрыться от всех и ото всего, ничего не видеть, не слышать, не чувствовать! Будь оно все проклято! Сколько можно тянуть осточертевшую лямку службы, связей, быта? Что мешает? Страх остат-

ся наедине с самим собой? Или отсутствие решимости? Хватило же для этого духу у деревенского тракториста Петра Красюка, которого встретил я, забредя как-то от нечего делать в Одесский монастырь. Мы сидели с ним на завалинке монастырского свинарника, и Петр, глядя из-под белесых бровей в голубое пространство перед собой, степенно рассказывал мне о своем здешнем житье-бытье:

— Только тут и отмяк малость. Загудел мне этот трактор мой всю голову, чтоб ему пусто было. Вот, говорят, свинья — животная без понятия. Это, как к ей подойти. Ежели ты с ей по-людски, она тоже культурно умеет. Я с ими лажу.

— Не скучаешь по дому-то? — Его безмятежность чем-то раздражала меня и я пытался нащупать в нем слабое место. — Обрато не тянет?

— Не. — Его невозмутимость осталась вне пределов моего досягания, полые, и как бы потерявшие цвет глаза отчужденно смотрели куда-то впереди себя. — Чего я там не видел? Жена у меня в колхозе большой человек, партийная, фермой заведует, у ней свои заботы. Детишек нету, жалеть некого, отец-мать давно померли, какая там у меня зацепа? Вот, похожу здесь в послушниках до зимы, а там посмотрим, то ли останусь, то ли куда еще подамся.

— Что, и вправду веруешь?

— А тебе чего до моей веры?

— Так... Любопытно просто.

— Чего зря любопытствовать, коли своей нету, у чужого не займешь. Придет и твой черед.

— Вот уж напророчил тоже!

— А куда тебе деваться? — Он необидно, краешками губ усмехнулся и с уверенностью человека, давно разрешившего для себя загадку окружающего мира, заключил: — Некуда тебе деваться.

Да и не одному тебе — всем некуда деваться. Поблудят, покуражатся, наорутся вдоволь, дурь спустят и сызнова к вере придут. Другой доли у живой души нету, зря сочиняют, только людей путают. Умников много было, что заместо Господа на земле стать хотели, где они? Нету. А Вера стоит и стоять будет, скрозь разные горнила и тернии пройдет, а выстоит. А сгинет, все кончится, одна тьма-тьмущая будет кругом. Только Господь не попустит, нет!

И словно утверждая заключительное восклицание послушника, со звонницы монастырского храма гулко потек колокольный благовест. Благовест растекался над округой, властно заполняя собою настезь распахнутое морем пространство между землею и небом.

— Звонят. — Петр, крестясь, поднялся и повернул в сторону церкви. — Здесь у братии строго.

Смутный, почти неосознаваемый зов повлек Бориса следом за ним. После пронзительного света августовского побережья вязкая, едва озаряемая неверным мерцанием редких лампад внутренность храма увиделась особенно сумрачной. Пение, встретившее здесь Бориса, крепло исподволь, постепенно, волнами возносилось под своды, приобщая его к своей, набравшей высоту, мощи:

— «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истленья Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем...»

Их было здесь не более тридцати, этих стоявших к Борису спиной послушников и монахов, возносящих ввысь свою ежевечернюю молитву, но в эту минуту ему казалось, что именно на их полусогбенных плечах и держится сейчас исходящий

криком и кровью и готовый сдвинуться со своей оси мир...

Во мне еще звучат, подрагивают, теплятся отголоски той молитвы, когда слуха моего достигает чей-то близкий плач — сдавленный и протяжный. Я с трудом поворачиваю голову в ту сторону, откуда он — этот плач — доносится, и чуть не вскрикиваю от удивления. Шагах в десяти от меня, в тени лесополосы стоит Ельцов, привалившись спиной к дереву, и в опухшем, залитом слезами лице его обозначается неподдельное горе. Воспаленные губы актера едва шевелятся, но, вопреки расстоянию, слова, неслышно произносимые им, начинают отчетливо складываться в моей памяти.

— «Таков мой долг... Таков мой долг. Стыжусь назвать пред всеми ее вину. Стереть ее с земли. Я крови проливать ее не стану и кожи не коснусь, белей, чем снег, и глаже алебастра. И однако, она умрет, чтоб больше не грешить...»

На мгновение Ельцов умолкает, удрученно опуская голову, затем вдруг резко отталкивается от ствола. Из взмывающих кверху длинных ладоней его, словно белоснежная птаха из гнезда, крылато выпархивает платок. Платок, покачиваясь в безветренном воздухе, устремляется к земле и по мере его снижения актер как бы на глазах убывает в размерах, тускнеет, становится полым. Жизнь уходит, улетучивается из него, оставляя после себя лишь тень, призрак того, что всего минуто назад выглядело человеком. Кажется, еще мгновенье, одно лишь мгновенье и сама тень эта исчезнет, выветрится, стечет в полутемной дреме лесополосы. Но в последний миг Ельцов, пружинисто переломившись надвое, подхватывает на лету белую птицу измены и порывисто прижимает ее к губам:

— «О чистота дыханья! Пред тобою готово правосудье онеметь. — Платок, словно живой, извиваясь, затихает в его руках. — Еще, еще раз... Будь такой по смерти. Я задушу тебя. И от любви сойду с ума... Последний раз, последний. Так мы не целовались никогда. Я плачу и казню, совсем, как небо, которое карает, возлюбя...»

Зрачки Ельцова в ужасе расширяются, вбирая в себя всю меру предстоящего, и так замирают на некоторое время, излучая в пространство перед собою обессиливающее горе последней потери.

«Вот тебе и актер актерыч, — обмираю я, — откуда что берется! Смотришь, болтун, находка для шпиона, пробы ставить негде, а, поди ж ты, умеет, кому хочешь сто очков вперед даст».

Возвращаясь к реальности, Ельцов, наконец, замечает меня. Преодолевая неловкость, он криво усмехается и виновато разводит руками:

— Работа... Форма тренаж любит.

Ельцов вяло поворачивается и бредет в глубь придорожного подлеска, а я, раздавленный и потрясенный, будто улитка в раковину, вновь заползаю в себя и затихаю в собственной тьме.

XXXVI.

Я вижу, как по спутанной цепи времен, отпущенных человеку на его коротком веку, ощупью движется большеголовый мальчик в стоптанных сандалиях на босу ногу. Слепой и беспомощный, словно только родившийся щенок, он тычется во все стороны в поисках той, которой предназначено разделить с ним постель и его скорбное одиночество. Скуля, обжигаясь, разбивая в кровь лицо и душу, движется мальчик в поисках своей единственной, и памятные голоса сопровождают мальчика в этом его почти безнадежном, но неотвратимом пути:

— Мальчик мой, — взыскающая мука отца медленно простирается над моей головой, — если бы ты знал, если бы ты только знал, что это была за женщина — твоя мать! Мы встретились с ней случайно, в одной спортивной компании, она даже смотреть сначала не хотела в мою сторону, ты же видишь, я далеко не красавец, а там сидели такие мальчишки, хоть сейчас в журнал мод, все, как один, чемпионы, мастера спорта. Но я сказал себе: «Федя, это твоя судьба, или сейчас, или никогда». Не буду рассказывать тебе, что там было в тот вечер, ты еще мал для этого, но она, в конце концов, ушла оттуда со мной и в ту же ночь стала твоей матерью. К тому времени она уже очень сильно пила, и я так и не смог справиться с этой ее страстью... Знаешь, мальчик, это бывает лишь один раз в жизни, вдруг влюбляешься в женщину сразу, мгновенно и безрассудно и никто вокруг не понимает, что ты в ней нашел. Какая-то черта, черточка, ну, к примеру, манера морщить нос или одним взмахом головы откидывать челку со лба мо-

жет навеки привязать тебя к женщине. И никакие логические доводы, будь они хоть трижды доказательны, уже не смогут оторвать тебя от нее. Ты простишь ей все пороки, все гадости и любые измены, потому что одна мысль о разлуке с ней станет для тебя смертельно невыносимой. Я ходил за нею, как за малым ребенком: мыл, обстирывал, кормил чуть не с ложки. Бегал в театр, унижался перед всякими недоношенными мэтрами, лишь бы ее не увольняли и числили в театре, хотя бы на разовых. Ах, мой мальчик, чего это мне только стоило, если бы ты знал! Я же все-таки Храмов, ты, надеюсь, понимаешь — Храмов! Когда же ее уволили окончательно, она уже и вовсе не просыпалась. Она приходила в себя лишь для того, чтобы выпить и снова впасть в забытье. В редкие минуты просветления она тихо плакала и, целуя мне руки, исступленно шептала: «За что это нам, Федя, за что это все нам?» Тогда я еще не понимал, что она этим хочет сказать. Я мало знал о ней, о себе она рассказывала мне мало и неохотно, да я и не настаивал, оберегал ее от воспоминаний, догадываясь кое о чем и не добиваясь большего. И только потом, в бреду, в беспамятстве, когда она уже не помнила себя, ее словно прорвало: «Будьте вы прокляты! — кричала она. — Будьте вы прокляты! Где мой отец? Где моя мать? Что вы с ними сделали? Я ничего не буду говорить! Я ничего не стану подписывать! Я вас ненавижу, ненавижу! Как же я вас ненавижу!» Тогда, родимый, в те минуты я хотел только одного: умереть с нею вместе. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Когда ее, наконец, взяли и увезли, я дневал и ночевал под окнами ее палаты, пока кто-то не взял меня за рукав и не отвел в морг, где я увидел твою мать на мраморном столе под простынею. Поверь мне, в жизни своей, ни до, ни после я не видел лица

прекраснее и добрее. Казалось, она спала после тяжелой и долгой болезни и ей снились ее детские сны. Я не заплакал, нет, слез у меня давно не осталось, но, знаешь, словно что-то застыло, смерзлось у меня в душе, комок какой-то, камень, и уже больше не таял во мне и не тает до сих пор. О ней много говорили и еще говорят у нас в родне, но ты должен запомнить только одно, мой мальчик, твоя мать была святая женщина. Да, да, именно святая! Я знаю, мне уже недолго осталось, вместо легких у меня давно французские кружева, но я, поверь мне, ни о чем не жалею, я любил, я знал, что такое счастье, а чего еще может желать человек в этой, извини, паскудной жизни... А теперь иди, скоро обход и мне надо привести себя в порядок. И, ради Бога, слушайся бабу, она так измучена и устает!..

А шепелявое бормотание бабуки Вари уже тут как тут:

— О, этого мне не забыть никогда, до самой моей смерти, не к ночи будет сказано. Я была в тот вечер вся в муаровом, легком, декольте, прическа по последней моде с цветком в локоне. О этот первый вальс с ним! Как сейчас помню: ля-ля-ля-ля-ля... Все просто любовались нами. Подруги умирали от зависти... Твоя бабушка, милый, не всегда была такой рыхлой и старой, многие в молодости сравнивали меня со статуэткой, столько было во мне грации и изящества. Один юноша из очень известной семьи, красавец, гордость Пажеского корпуса, даже представь себе, стрелялся. Да, да, не веришь бабушке, наглец! Я могла сделать блестящую партию. Мы — Храмовы — тоже имели вес в свете. Но я выбрала этого тощего прапорщика с веснушками во все лицо и, словно дрессированная собачка, побежала за ним. До сих пор ума не могу приложить, чем он меня покорила? Мало того, что за душой у него не

было ничего, кроме жалованья, но, представь себе, он был еще и курнос. Правда, самую чуточку, но все же! Когда я в первый раз провожала его на фронт, мне казалось, что я умру от горя, так я любила его и так не могла без него жить. Потом, правда, я потеряла счет этим проводам и уже не думала всякий раз, что умру от очередной разлуки. Я молила Бога только о том, чтобы Он оставил моего мужа в живых. Потом я перестала мечтать и об этом, слишком обыденной стала смерть сама по себе. Людей убивали прямо на глазах, посреди улицы, в собственных квартирах, в очередях и собраниях. Убивали по любому поводу и без всякого повода. Во всяком случае, мой милый, пенсне или чистые руки были достаточным основанием для безнаказанного убийства. Тебе еще рано знать об этом. Но когда ты вырастешь, ты поймешь, во что обошлась Храмовым эта воровская вакханалия, которую они почему-то упорно называют теперь борьбой за лучшее будущее. Ума не приложу, какого «будущего» можно добиться разбоем, но когда они, наконец, протрезвели, было уже поздно. Мой Митя сражался против немцев до последнего дня, а когда фронт развалился, ушел к генералу Миллеру под Архангельск. Если бы ты видел его, милый, когда он вернулся оттуда! Ему не было тогда и тридцати, а выглядел он стариком, казалось, в чем душа держится, даже веснушки его были черными, словно черный снегопад прошелся по его лицу. «Варенька, — говорил он мне ночью, — такого ужаса еще на земле не было, это не люди, это монстры без стыда и совести, им расстрелять человека, что выругаться, почти пятнадцать тысяч своего же брата-крестьянина из миллеровского набора в расход пустили, душа от ужаса стынет». После первой же регистрации в Чека он вернулся домой темнее ночи. «Варенька, — сказал он, —

они хотят, чтобы я добровольно пошел служить к ним, им не терпится захватить Варшаву. Что ты думаешь?» «Ничего, — ответила я, хотя заранее знала, что у него уже все решено. — Делай, как знаешь». Разумеется, он отказался и, разумеется, его арестовали. Тогда в первый раз я пошла просить за него. Я пошла к твоему деду, он занимал у них высокое положение. Но твой дед, Бог ему судья, — он получил свое и даже больше, чем надо, — сказал мне: «У революционера нет родственников, у революционера есть друзья и враги, твой муж — враг». С тех пор я не видела его, у меня не осталось никакой памяти о нем, кроме детей. Но и того, что у нас с ним было, мне хватит теперь до самой моей смерти... Ба, ба, ба! Совсем заговорила, вот-вот явится Лева, а я еще даже не зажигала керосинку... Сходи погуляй, я тебя позову...

Лева не заставляет себя долго ждать:

— Ах, как я ее любил, Боря, как я ее любил! Она жила здесь, у нас во дворе, когда тебя еще на свете не было. Ее звали Сима. Сима, Серафима, Серафима Павловна! У нее было любимое платье, такое, знаешь, синенькое в белый горошек, простенькое, но элегантное. Когда Сима проходила по двору, казалось, что ноги ее не касаются земли, до того легкой, почти воздушной она выглядела. Я смотрел на нее, как на чудо, что ежедневно освещало наш жалкий и холодный двор по чистой случайности и тем лишь оправдывало само его существование. До сих пор не могу понять, почему изо всех она выделила именно меня? Правда, в тот вечер я первым попался ей на глаза и она, сломя голову, бросилась ко мне, спасаясь от озверевших братьев. Знаешь... Как бы это тебе сказать... В общем, они посылали ее на улицу. Надеюсь, ты понимаешь?... Ну, ладно... Тебе еще рано. потом пой-

мешь... Эти немногие дни, что мы провели с нею вместе, я считаю единственными достойными называться жизнью. Все перед этим и после кажется мне каким-то бессмысленным бредом. Я знал, я чувствовал уже тогда, что за каждый такой день мне придется дорого заплатить, и я заплатил и, поверь мне, Боря, не жалею об этом. За подобный подарок судьбы можно перенести и еще три раза по столько. Какие планы мы с нею строили, какие замки воздвигали! Я ведь именно тогда и начал работать над своим «футболом». Мне хотелось украсить ее жизнь, одевать ее, лелеять, а жалкой зарплатой моей не хватало даже на хлеб для двоих. Только мой «футбол» мог спасти нас. Если бы я знал, что вокруг столько завистников, интриганов и взяточников, разве я взялся бы за него! Но я обязан довести дело до конца, ради нее, ради ее памяти или хотя бы из принципа! Моя идея проста и потому гениальна. В конце концов эти ослы из главка вынуждены будут сложить оружие перед этим фактом. Справедливость восторжествует! Ты не согласен со мной?.. Что ж, одним маловером больше, скептицизм окружающих только подхлестывает первооткрывателей. Ты горько пожалеешь об этом, ничтожнейший из Храмовых, но будет поздно!.. Что?.. Сима! Ах да, Сима! Симу взяли по доносу братьев. Статья сто пятьдесят пятая уголовно-процессуального кодекса, пункт «а». Ты не знаешь, что это такое? Мне даже выговорить и то совестно, а женщина-судья выговаривала и даже не краснела при этом... Загляни в кодекс сам, ты человек грамотный... Пять лет с конфискацией всего принадлежащего ей... Господи, «принадлежащего ей»! Ей принадлежало только синенькое платье в белый горошек да я — Лев Храмов. Но меня они почему-то отказались конфисковать, а платье было на ней. Я попытался было сунуться

к твоему деду, но к этому времени он уже сам висел на волоске. «Лева, — печально сказал он мне, — если революция пожирает собственных детей, то почему бы ей пренебречь пасынками?» Что ж, ему нельзя было отказать в кладбищенском остроумии — твоему деду. Действительно, почему бы? Так сгинула из моей жизни Сима, Серафима, Серафима Павловна, а я остался здесь со своей тоской и своим многострадальным «футболом». Нет, им не удастся сбить меня с толку! Моя игра пробьет себе дорогу к прилавку! Я еще не развернулся в полную силу, есть еще порох в пороховницах, бюрократам и жуликам от игрушки, которым я встал поперек горла, придется капитулировать... А? Чего?.. Бабка зовет, значит, ступай, после договорим...

И следом собственный бредовый шепот оттуда, из полуразрушенной башни на краю пустыни:

— Ты чудо...

— Какой ты смешной...

— У меня даже голова кружится.

— Ты выпил...

— Совсем немного... Давно прошло. Такого со мной еще никогда не было, честное слово.

— Тебе это только кажется...

— Я не знал...

— Чего?

— Что это будет так...

— Как?

— Замечательно...

— Совсем смешной...

— Я благодарен тебе, Мария...

— За что?

— Этого не объяснишь словами.

— Объясни по-другому...

— Вот так... Чувствуешь?

— Да... Да... Да...

- Никому тебя не отдам...
- Скоро забудешь, глупенький...
- Нет... Нет... Нет... Никогда.
- Потом пожалеешь...
- Ради Бога, молчи... Прошу тебя.

Терпкий привкус той ночи неожиданно сводит мне скулы. Кажется, я даже ощущаю шершавый холодок остывающего песка под собой. Боже мой, ведь это было, было, было! Как это могло уйти, исчезнуть, испариться? И когда, в какие сроки? Нет, нет, нет! И еще раз — нет! Ничто не могло, не должно кончиться! Усталость, равнодушие, неприязнь последнего месяца — это от жары, от скуки, от изнуряющего безделья. Еще не поздно забыть все случившееся после той нашей первой ночи в пустыне, вычеркнуть остальное из памяти, словно дурной сон, и начать все сначала. Я не хочу, не имею права ее уступать, она моя и никакие майоры, будь их хоть легион, не в силах разлучить меня с ней! Страх близкой и уже невозвратимой потери подхватывает меня, я вскакиваю и чуть не бегом бросаюсь в сторону поезда. «Только бы успеть, — взмывает и падает во мне сердце, — только бы мне ее найти сейчас!»

XXXVII

Сквозь безлюдные коридоры меня несет вдоль состава, но настезь распахнутые купе-соты словно вымерли: в них — ни души. Лишь в самом хвосте, в клетушке поездного радиоузла передо мной возникает согбенная фигура Балыкина, склонившегося над большим листом ватмана. Из-за его плеча мне видна часть аляповато раскрашенной прописи: «За социалистическое здоро...» Чуть ниже бросается в глаза серая заплатка газетной вырезки: «В течение последних десяти лет в динамике кишечных заболеваний в Советском Союзе отмечается тенденция к снижению в среднем до восьми и одной десятой процента в год». Лева настолько увлечен делом, что мне приходится легонько встряхнуть его за плечи. Лишь после этого он оборачивается и, в конце концов, сознание возвращается к нему.

— Вот, — смущенно мямлит он, изо всех сил стараясь загородить от меня свое детище, — проявляю, так сказать, инициативу.

— Ну, ну. Марию не видел?

— Здесь, понимаешь, капитан, комиссия объявилась. — Спеша оправдаться, Лева явно не слышит меня. — Обещали тетрациклин выдать. По пачке на рыло. Активу, говорят, в первую очередь. Сам знаешь: хочешь жить, умей вертеться, вот я и решил тряхнуть стариной. Я в смысле художественной самодеятельности еще в лагере насобачился.

— Что? Какая комиссия? Какой тетрациклин? — недоумеваю я, занятый неотвязной мыслью о Марии. — Зачем?

— Ты что, капитан, чокнутый, что ли, или притворяешься? — Балыкин даже покраснел от возмущения. — Здесь, понимаешь, не такие люди, как я, глотки рвут. Вот, смотри, мировая, можно сказать, знаменитость, его от Охты до Парижа все бляди знают, и тот стишки сочинить не погнушался ради такого случая. Одно начало дорого стоит: «Я разный, я здоровый и заразный...» А ты говоришь. Тетрациклин — великая вещь!

— А если яснее и короче?

— Во-первых, — Лева принимается слюнявить и загибать пальцы, — если холера, глотнешь и как рукой снимет. Во-вторых, выпивка на этом корабле к концу подходит, циркачи уже за средство от перхоти взялись, поездная бригада, вроде, даже к тормозной жидкости подбирается, соображаешь?

— Туго.

— Эх, капитан, капитан, а еще, наверное, отличник боевой и технической, не хорошо. Натуральный обмен: ты — мне, я — тебе. Ты мне московской или, на худой конец, калгановой, а я тебе пилюли от Эль-Тора, теперь понятно?

— Так ведь если нету...

— Плохо ты знаешь многонациональную семью наших народов, капитан, нашего нового человека недооцениваешь. За свою драгоценную и неповторимую он не только выпивку, а и луну с неба достанет, стряхнет с нее пыль и поднесет ее тебе вместо закуски на белой тарелочке и, как говорится, с синей каемочкой.

— Откуда же?

— Из мочи гнать будет, — раздражаясь моей непонятливостью, зло отчеканивает он. — Родных детей своих на барду переведет, а жену на дрожжи, но сивухи добудет, век мне свободы не видеть!

С жестом художника, являющего миру только что законченное полотно, Балькин отходит мне за спину, обнажая передо мною дело своих рук. Работа и впрямь стоит того, чтобы на нее взглянуть. Под ядовито-зеленой шапкой «Сплоченным коллективом наперекор холере» красуется не совсем грамотное, но эффектное факсимиле знаменитой кинодивы, которое подкрепляется энергичным карандашным призывом ее режиссера и руководителя «сплотить ряды» и «смело смотреть в глаза». Далее следует передовая самого Левы, написанная в лучших традициях районной и лагерной печати, где бесчисленные деепричастия искупаются живостью стилистики и простотой изложения. Стихи молодящегося мэтра, расположенные выразительной лесенкой, бросаются в глаза своим четким чертежным шрифтом в самой середине газетного листа, что как бы определяет политический акцент макета. Работенка, как говорится, комар носа не подточит.

— Это что, капитан, смотри лучше сюда и учись. — Лева кладет передо мною машинописный текст, подписанный знакомым мне модным драматургом. — Этот всех переплюнул, курва. Самому завидно. Высший класс подхалимажа на европейском уровне. Гранпри обеспечена сукиному сыну.

У драматурга, действительно, хватка волчья: «Эффективность нашей системы здравоохранения основывается на социалистической плановой системе народного хозяйства. Организованные действия санитарно-эпидемиологической службы при всесторонней поддержке партийных и советских органов позволили в столь короткий срок справиться с угрозой заболевания и ни на один день не нарушить ритма нормальной жизни в нашем поезде».

И далее, в том же духе, с примерами из поездного быта — целая страничка убористого словесного разврата.

— Да, — оторопело сдаюсь я, — действительно.

— Так, может, внесешь лепту, капитан? — Леву явно изводит благое желание помочь мне выбиться в люди. — От имени, так сказать, наших славных и боевых воинов? Тетрациклин нынче на дороге не валяется.

— Руки не поднимаются.

— Может, похмелить?

— А есть?

— Для хорошего человека всегда найдется.

Лева бережно отодвигает стенгазету в сторону и через минуту на краешке стола появляется граненый стакан и початая четвертинка.

— Ректификат, — благоговейно шепчет он, ловко очищая луковицу. — Чистый. Аванс от медперсонала и благодарных сослуживцев.

Спирт, проявляя окружающее, помогает мне сосредоточиться и цель моего поиска вновь несет меня к выходу:

— Ты не видел Марию?

— Нет. — Лева невозмутимо хрустит луковицей. — Жара, все в кустах прячутся.

— Не крути. — В его спокойствии сквозит чуть заметная деланность. — Говори.

Балькин пожимает плечами:

— Мое дело сторона, капитан.

— Говори.

— Ты сам по себе, капитан, я сам по себе.

— Шутить со мной не советую.

— Не стоит баба душевного разговора, родной.

— Ты меня плохо знаешь, Балькин.

— Зато ее хорошо.

- Что?!
- Что слышишь, капитан!
- А ну, повтори!
- Я не попка.
- Так... Понятно.
- Брось, капитан, выпей.
- Пошел ты...

Жуткая до обморока догадка обжигает меня: она снова там, в лесу, с ним, с майором! Уже на ходу хватая стакан и вливая его в себя, я порываюсь к двери, но в последнее мгновение, внезапное, как удар, беспмятство опрокидывает меня в ничто.

XXXVIII

Этот семейный альбом Храмовых попался ей на глаза в самых неожиданных местах. Сегодня она наткнулась на него в чемодане Бориса, на самом дне, когда заглянула туда в поисках зубной пасты. Обычно, разглядывая изжелта-лиловые фотографии Храмовского клана, Мария не могла отделаться от наваждения, будто лично знакома с каждым из них. Весь этот хоровод лиц и фигур, причесок и платьев, мундиров и цивильных одежд вдруг оживал в ее душе, вызывая в ней смутные зовы и едва уловимые видения. Отзвуки знакомых имен множились в ее памяти и робкие птенцы прежних надежд поклевывали ей сердце. В действительности же она знала лишь одну из них, двоюродную бабушку Бориса — Варвару Львовну. Мария застала ее уже умирающей и полуслепой. Перед отъездом в Одессу она зашла вместе с ним в деревянный двухэтажный дом в Сокольниках, где в крохотной комнатенке о двух окнах в полутемный двор, на продавленном, изъеденном клопами диване, среди удушающей затхлости лежала укрытая ветхим пледом старуха с широким, болезненно припухшим лицом и не мигая рассматривала Марию. «Как знаешь, Боря, как знаешь, — закончив осмотр, одышливо прошамкала она. — Бог тебе судья». И перекрестила их. Глядя сейчас на изображение худенькой большеглазой девушки в кокстливой, с цветком у тульи шляпке, Мария никак не могла представить себе, что это юное создание и дряхлая развалина под застиранным пледом — одно и то же лицо. Борис рассказывал ей потом, как бабушка его аккуратно собирает медицинские анализы, но не сдает их, а складывает в ди-

ване, отчего в комнате никогда не продохнуть. Всякий раз фотография эта вызывала в Марии острый приступ страха. «Неужели, — мертвела она, — и я вот так же когда-нибудь? Спаси, Господи!»

— Я не помешаю? — Можно было подумать, что Иван Иванович только и ждал за дверью этой ее мольбы, чтобы войти в купе. — Все разбежались, кто — куда, нигде ни души.

— Заходите, заходите. — Пожалуй, впервые за время их недолгого знакомства Мария обрадовалась его визиту. — Вы, как всегда, при параде.

— Привычка. — Он с достоинством потупил глаза и, опускаясь на самый краешек противоположного дивана, скосил взгляд в сторону альбома. — Интересуетесь предками?

— Время от времени.

— Впечатляет?

— Такое чувство, будто я их знала раньше.

— Все может быть.

— То есть?

— Память, милая, память, — соболезнующе вздохнул гость. — Наше человеческое спасение, но и проклятье. Кто знает, какие бездны сведений хранит она от нас за семью печатями? Недаром ей свойственно иногда подразнивать нас мгновенными видениями иной жизни. Наверное, все люди, сколько их есть, это всего лишь два человека — Адам и Ева, многократно отобразенные во времени и пространстве. И потому мы многое помним, хотя и забыли.

— Выходит: я уже была?

— Вполне... В известном смысле, конечно.

— Кое-что, правда, порою мерещится...

— Вот-вот, припомните!

— Что именно?

— Хотя бы ситуацию, похожую на эту.

- Сейчас... Нет... Едва ли.
- Попробуйте немного напрячься.
- Что-то вроде брезжит... Только смутно...

Очень смутно. Отрывочно как-то...

- Хорошо... Еще одно усилие.
- Да, да... Вспоминаю.
- Продолжайте, я вам помогу.
- Начинаю помнить... И вижу.
- Похоже?
- Очень... Запах тот же. И цвет.
- Холера?
- Да...
- Когда?
- Давно... Очень давно...

Иван Иванович тихонько накрыл ее ладони своими, и за гранью угасающего в ней сознания она услышала собственный голос в иной сути и в другом времени...

XXXIX

— Переписка наша с батюшкой становилась грустна и тревожна в отношении к политическим событиям и к повальной болезни, вновь появившейся в Европе, которая шла с Юго-востока на Север и Запад, как страшный призрак, препосылая перед собою смятение, подозрение и страх. Надобно признаться, что это была тяжелая пора...

«Вы, вероятно, знаете, что у нас во многих местах свирепствует холера: на Кавказе, в Астрахани, в Саратове, на Дону и на Урале. В Астрахани каждый день умирает с лишком по сто человек. Правительство принимает сильные меры для прекращения сей ужасной болезни...»

«У нас нового нет почти ничего, и я чуть было не сказал: Слава Богу, потому что с некоторого времени новости по большей части дурные. Холера в Астрахани продолжает свирепствовать, но уже с меньшею силою: в последнюю неделю, вместо 850-ти человек, как прежде, умерло только 179. Она показалась и во многих других местах, и для противодействия ее опустошению, чтобы лечить больных, и, по возможности, не давать распространяться болезни, наряжена особенная чрезвычайная комиссия из чиновников гражданских и медицинских. Начальником ее сам министр Внутренних дел, новый граф Закревский...»

«О здоровье своем не говорю: оно, как и прежде, хило. Да теперь мне и некогда и почти стыдно думать о нем, когда все заняты мерами для охранения общего здоровья против печально известной болезни. Мы надеялись, что она скоро прекратится, и в самом деле прекратилась в том месте, где наиболее свирепствовала, т. е. в Астрахани; но зато,

хотя и слабее, однако же показывается в иных местах, наконец в Нижегородской губернии. Сегодня я получил известие от прокурора, что, несмотря на предосторожности, принятые губернским начальством, болезнь из самого города Нижнего, в коем открылась сначала, распространилась и на окрестности и достигла Балахны. Как быть! Смирясь перед волею Провидения, надобно признаться, что холера как ни вредна, ни опасна, но едва ли не лучше той нравственной болезни, которая волнует нынче Францию, Бельгийские провинции и часть Германии...»

— Теперь, когда уже мы, к несчастью, сроднились с периодическими нашествиями холеры, трудно вообразить себе, какой ужас она распространяла. На нее смотрели как на чуму или на черную смерть, считая ее прилипчивою, боялись всякого прикосновения к больным, прокалывали, окуривали письма, и ничто, ничто не могло остановить ее ход, между тем как рвота, багровый цвет, посинелые лица больных возбуждали подозрение в отраве. Европа волновалась: слышались угрозы России, а многие врачи у нас были из иностранцев, или носили иностранные имена; они жертвовали собою, безбоязненно лечили в госпиталях, а больные все-таки умирали, и народное подозрение падало на врачей и обвиняло их в подкупе, чтобы погубить верную и сильную Россию. Недоверие, страх, ужасные слухи действовали на нервы, в воздухе уже зараженном болезнью, и умножали число жертв. Отец мой писал:

«...Посылаю тебе стихи Кольцова, на один из концертов Генриеты Зонтаг.

Вчера ты пела — голос нежной,
Рассея мрак мой безнадежной,
Небесной дышит чистотой;
Он веет радость надо мной.

Он веет сладкое томленье,
И сердцу он напомнил вновь
Бесценное души волненье —
Младую, первую любовь...

Здесь мы заняты одним, болезнью холерою, которая, к сожалению, прекратясь в Грузии, Кавказской области, Астрахани и Саратове, появилась в других местах, несмотря на оцепления, карантинны и всевозможные предосторожности. Я уже писал тебе, что она в Нижнем и после того получены известия из Костромы, Ярославля и Рыбинска, что и там есть больные холерой; наконец, и в Москве несколько человек сделались ее жертвой, в том числе архимандрит Чудова монастыря и четыре студента Московского университета. Жаль больных, умирающих, тех, которые будут оплакивать их, и жаль также, что принимаемые меры предосторожности и ужас, который распространяется повсюду от слухов о сей новой язве, остановят на несколько времени сообщения внутри государства, повредят нашей внутренней торговле и еще более расстроят состояние богатых и небогатых. Будем однако надеяться, что Бог, столь явно милостивый к России, сократит сию годину испытаний...»

«Мы все по-прежнему ожидаем и ловим известия с двух сторон о холере физической в России и о холере моральной, гораздо более опасной, на Западе Европы. В Москве умерло не более 16-ти человек, но она только начинается; в Нижнем Новгороде и в Рыбинске много больных и умирающих; она появилась и в Казани; об этом я имею официальные известия от прокурора, но об деревнях твоих и моих не знаю ничего. Авось-либо, Господь помилует наших мужичков. Вы, конечно, уже знаете, что Государь поехал в Москву и, конечно, также отгадали причину. Это прекрасное, сродное душе его движение спешить туда, где ка-

кая-либо опасность угрожает его подданным. Эта новая черта его характера привела в восторг всех умеющих ценить порывы великодушия: она обрадовала и успокоила не только московских, но и здешних жителей. Таковы наши добрые русские люди, самый монархический народ в мире; они уверены, что там не может быть зла и беды, где сам Государь с ними, где он сам печется об их благе. Так оправдывается в сем случае мое любимое правило, что хорошее движение всегда имеет хорошее последствие. Впрочем, Государь не долго пробудет в Москве; сегодня ожидают его в Царское Село. Я надеюсь, или лучше сказать, уверен, что возвратится в совершенном здоровье. Поездка его, между прочим, имела ту выгоду, что успокоила его самого; он своими глазами увидел, что опасность от холеры не так велика, что против нее приняты все нужные меры предосторожности, и не без успеха. Эти меры, т. е. очищение воздуха в домах, размещение больных в просторные комнаты, наблюдение за чистотою и пищею сделали, что в нынешнем году в Москве умирает людей гораздо менее, нежели в прошлом, хотя в то время не было никакой повальной болезни...»

— Однако Государь не так скоро воротился. Вот письмо от одиннадцатого октября...

«Императорская фамилия, т. е. Государыня, Великие Князья Александр и Константин, Великая Княгиня Елена Павловна и Великие Княжны еще в Царском Селе, потому что Государь еще в Москве. Его присутствие там всех и все оживило; потому, вероятно, он решился пробыть в Москве несколько лишних дней и решился выдержать в Твери 8-ми дневный карантин, давая таким образом пример осторожности и повиновения закону. Его ожидают в Царское и вскоре потом все переедут в город...»

— Спаси его, Господи, на радость России!

«Государь выехал из Москвы. Нужно ли прибавлять, что тамошний народ провожал его так же, как встречал, с живым трогательным восторгом признательности, называя его своим воскресителем...»

— Эти строки о признательности простого люда, приветствующего своего императора, до того потрясли мою душу, что я залилась слезами и долго еще не могла успокоиться.

«Государь благополучно возвратился из Москвы в Царское Село, и ныне ожидаем его в город. Он останавливался во втором карантине на Ижоре и потому опоздал. Холера в Москве уменьшается; 19-го числа от нее умерло только 70 человек, а выздоровело 450, следовательно, перевес на стороне здоровья».

— Не успели мы отслужить благодарственный молебен, как от бабушки было получено новое известие...

«Между тем, в Одессе показалась холера, но доселе не сильная: она там почти встречается с чумою. Эти две заразы, обе восточные, хотя из разных краев и разными путями, пришли к нам, благодаря нашему месту стражей просвещенной Европы против азиатских варваров...»

— И снова между нами встала холера, бабушка выехал, но ему дозволено не заезжать в Москву, и по всей вероятности он возьмет свой путь на Тулу, Смоленск и Витебск; ужасный крюк, особенно в настоящую пору года, но авось-либо хоть крюком, хотя и по грязи, он дотащится к нам в начале ноября. Мы его ждем с нетерпением.

«Дорога моя идет вокруг Москвы, большим крюком, и во Пскове или в Твери будет перерезана карантинном, который продолжится дней четырнадцать. Но, слава Богу, мор заметно пошел на

убыль и к Рождеству ожидается его полное исчезновение...»

— Итак, физическая холера, как батюшка называет ее, уменьшилась на нашем Востоке: но зато моральная зараза уже добиралась до нас с Запада и, еще скрытая от нас всех, готовила России другого рода беды, которых последствия горько отзываются на нас и до ныне. Аминь!..

**ТЫ СЛЫШИШЬ, ОНИ ЖИВЫ, ОНИ ЖИВУТ
В ТЕБЕ, НЕ ЗАБЫВАЙ ИХ, ПОМНИ О НИХ,
МАРИЯ!**

XL

Облегчение, наступившее сразу вслед за этим, сообщило окружающему ее миру глубину и объем.

— Значит, во мне не я одна? — едва слышно проронила Мария. — И я все помню?

— Отчасти. — Голос Ивана Ивановича звучал уже в ней, а не рядом. — В какой-то степени.

— В какой же?

— Ровно в той, чтобы держать ответ.

— За что?

— За все.

— И за них тоже?

— И за них, и за тех, что будут после.

— Перед кем?

— Перед Богом.

— Когда?

— В судный день.

— Это скоро?

— Может быть, уже сейчас.

— Значит, все это — расплата?

— Да..

— А что дальше?

— Другая жизнь.

-- Где?

— Здесь же...

Окружающее вдруг сузилось для нее до размеров оконного проема, и в нем, в этом прямоугольном фокусе, перед нею обозначилась нескладная фигура знакомого ей прыщеватого курсанта, переминающегося с ноги на ногу в бледной тени лесополосы. Он явно маялся от жары и безделья, сонно смаргивая в пространство перед собой. «Шел бы спать, — с досадливой жалостью мысленно посоветовала на него Мария, — кто там за ним следит!»

— Значит, — возвратилась она в свое — можно начать все сначала?

— Нужно.

— С чего же начать?

— Подумайте.

— Кто подскажет?

— Сердце.

— А Бог?

— Он в нем...

Мария, трезвея, огляделась. Ивана Ивановича не было. Наверное, он и не появлялся здесь. Было лишь забытье, наваждение, болезнь, сквозь которую она прошла, и, пройдя, обрела какое-то неведомое ей дотоле знание, враз определившее, что ей сейчас делать и как дальше жить. И тогда она вздохнула и поднялась.

•

ХЛІ

Чад клубится у меня в подкорке и радужные пузыри струятся из моих глаз. О, мне знакомо это состояние похмельного делирия, когда тело, как бы заново усваивая закон земного притяжения, начинает жить отдельной от сознания жизнью. Все во мне скрипит и стонет, а мозг перекачивается в своей коробке, как незакрепленный груз в трюме морского грузовика. Десятки голосов проборматывают в мои уши целые кораба неразборчивых баек и сотни неугомонных чёртиков роятся у меня перед глазами. Я вяло бреду вдоль состава, в голове которого, в кустах между насыпью и лесополосой, смутно маячит выпцветшая пилотка знакомого курсанта. Пилотка, словно детский кораблик в половодье, плывет ко мне сквозь стрекочущую сушь знойного полдня, и я бросаюсь к ней навстречу в тщетной надежде на помощь и спасение. Пилотка все ближе и ближе, и вот, наконец, изпод нее выявляются близорукие глаза, а затем пухлое, со следами недавнего сна лицо в полном объеме.

— Там, — лениво кивает курсант в сторону стоящего впритык к тепловозу «стольпина». — Идите.

— Кто? — отчужденное от меня эхо множится во мне. — Зачем?

— Все ваши. Пьют.

— Я не хочу.

— Надо.

— Почему?

— Так безопаснее.

— Плевать.

— Нельзя.

- В чем дело?
- Надо идти.
- Что я там не видел?
- Увидите.
- Нагляделся, тошно.
- И все-таки идите...

Курсант произносит последние слова в приказной интонации, и я, инстинктивно повинуюсь, медленно разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов и тащусь к «столыпину». Под решетками, плотно задернутые изнутри окна тюремного вагона смотрят на меня загадочно и слепо. Дверь тамбура распахивается настежь, едва рука моя обхватывает поручень. Уже поднимаясь по ступенькам, я слышу трубящий из темноты зычный голос Ельцова:

— Хватит болтать херню! Есть закон железной необходимости: выжить должны лучшие. Уж не считаешь ли ты меня недостойным этого? Кто, по-твоему, сохранит священный огонь мысли, кто передаст потомкам дух времени, кто понесет свет людям? Та шелупень, что ли, что заперлась сейчас по своим купированным норам и ждет-не дождет-ся, когда к ним явятся доктора с прививками? Или солдатня, что охраняет нас, как прокаженных, среди дикого леса? Или самогонщик дядя Степа? Таких земля народит за одну ночь тьму тьмушую и еще маленькую тележку. А мы — соль земли, и без этой соли они — ничто, хлам, дерьмо, мусор...

Сквозь решетчатые двери вдоль всего коридора сочится неверный, колеблющийся свет. У меня такое впечатление, будто мир сузился до размеров затерянного во тьме тюремного пульмана, в котором сосредоточились сейчас последние остатки света и жизни. Ельцова я застаю в первом же купе в окружении нескольких, уже порядком осо-

ловевших слушателей. Лица их в освещении единственной свечи, воткнутой в горлышко порожней бутылки, глядятся частями: пятно щеки драматурга в рыжей поросли рядом с куском кабаньего загривка борца против неофашизма, а по другую сторону клочок сивой Балыкинской шевелюры около носатого абриса кобыльего печальника. На верхней полке, все с тем же бурдюком на коленях, свесив ноги в сырмятных чувяках, восседает Давид Сихарулидзе, упорно продолжая вести свою тему, словно с минувшей ночи он так и не прерывался:

— Раньше вино пили для веселья, теперь, чтобы память потерять, — чувяки его, словно две ладьи, мерно качаются в волнах табачного дыма. — Что с народом делается! Вай, скоро мочу пить будут. Куда правительство смотрит, завтра одни пьяные останутся? С одним Давидом Сихарулидзе социализм не построишь, тем более, в одной, отдельно взятой стране...

Скорбное бормотание грузина не смущает Ельцова. Оседлав любимого конька, он распаляется от звуков собственной речи:

— Пусть нас останется горстка, но какая горстка! Можно сказать, украшение земли русской, совесть ее, надежда. Мне один большой человек сказал как-то в теплую минуту, сами понимаете, какой человек. Оттуда, с самых, что ни на есть верхов: ты, говорит, я, говорит, и, верите, заплакал...

Надо думать, он мог пороть в таком духе до бесконечности и, видно догадываясь об этом, Лева неожиданно берет инициативу в свои руки:

— А как же насчет дамочки?

— Какой дамочки? — делает стойку тот. — Ты о чем, брат?

— Ну, этой самой, вашей Жанны?

— В борьбе, брат, жертвы неизбежны, — голос его драматически пресекается. — Славный она, скажу я тебе, была бабец и хороший товарищ, но се ля ви, мой друг, се ля ви... Нам остается только сплотиться теснее и пусть, так сказать, мертвые хоронят своих мертвецов.

— Закон зимовки, — мычит из своего угла засыпающий драматург. — Лишний должен уйти.

— Судьба! — многозначительно вздыхает носатый, откидываясь в темноту. — Могила!

— Естественный отбор, — соболезнующе сопит антифашист. — Выживает сильнейший.

— Жаль бедную девочку. — Сверху в сдвинутые стаканы пикирует изогнутая дугой змея шланга. — У Давида такой никогда не было.

Но Лева не дает теме растечься по дереву:

— Маэстро, будем откровенны, мы же понимаем друг друга. Они, — Балькин поводит взглядом вокруг себя, — не в счет. Им давно уже снятся вторые сны и вякают они лишь по инерции, компанию поддерживают. Строго между нами, чего нам темнить, вас по натуре священный огонь заботит, судьба искусства обременяет? Только без балды?

Я вздрагиваю: на моих глазах происходит чудо. С завязтого театрального льва словно стайвает искусно приращенный грим, высвобождая грубоватые черты бойкого мужичка из торговых, каким Ельцов и был на самом деле, в коренной своей сути.

— Пожить хоца, — смущенно поводит он острым плечом. — Молодой ишшо.

Свеча возле него внезапно гаснет, как бы смывая передо мной исчерпавший себя сюжет, и тень толкает меня вперед, к очередному свету.

Этих четверых я видел ночью, у костра. Тот, что в полосатой робе, как нельзя лучше подходит

сейчас к обстановке: обрешеченное оконце под потолком, дверь в крупную клетку, три, вместо двух, полки с обеих сторон. Подружка его, два голубых прожектора на отцветающем меловом лице, мечтательно сияя в сторону своего кумира, томно вздыхает:

— Ах, мальчики, хорошо бы нам, после того, как все это кончится, собраться на одном острове где-нибудь в южном полушарии и жить там естественной, здоровой жизнью. Растительное питание, стихи, музыка, любовь, что еще нужно человеку!?

— Человеку, к примеру, невредно иногда выпить. — Этого я видел ночью мельком, — он почти не принимал участия в общем шабаше, сидя в стороне от остальных с литровой бутылкой виски между колен: твердая челюсть боксера, упрямые скулы честолюбца и детские глаза под мощно надвинутым лбом. — Или послать кого-нибудь к родившей его матери. Кто вообще знает, что нужно человеку?

Из-за его квадратного плеча выдвигается к свету овальный и как бы парящий в пространстве профиль и принимается мельтешить, двигаться в захлебывающейся, с придыханиями скороговорке:

— Остров это не современно, Бэлла, остров это мираж экзистенциализма, реакция на некоммуникабельность буржуазного общества. Слово — вот наше спасение. Объединимся в слове!

Полосатый смотрит белыми, с непроглядной чернотой внутри глазами в огонь свечи, ничего не видя и не слыша вокруг себя.

— Когда я, — размыкает он, наконец, тонкие губы, с таким видом, словно то, что здесь говорилось до него, не имело сколько-нибудь существенного значения, — в последний раз говорил с Бобом Кеннеди, это было в ванной его манхэттенской

квартиры, он сказал мне: «Женя, ты — совесть России, ты — ум России, ты — сама Россия». Потом, когда Иоанн Сан-Францисский осенил меня крестным знаменем, я понял: на мне судьба революции, на моих плечах ответственность поколения.

Он умолкает, ночь в белых его глазах становится непроглядной и в наступающей гробовой тишине томный голосочек возле него вдруг обретает интонации времен татарского ига:

— Холодно на земле, холодно! — Типичная казанская баба излучается почти космической тоской. — Дюже холодно!

Только тут я осознаю, что в арестантском купе горит не свечка, а она сама, эта стареющая девочка с глазами святой блудницы, покорно источает себя в стылое и безответное пространство...

Гулкий голос из следующей клетки влечет меня дальше:

— Карты, товарищ, это не домино, ими не стучать, а играть нужно. Можно подумать, что вы не колоду тасуете, а льете ревизору разбавленный коньяк, так у вас трясутся руки. Не умеете проигрывать, беритесь за вышивание, это полная гарантия сохранности вкладов и спокойной старости. Три сбоку, ваших нет!

Человек, похожий на робота, отключив мегафон, уверенно сгребает выигрыш со столика. Его партнер, усатый буфетчик из ресторана, с фатальным видом вечно ограбленного, прослеживая взглядом путь уплывающей из-под рук добычи, трубно вздыхает:

— Согласно жизненной необходимости накопленным посредством труда и рационализации для пользования культурой существования и пищеварительного тракта. Короче: интеллигентный досуг требует жертв, поскольку труд есть дело чес-

ти, славы, доблести, а также известного геройства. Сдавай снова, сука, а то я за себя не отвечаю!..

В угловом сумраке у двери дремлет знакомый Борису по ночному бдению армянский священник с бодрствующей лилипуткой на коленях. Лилипутка бережно обмахивает его сложенной вчетверо газетой «Социалистическая индустрия», нежно нашептывая при этом:

— Как ты прекрасен, мой дорогой, как ты огромен!.. Спи, мой Гулливер, спи, моя радость... Я расскажу тебе сказку... Жили-были старик со старухой, и была у них курочка-ряба...

Газета, как белая птица, вспархивает над свечою и угольная челка тематической шапки заслоняет от меня происходящее: «Резервы производства — основа реформы».

Свет соседнего купе, по мере моего приближения к нему, заполняется тихим речитативом под чуть слышный гитарный перебор: «Я жалею собак с нашей улицы, очень трудно сидеть на цепи, все они белозубы и умницы, только им не хватает степи...»

Его я уже слышал там, у костра. Кто он? Откуда? Зачем? Почему во мне брезжит ощущение своей сопричастности с ним? В чем колдовство этих незамысловатых мелодий? Я не могу дать себе в этом отчета, но ощущение того, что это обо мне, с первых же слов не покидает меня: «Только им не хватает степи...»

Слушателей его я вижу впервые. Бальзаковский двойник с овечьей безнадежностью в глазах, сидящий кудряш — вопросительный профиль плененного беркута; нервически смаргивающий очкарик, похожий на Боруха Спинозу, и крепенький еж в прекрасно скроенной, дорогого вельвета паре, устремленный резким, но неуверенным лицом в сторону поющего:

— Булат! — почти беззвучно задыхается он.
— Булат!.. Булат! — И еще раз, переполняясь признательностью и восторгом. — Булат!..

«Только им не хватает степи...»

В наступающей вслед за этим тишине слова, как всплески в глубоком колодце.

Бальзак:

— Умри, Денис, как говорится.

Беркут:

— О чем еще говорить!

Спиноза:

— Не все на свете — дерьмо.

Еж:

— В Бога верить хочется...

В глубине коридора со свечой в одной руке и с бутылкой в другой неожиданно возникает усатый старшина. Он, словно космонавт в невесомости, парит навстречу мне, и голубой ореол денатуратного запаха витает над ним, наподобие благоухающего эфира. Свеча в его руке, вроде падающей звезды, в конце концов, низвергается ко мне, заполняет меня целиком и я растворяюсь в беспмятстве.

XLII

По ночам в логу за станицей горели свечи, десятки свечей. Храмов знал, что гасить их бесполезно. Он смотрел на них через схваченное первым инеем стекло, и ему казалось, что в логу идет сейчас разговор о нем. Разговор людей, пропущенных им через безотказную машину ревтрибунала по большой справедливости большого боя. За что они могли судить его, что поставить в вину? Произвол? Он судил их при всех, без келейности и утайки. Жестокость? Но разве бывает слишком жестокой революция? Может быть, массовость? Но разве саботаж в деревне — дело рук одиночек? Нет, он считал себя чистым перед ними. Он не питал к ним личной злобы или презрения. Он все сделает для их семей. Он даже облегчит им разверстку. Но дело следовало сделать, как бы это ни было тяжело. Человек отсекает себе собственную руку, если она начала гнить. Иначе он погибнет сам. Весь. До конца.

Так думал Валентин Храмов, стоя у окна и глядя в пробитую тихими свечами ночь. А за перегородкой, на душной хозяйской кровати его жена рожала первенца. Она рожала тяжело и долго, и оттого волнение новизны происходящего давно улеглось в Храмове. В нем жила сейчас лишь работа о деле. О деле и только. Оно — это дело, поглощало его целиком, оставляя для жены лишь быстрые часы коротких передышек. Но даже в самые, казалось бы, тайные минуты он ловил себя на мысли, что весь он еще там — в штабе, в станичных страстях и крике.

Сын циркового куплетиста и балерины, Валентин долго не мог найти себе дела по душе.

Брался то за одно, то за другое, был служащим в банке, инструктором плавания, тапером, но к тридцати годам так и не приобрел деловой привязанности. Но как-то, забредя в полузнакомый дом, Храмов оказался в довольно разношерстной компании, где после третьей рюмки стал нудиться какому-то господину в темной франтоватой паре на свое невезение. В ответ тот лишь брезгливо опустил вялые губы по-бабьи широкого лица и еле выдавил сквозь них:

— А в революцию не пробовали? Сейчас все вроде вас туда идут.

И отошел прочь. И более уже за вечер не подходил. Храмов, удивленный не столько словами незнакомца, сколько тем, каким тоном они — эти слова — были сказаны, поймал за рукав одного давнего приятеля, и, кивнув в сторону стареющего франта, спросил:

— Кто это?

— О! — Приятель многозначительно pokrutil пальцем у его носа. — В сыске большими делами ворочает.

И если мысль о революции до этого никак не могла бы застрять в его голове, слишком уж хлопотным считал он это для себя, то отныне она стала прямо-таки преследовать его. «Действительно, — раздумывал он, — а почему бы и нет? Коли уж и в сыске так считают?»

И он пошел к Абраму Гершензону. У того они собирались — эти мальчики в черных косоворотках. Абрам жил вдвоем с сестрой в доме у Глебова на седьмой линии, столуясь при хозяевах.

Сестра Гершензона — Софья, занималась перепиской. Встретив девушку случайно в доме каких-то знакомых, Храмов устроил ей почти постоянный заработок у своего временного хозяина — присяжного поверенного Горностаева. Как-то

поздним вечером Валентин вызвался проводить молоденькую переписчицу, и, сколько та ни противилась, храбрясь и отнекиваясь, настоял-таки на своем. Всю дорогу до самого дома девушку бил мелкий озноб, она то и дело останавливалась, умоляя провожатого оставить ее и поворотить обратно. Но Храмова уже не на шутку разобрало любопытство, ему теперь просто необходимо было узнать причину столь загадочного волнения. Он настойчиво подталкивал ее под острый локоток и упрямо приговаривал:

— Что вы, как можно!.. Я не могу оставить вас в такой тьме одну... Как хотите, не могу!

Едва они подошли к дому, как в подворотню метнулась тень и в глубине ночного двора пошел размножаться медленно затихающий топот. Девушка было заупрямилась:

— Теперь я сама. Это рядом. Спасибо вам.

— Вы слышали только что? — Храмов увлекал ее за собою в темноту ворот. — Здесь-то и есть самое опасное.

Он втолкнул ее на лестницу и пошел следом. Ступеньки почти винтообразно брали вверх. Поднимаясь, Софья жалобно оборачивалась и тихим шепотом молила:

— Я вас прошу... Это невозможно... Что скажет брат?.. Вернитесь...

Но Валентин молчал, наступал снизу, и ей ничего не оставалось, кроме как подниматься. Едва ли у нее не было ключа, но она постучала. Дверь отворилась сразу, словно там, за нею, долго и нетерпеливо ждали этого стука. На пороге вырос невысокий худой парень в темной косоворотке с набором бежевых пуговиц по распахнутому вороту. Парень был рыж и зол сверх всякой меры. Коротко пошарив по гостю разгоряченными глазами, он гневно оборотился к Софье:

— Неподходящее время для ритуальных визитов, мадмуазель! Мы поговорим с вашим женихом в следующий раз.

— Ты не так понял, Абик. — Она явно готова была провалиться сквозь землю. — Это господин Храмов... Это от господина поверенного...

Пока они объяснялись, Валентин, будучи на голову выше рыжего, успел разглядеть за его плечом узкий коридорчик, в конце которого, через распахнутую дверь, была хорошо видна часть комнаты с полукругом стола прямо по центру. В комнате сизыми пластами плавал табачный дым. Кто-то пытался петь под гитару и при этом страшно фальшивил: «Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом...»

— Жаль, что я не могу удовлетворить вашего любопытства сразу. — Круглые выпуклые глаза рыжего отливали яростной синевой. — Зайдите в другой раз.

— Это мой брат... Простите, — краснея, лепетала девушка. — Его зовут Абрам... Я же вас предупредила...

— Да, да, Абрам! — Он с вызовом вытянулся. — Если это вам не нравится...

— Нравится, — поспешил озадачить его Храмов. — Только почему вы такой рыжий?

Тот с одобрительным удивлением воззрился на гостя, задумчиво пожевал тонкими губами и, сдаваясь, мгновенно изошел мелким, почти беззвучным хохотом:

— Замечательно!.. Гость, который начинает с оскорблений... По крайней мере, вас можно не бояться... Ладно уж, заходите.

С тех пор они подружились. Для Абрама Гершензона в этом мире не было загадок. Мир казался ему простым и понятным, как таблица умножения. Оставалось только переделать его соглас-

но очередному социальному множителю. Далекий от дум и интересов, одолевавших неуемного еврея, Валентин, тем не менее, день ото дня, сходиллся с ним все ближе. Было в его новом приятеле что-то такое, отчего Храмову всякий раз после их встреч просторнее и легче дышалось. Поэтому, когда теперь перед Валентином замаячила цель, решение тут же броситься за помощью к Гершензону пришло само собой.

— Ты нахал, Храмов! — Выслушал тот гостя с напускной серьезностью, но его неистребимая смешливость взяла в нем верх. Он засучил короткими ножками, затрясся. — От праздности в революцию лезешь! Где у тебя совесть, Храмов? Ты бы уж лучше женился.

Валентин обиделся:

— Все ерничаешь!

— А разве ты похож на человека, которого можно принять всерьез?

— На вас, Абраша, свет клином не сошелся.

— Вот, вот, — тот еще продолжал посмеиваться, но по сузившимся глазам видно было: приглядывается, оценивает, — выдержки, как у гимназистки, зато амбиции...

— Как знаешь, Абрам.

— погоди, Храмов, не спеши, голову сломать ты еще успеешь.

— Твое последнее слово?

— Ладно. — Под тонкой в веснушках кожей его резко проступил костяк: лицо сразу заострилось и постарело. — Посмотрим, на что ты способен...

Способен же он оказался на многое. Начав с распространения прокламаций, Валентин уже через год занимался в подполье самой опасной и ответственной работой: от организации побегов до транспортировки оружия из-за кордона. Впервые

в жизни его захватила вся полнота существования. И он без остатка растворился в деле, ни в чем не жалея себя и ни о чем не задумываясь. «Счастливец», — говорили о нем всякий раз, когда он выкарабкивался из, казалось бы, самых безвыходных положений. Ему и вправду везло, везло до первого провокатора. Храмова взяли на исхоженной вдоль и поперек финской границе, причем в таком месте, где случайная засада была просто-напросто невозможна: все говорящее вокруг верст на десять покупалось им заранее и надолго. Бить его начали еще в таможне и били с короткими перерывами до самого Петербурга. И только здесь, в крепости дали прийти в себя и заснуть.

Когда утром Храмова вывели во двор, чтобы отвезти в охранное отделение, у него безвольно закружилась голова и, жадно вдохнув всюю грудью сырого осеннего ветра с Невы, он облегченно заплакал: жив! На фоне тусклой позолоты церковных куполов гроздя черных кричащих галок выделялись особенно резко и звучно. Скрученные холодом и словно жестяные, листья тихо позванивали по ветру. Первый ледок обреченно похрустывал в лужицах под ногами. Пронзительное ощущение своего присутствия, соучастия во всем, что происходит вокруг, охватило его, и он вдруг утвердился в собственной власти над собой: «Со мной нельзя сделать ничего больше, чем убить. После этого я уже не буду ни видеть, ни чувствовать. А пока, куда бы ни забросила меня судьба, рядом будет вот это: деревья, ветер, черные галки поверх куполов и многое, многое другое, чему можно радоваться и с чем жить».

С этим облегчением он после короткой, но гулкой дороги и вошел в просторную, о шести окнах камеру следователя. Полутьма коридора еще некоторое время радужно кружила перед глазами,

прежде чем ровный свет выявил в глубине комнаты знакомое вялогубое лицо человека в черной щегольской паре. Храмов даже не удивился: предчувствие этой встречи давно укоренилось в его душе, время от времени возникая в нем твердой и близкой уверенностью: «Вот дорожки пошли, уже некуда, попробуй — разойдись!»

— Мой случайный совет, кажется, пришелся вам впрок, Валентин Алексеевич? — белесые глаза всматривались в него почти дружелюбно. — Впрочем, этого надо было ожидать. Вы же ничего другого не умеете. Рано или поздно от вас бы это не ушло. И как — нравится?

— Нельзя ли ближе к делу.

— Не к спеху, — в его голосе засквозила издевка. — Сразу видно, что уже привыкли командовать. Такие, вроде вас, быстро во вкус входят. Судьба поклонением не баловала, вот и хочется разом отыграться. Но если бы вы были чуть-чуть умнее и обладали бы способностью анализировать и делать из анализа выводы, вы бы легко могли нафантазировать себе свое ближайшее будущее. И не только свое...

— Скажите пожалуйста!

— Зря иронизируете. — Круглое, немного бабье лицо его мстительно напряглось. — Даже если вы не свернете себе шею до своего, так сказать, звездного часа, на нее найдется немало охотников и после. Да, да, не удивляйтесь! Такие, как вы, нужны до тех пор, пока идет борьба за власть. После переворота надобность в вас отпадет, ваше прошлое будет напоминать новым хозяевам о долгах, а кто же из власть имущих благоволит к кредиторам?

— Обойдемся без хозяев.

— Вот-вот! — с готовностью подхватил тот. — Я так и предполагал. Сами в хозяева метите?

Здесь-то и есть, Валентин Алексеевич, ваша главная промашка. Вы-то предполагаете, а он — этот самый будущий хозяин — располагает.

— Так кто же он — этот счастливчик?

— А тот, что и сейчас, тот же самый. — Следователь заговорщицки подмигнул Храмову и даже губы облизнул от нетерпеливого удовольствия. — Вицмундирчик только к новым временам приспособит да зазубрит нехитрый катехизис вашей демагогии. — Он неожиданно в упор, не мигая, уставился Храмову в переносицу и, словно бы возвращаясь к давнему разговору, спросил: — Так вы говорите — били?

— Я еще ничего не говорил, но...

— Свои, — тот, подняв ладонь над собой, не дал ему договорить, — будут бить больше, уверяю вас. — Ожесточение коснулось и уже не оставляло его, проявляясь от слова к слову все резче и определеннее. — Власть будет ваша, строй обречен давно и безнадежно. Но не спешите радоваться! Сначала в гражданской войне вы перестреляете своих политических противников, а затем возьметесь друг за друга. Большой кровью Россия умоется.

— Что ж, без нее, без крови, не обойдешься. — Храмов против воли втягивался в разговор. — Мы не в бирюльки собрались играть, мы — революцию делаем.

— Зablуждаетесь, молодой человек, революцию делаете не вы, — снисходительно усмехнулся тот. — Революцию делает охранное отделение. Да, да, — он тихонько похлопал по крышке стола, — вот она вся здесь — ваша р-р-революция. Я главарям вашим собственноручно жалование плачу. Тут, правда, у каждого свой расчетец есть. Деньги-то они получают, а дело свое подпольное все равно делают. Да и, верно, еще посмеиваются

втихомолку: вот, мол, какие мы ловкие. Нам же того и нужно: пускай тешутся.

— Вам-то это зачем? — пересохшими от внезапного удушья губами сложил Храмов. — Зачем вам?

В ответ тот коротко всплеснул руками:

— А еще горными орлами себя считаете, так сказать, буревестниками! В большие империи метите, а дальше первого забора посмотреть — глаз не хватает. У нас расчет куда шире вашего. Не мешало бы вам помнить, что у русского мужика только с похмелья добрые мысли в голове. Перед выпивкой же он зверь. Сейчас он и есть перед самой выпивкой. Что ж, пускай напьется с вашей легкой руки. Да так напьется, чтобы ему похмелья потом на века хватило. Вот мы и помогаем вам спить его. Чем быстрее спويم, тем скорее в себя придет.

— Вы здесь считаете, а мы пересчитывать будем. По-своему пересчитывать. И мужика этого сумеем к нужному знаменателю привести.

— А сие, Валентин Алексеевич, от вас не будет зависеть. Здесь уже вступит в силу логика борьбы. Или вы, или — вас. Этой кровавой корью вам придется переболеть, такова уж планида российская. И чем скорее, тем лучше. Может, после мир поумнеет. — Он внезапно обмяк, испарина выступила у него на лбу. — Хотя едва ли... Да, да, едва ли. — Как бы в изнеможении он прикрыл глаза ладонями. — Идите... Вы свободны... Я не держу вас. У меня нет против вас прямых улик... И вообще... чем скорее, тем лучше.

Вставая, Храмов успел заметить, что хозяин, прикрыв глаза ладонью, машинально вычерчивает на чистом листе перед собой маленькие кораблики голубого цвета. «Не легко тебе твой хлеб достается, — мысленно усмехнулся он. — Вот и чу-

дишь». Но уже у порога какая-то необъяснимая сила заставила его обернуться: хозяин сидел все так же, заслонив глаза ладонью и тихонько, как бы в такт каким-то своим затаенным мыслям, покачивался, и в расслабленной позе его не чувствовалось ничего, кроме опустошающей усталости. И в сознании Храмова внезапно утвердилась уверенность какой-то нерасторжимой запредельной связи с ним, этим человеком, выделявшимся среди многих широким, по-бабьи безбородым лицом.

Опасаясь слезки, Валентин до глубокой ночи бесцельно петлял по городу. С отчим домом его давно ничто не связывало, а использовать старые явки он не имел права. К тому же, пришлось бы подробно объяснять свое внезапное освобождение. Для этого сейчас у него не было ни сил, ни желания. Единственным местом, где бы его никто ни о чем не спросил, оставалась квартира Гершензона. Но, боясь подвести приятеля, Храмов долго еще не решался направиться туда, пока промозглая тьма не погнала его к желанному теплу знакомого дома.

С прерывистым колотьем в груди поднимался Храмов по обшарпанной лестнице черного хода: «Неужели съехал? Или того хуже — взяли? Тогда, хоть ложись и помирай: некуда идти!» Щеколда призывно звякнула изнутри, и в кухонной полутьме смутно обозначилось лицо Софьи:

— Вы! — глаза ее, казалось, заняли пол-лица.
— Господи!

Потом она сквозь слезы сбивчиво рассказала ему об аресте брата, о многочисленных провалах вокруг и о своем одиночестве. Узкие, мальчишечьи плечи девушки подрагивали у него под рукой, и он чувствовал, как жгучая испепеляющая жалость властно сжимает ему горло. Привлекая ее к себе, он уже знал, что с нею у них все будет всерьез и надолго, если не навсегда. Она отдалась

ему безропотно и просто, и этим только утвердила себя в своем на него праве. Ах, сколько дорог и дорожек исходила-изъездила она с ним, пока женская судьба не сложила ее плашмя за перегородкой казачьей хаты в глухой кубанской станице.

Тяжелые роды Софьи выбили Храмова из привычной колеи. Свалив дела на своего заместителя, он день и ночь просиживал у окна в горнице, чутко прислушиваясь к каждому стону и вздоху жены. По вечерам Храмов всматривался в мерцающие в логу огоньки и смутная тревога, вернее, предчувствие чего-то темного и неотвратимого в обозримом будущем начинало исподволь точить его душу. Головокружительная высота власти над ближним проходила в нем экзамен смертного томления.

Храмов обычно думал о тех, что лежали в логу одним цельным понятием они, но ниспадала ночь, свеча за свечой выявляли перед ним не вообще и х, а каждого в отдельности, и в душу его, сквозь пелену ожесточения начинало пробиваться чувство вины по отношению ко всему, что его окружало. Словно взяв не принадлежавшее себе, он отделил себя от остального мира неким магическим кругом, какой ему уже не дано переступить: «Чертовщина какая-то, сегодня же прикажу загасить и выставить караулы!»

Но свечи горели, а он стоял и не двигался с места, прислушиваясь к постепенно нараставшим стонам за перегородкой: «Кажется, скоро. Быстрее бы уж!» И не успело еще в нем утвердиться это его нетерпение, как яростный крик облегчающе выплеснулся из-за перегородки. И сердце его удушливо подкатило к горлу: «Лишь бы выдержала». И еще: «Что и говорить, красиво горят!»

С этим Храмов и встретил рождение первенца.

XLIII

Старшина торжественно проплывает мимо, оставляя меня наедине с клеткой, в которой я застаю стоящего на коленях спиной ко мне человека. Свеча над ним озаряет сутулую спину и черную поросль начавшей сесть головы. Самозабвение его молитвы сопровождается абсолютным безмолвием. Но — удивительное дело! — до меня отчетливо доходит полный смысл каждого, произнесенного им в душе слова:

— Господи, — явственно отзывается во мне, — смиренно предаю себя в руки Твои и да будет воля Твоя жить мне или умереть. Во всем Промысел Твой радостен и благ для меня. Всякое испытание, ниспосланное Тобой, я принимаю, как награду и милость, и благодарностью переполняется мое сердце. Если моя боль облегчит участь хотя бы одного страждущего, я готов переносить ее снова и снова. Если мое терпение поможет покаяться хотя бы одному заблудшему, я готов претерпевать вечно. Если моя смерть поспособствует еще одному прийти к Тебе, я умру, многожды благословляя имя Твое. Аминь.

С минуту он еще коленопреклоненно молчит, затем пружинисто вскакивает и поворачивается лицом ко мне:

— Я ждал тебя, — в сумраке мне видятся только его глаза: выпуклые, обжигающие, с колдовским мерцанием в коричневой глубине. — Ты должен был прийти именно сегодня.

— Что? — вздрагиваю я от неожиданности. — Ты меня явно с кем-то путаешь.

— Ты — Борис?

— Да.

- Храмов?
- Как будто.
- Я знаю тебя.
- Откуда?
- Потом поймешь.
- Кто ты?
- Неважно.
- Почему ты один?
- Меня везут.
- Ты под конвоем?
- Как видишь.
- Ты боишься?
- Чего?
- Одиночества.
- Я не один.
- Но если...
- Ни один волос не упадет с меня без Его воли.
- Куда тебя везут?
- Кто знает, но не все ли равно?
- За что, наконец?!
- Кто-то должен нести и этот крест.
- Мы где-нибудь встречались?
- Нет.
- Но ты назвал мое имя.
- Был знак и слово.
- Что же ты скажешь мне?
- Покайся.
- Я жил, как все.
- Но тебе дано, а им еще нет.
- В чем их вина?
- Скорее, их беда.
- Так, в чем?
- В соблазне. В соблазне кровью и ложью.
- Но Он мог предостеречь их.
- Они бы соблазнились снова, как соблазнялись всегда после поражения. Им казалось, удай-

ся подавленный бунт, жизнь их стала бы сплошным праздником и благоволением в человеках. Вспомни их легенды и песни об удалых атаманах, творивших бесчестие и разбой именем справедливости, вспомни их непреходящую тоску по кровавому возмездию за недоданную полушку и хамство околоточного, вспомни их извечную жажду казаться себе лучше, умнее, чем они есть на самом деле, и желание занять место вышестоящего, чтобы мстить и учинять расправу. Он дал им эту возможность! И теперь они захлебываются в собственной крови и грязи, не в состоянии понять, что с ними такое творится. Но когда им станет окончательно неумолимо и чаша страдания их переполнится, спасение придет к ним и они покаются и снова обратятся к Нему, уставшие от греха и скверны. И уже не сойдут с пути, предначертанного Господом. — Кончиками пальцев он касается решетчатой двери, та беззвучно подается, освобождая проход внутрь купе. — Если хочешь, войди.

- Значит, ты можешь уйти?
- Конечно.
- Что тебя держит?
- Я свободно избрал эту участь.
- Зачем?
- Был зов.
- Скажи, что мне делать?
- Иди к Марии.
- Ей тоже дано?
- Да.
- Она не одна.
- Отныне только с тобой
- Что будет дальше?
- Все сначала.
- Я выдержу?
- Я буду уповать.

— Как звать тебя?

— Молись за Марка. — Он вдруг опускается передо мной на колени. — А я помолюсь за тебя.

В глаза мне бросается бугристый шрам под черным пушком — резкая метина сбоку высокого лба.

— Что это? — Я слегка касаюсь рассеченного места. — Болит?

— Болит, но не здесь. — Дыхание его прерывается. — Болит там, под сердцем и еще глубже, внутри у меня... Им было от силы лет по пятнадцати, этим мальчикам из старого Пешта. Почти никто из них не плакал, они только смотрели на нас, только смотрели и больше ничего. Но сколько бы я ни жил еще, мне не забыть этих глаз. Мы стреляли в них почти в упор, и они падали без крика на цементный пол глухого подвала. Бесубийства затмил нам разум, в нас уже не оставалось ничего человеческого, мы с остервенением нажимали гашетки и мусть ненависти стучала в наших висках. Мне было тогда двадцать два, я был крещен, но Бог оставил меня, затем, чтобы обрести снова, много лет спустя. Они часто снятся мне, эти венгерские мальчишки из старого Пешта. В их вопрошающих глазах я вижу себя, молоденького лейтенантика, с лицом, затемненным ненавистью и тленом. Я не избуду этого никогда, ни за что, во веки веков... Прости меня!

— Я не волен.

— От себя прости.

— У тебя не было выхода.

— Но был выбор.

— Это сделал бы другой.

— Но это сделал я!

— Какая разница?

— Ты бы понял, если бы сделал это сам.

· · Это может случиться, я — служу.

- Для тебя это уже позади.
- Как знать...
- Я знаю... Иди... К ней иди.

Он встает, размашисто крестит меня и решетчатая завеса вновь возникает между нами. Я спиной отступаю в темноту и вскоре в стремительно удаляющейся перспективе, словно в окуляре перевернутого бинокля, остается виден лишь неясный контур его сутулой фигурки и язычок догорающей свечи над ним. Затем наступает тьма.

XLIV

Мария проснулась среди ночи с ощущением томительной жути под сердцем. Ее зябко пронзил страх реальной опасности пережитого, риска, какому она подвергалась. «Господи, — тряслась и обмирала Мария, — словно затмение нашло какое!» Откуда вдруг в ней прорвался этот зов? Что ей до женщины, которую она перед тем видела только мельком? Как, каким словом обозначить состояние, захватившее ее тогда: каприз, блажь, истерика? В поисках аналогий она перебирала в памяти минувшее и, после долгих блужданий сквозь потемки сует и случайностей, в ней целостно всплыло слякотное осеннее утро в деревне у бабки.

Это было в год Великой Амнистии, когда из лагунктов и тюрем стала растекаться во все концы огромного государства несметная армия указников¹ и бывших врагов народа. Штурмуя пароходы и поезда, они сотнями отлеживались и отъедались на пристанях и вокзалах, десятками забивали междугородние автобусы и попутки, в одиночку брели по большакам и проселкам: страна снова принимала отринутых было ее сынов в свое необъятное лоно. В то утро один из них постучался и в бабкино окошко. Был он худ, глазасть и небрит, но в изможденном облике его еще не пропала, чувствовалась повадка человека, жившего когда-то иной, куда лучшей жизнью, и в другом, куда более значительном виде. Просьба его ока-

¹ Указники — люди, осужденные по многочисленным специальным указам.

залась робка и ничтожна: он хотел места и дратвы, чтобы подлатать развалившийся сапог. Бабка только руками всплеснула, взглянув ему на ноги: «Батюшки-светы, да ты без ног останешься, а нука скидывай все, садись к печке, грейся!» Бабка Марии забегала, захопотала вокруг диковинного гостя, словно это был ее сын или, по меньшей мере, родственник. Подняв без мужа, убитого в гражданскую, четверых детей, — она не научилась только одному — сидеть сложа руки. В полдень гость был уже готов к новой и дальней дороге. «Спасибо, мать, — молвил он перед уходом, доставая откуда-то из самых сокровенных записок десятку и протягивая ее бабке, — поделимся, вот, пополам, по-братски». «Господь с тобой, — обиженно поджала губы та и перекрестила его, — не обессудь». «У меня в голове еще кое-что осталось, — легонько постучал гость истончившимся пальцем себя по лбу, — я тебя не забуду, мать». «Ишшо! — благодарно откликнулась старуха, закрывая за ним дверь. — Иди с Богом!» Сгорая от любопытства, Мария выскользнула следом за гостем в сени и долго смотрела в щель между досок на удаляющуюся по деревне фигуру одинокого путника и не спускала с нее глаз, пока смутный силуэт ее не растворился в сонной мути октябрьского дня. Лишь после этого, поворачивая в горницу, она случайно заметила на полувыбранной поленице у двери пестрый прямоугольник знакомой десятки: гость все-таки не удержался, оставил свою посильную плату. Подхваченная неведомой ей дотоле силой, Мария схватила бумажку и бросилась во двор. Не чувствуя босыми ступнями холода дождливой хляби, она бежала вдогонку ушедшему незнакомцу и белые серафимы любви и милосердия пели над ней свои сладчайшие гимны. Когда, догнав его, она молча протя-

нула ему смятую в кулаке десятку, что-то дрогнуло в нем, обмякло, засветилось, он порывисто подхватил ее на руки и понес обратно к дому, взволнованно нашептывая ей дорогой: «Славная девочка, бедная девочка, теперь я не сдамся, я просто не имею права сдать, ради тебя, ради таких, как ты. Будь они прокляты, мы еще посмотрим, кто — кого!» Мария не понимала, о чем он говорил, но дрожь и горячка его веры сообщилась ей, и она благодарно замирала у него на руках, млея от тепла и сочувствия. Отблеск той дороги к дому, затемненной потом множеством слов и событий, давно было стерся в ее памяти, но сейчас, возникнув из небытия, он снова озарил ей душу чистым и строгим свечением: «Слава тебе, Господи!»

В чуть приоткрытой двери замаячило осунувшееся лицо Жоры:

- Устала?
- Немного.
- Хочешь поесть?
- Нет.
- Может, выпить?
- Нет.

Он тихонько вскользнул в купе, присел на краешек дивана, взял ее руку в свою:

- Ты веришь мне?
- О чем ты?
- О нас. О тебе. Обо мне.
- Я люблю его, Георгий.
- А я?
- Это пройдет, Георгий.
- Что ты говоришь, Мария, подумай, что ты говоришь!
- Но это так.
- Я отказываюсь тебя понимать.
- Если бы не он, я бы не задумывалась.

- А я!
- Ты достоин лучшей участи.
- Но мне не надо лучшей!
- Пощади меня, Георгий.
- Я люблю тебя, Мария!
- Тебе так кажется.
- Я не смогу без тебя!
- Ты спас меня, Георгий.
- От кого?
- От самой себя.
- Чем?

— Тем, что принял меня всерьез. Я бы так никогда и не поверила в себя. Разве могла я думать, что у кого-то может быть со мной что-нибудь человеческое?

— Почему, почему не он, а я должен отказаться от тебя и уйти? В чем его право?

— Я люблю его. Но и это я поняла благодаря тебе, Георгий. Я поняла, что он ищет во мне и чего я до сих пор не могла ему дать. Когда-то, маленькой девочкой, я тоже мечтала о принце. Он представлялся мне эдаким молодцом с конфетных оберток, сплошь из достоинств и добродетелей. Но явился ко мне вполпьяна, затасканный шлюхами чуть не всех Бродвеев страны, в благоухании вчерашнего перегара — и я не узнала принца. Я подумала, что это пришел алчущий моих стареющих прелестей, пришел освободиться от мутной дури, отягощавшей его. Но мне было наплевать, я тоже хотела того, что и он; короткого забытья и даровой ласки. Где же нам было разглядеть друг друга в черном угаре пьянства и ругани! Но стоило мне узнать тебя, как в сердце моем пробудилось то, чего ему во мне не хватало. Я вдруг разглядела в нем такие достоинства и такие добродетели, что все принцы мира не могли

бы сочетать в себе их. Вот за что я благодарна тебе, Георгий...

— Зачем ты мучаешь меня, Мария!

— Прости меня.

— Мне будет трудно, Мария.

— Я буду помнить тебя, Георгий.

— Где бы я ни был, с кем бы я ни был, — только позови.

— Спасибо тебе, Георгий.

— Не забудь, Мария...

— Нет... Нет... Никогда.

— Куда ты теперь?

— С ним.

— Я желаю тебе счастья, Мария.

— И я тебе.

— Я поцелую тебя.

— Конечно...

Она увидела его лицо совсем близко от себя. Крылья белых ресниц взлетели над ней и в синей глубине, развершейся под ними, она увидела муку такой остроты и ослепительности, что не выдержала и закрыла глаза.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Я — летчик первого класса, майор авиационной службы, Георгий Жгенти, тридцати лет от роду, грузин по крови и рождению (не был, не был, не участвовал, не состоял) считаю своим долгом заявить, что никогда, ни при каких обстоятельствах, ни по чьему приказу рука моя не нажмет роковой кнопки. Во имя твое, Мария! Всегда, во веки веков, до скончания дней все живущее на земле, все созданное на ней природой и человеческими руками, все ее прошлое, настоящее и грядущее будет для меня свято и неприкосновенно. Во имя твое, Мария! Отныне никакое наказание, окажется ли это пытка, заточение, позор или смерть, не остановят меня в моем намерении. Во имя твое, Мария! Пусть в тихих долинах земли моих отцов, породившей величайшего из злодеев, рождаются охотники и поэты, которыми восхитится мир и о которых станут слагать легенды и песни. Пусть не сникают терпкие дымки над всеми ее шашлычными и хинкальными от Батуми до Кутаиси, и тучные чревоугодники выпаривают свои животы в серных банях над желтой Курюю. Пусть все девочки мира спокойно выходят по вечерам на панели своих столиц, продавая и отдавая даром любовь грубой половине рода людского, и да здравствует их ремесло! Я хочу умереть в своей постели и по возможности рядом с кем-то живым, но если мне суждено погибнуть насильственной или случайной смертью, то об одном молю судьбу, чтобы смерть эта была тиха и незаметна и не причинила никому хлопот. Я постиг сию ис-

тину за мгновение до того, как врезался в землю с грузом безумия на борту. Я навсегда утвердился в ней в объятиях с тобой, Мария! Передо мною вдруг словно разверзлась крошечная тьма и в сквозной, пронизанной светом дали мне воочию представились цель и смысл существования. Я не строю иллюзий по своему адресу, мне еще грешить и грешить, каяться и каяться, но к прошлому уже нет возврата и новая жизнь стучится в мое сердце. У меня такое чувство, будто я взошел на самую высокую гору в Сванетии и увидел сверху всю нашу землю, омытую одним дождем и согретую одним солнцем. Я понял: моя причастность с ней вечна и неразрывна и, горе мне, если я посягну на ее покой. В полетах мне приходилось бывать гораздо выше, но, стертая звуком и скоростью, ее суть ускользала от меня, теряясь в смутных пятнах и очертаниях. Что же я знал до сих пор, чему верил? Какие страсти меня волновали? Кого я любил или ненавидел? Смешно сказать, задержка с очередным производством казалась мне началом и концом мироздания! Пил, дебоширил в злачных вертепах, одну за другой менял девок, искренне считая, что живу, как говорится, на полную катушку. Помнится, в ночь перед тем памятным тренировочным полетом с адскими игрушками в бомбовых отсеках, мне снился странный сон, будто меня приговорили к высшей мере и ведут, чтобы привести приговор в исполнение. В сопровождении безликих конвоиров я блуждаю по лабиринту бетонных коридоров с единственной мыслью: бежать, спастись, вырваться. Но коридоры множатся и множатся впереди и ничто вокруг не предвещает конца этому тягостному пути. Факелы конвоиров выхватывают из душного сумрака лишь блоки осклизлых стен да ворс ковровой

дорожки под ногами. Близость неизбежного подступает к моему горлу, я было захлебываюсь криком, но в это мгновение где-то в самой дальней глубине коридора возникает крохотная звездочка. Искрясь и мерцая, она струится навстречу мне и постепенно заполняет собой ближайшую перспективу. Я бросаюсь к ней, к ее слепящему лучу, как к надежде и спасению и, уже сливаясь с нею, просыпаюсь выжатым и опустошенным. Кстати, этот полет мой ничем не отличался от всех предыдущих: обычное тренировочное дежурство для, так сказать, сохранения формы и боеспособности. Я благополучно поднялся и взял заданный курс. Я вел машину по замкнутому кругу, она послушно гудела у меня под руками и стрелки приборов вели себя, как чуткие флюгера в безветренную погоду. Сначала я почувствовал легкий толчок, затем слабое вибрирование корпуса и уже следом — резкое снижение высоты. Именно в этот момент я заметил у себя на рукаве ползущего муравья. Да, да, обыкновенного земного муравья! Затерянный, словно в расщелинах скал, в складках скафандра, он упорно продвигался к одному ему известной цели. Видно, по дороге на взлетную полосу походя скрестились наши пути и очередной полет мы начали вместе. Машину трясло, высота снижалась, приборы один за одним сходили с ума, а я все не мог оторвать взгляда от крохотного существа, разделившего со мною мое предсмертное одиночество. Кого мне благословлять за этот бесценный подарок, кому петь гимны и чьей милости быть обязанным? Ведь, если бы не она — эта почти микроскопическая тварь, порхать бы мне сейчас мелкой пылью в нашей родимой атмосфере. Только глядя на нее, на ее отчаянную решимость достичь цели, я нашел в себе силы взять себя в ру-

ки и попытаться посадить машину. Земля ползла и извивалась подо мною, словно девственница в минуту насилия, и я, уже готовый с налету овладеть ею, собирал последние свои возможности, чтобы не сгореть прежде времени и не рассыпаться в прах у ее подножья. Когда я, наконец, обрушился на нее, мне запомнилось единственное: собственный крик с последующей затем сладкой мукой плотского извержения. Я никогда, никому не рассказывал об этом, я доверяю это только тебе, как на духу, Мария! Потому что, едва я увидел тебя, помнишь, в том цветастом, сиреневом по розовому, сарафанчике без плечиков, в табачном дыму, среди пьянки, круговорот жизни остановился и повернул в другую сторону. Все в мире началось заново: восход и закат, ливень и солнце, рождение и смерть, молчанье и слово. Ты помнишь нашу первую и последнюю ночь, Мария? Ее одной хватит, чтобы до конца дней считать себя мужчиной, а если судьбе будет угодно подарить мне такую вторую, я почту свою жизнь отмеченной свыше. Много раз на веку довелось мне взлетать и садиться, испытывая при этом восторг и упоение только что оперившейся птицы, но взлетов и посадок, подобных тем, что совершал я в ту сумасшедшую ночь, когда в глазах у меня цвели эдемские сады и в голове заливались праздничные хоралы, я не забуду и за гробовой доской. Ответь, Мария, ты была счастлива тогда, со мной? Неужели нега прекрасного забытья в твоём лице могла быть отражением одной только похоти? А слова, которые ты мне шептала при этом, ты помнишь их, Мария? Ты любила меня в ту ночь? Скажи мне «да», Мария, и сделай меня счастливейшим из людей! Я не отдал бы тебя никому, но ты не из тех женщин, которых берут с бою, а из тех, в которых растворяются без остатка. Я сего-

дня уйду, оставлю тебя с ним, ты сделала выбор, какие могут быть разговоры, но уйду затем, чтобы ждать — ждать того часа, той минуты, когда ты вспомнишь обо мне и позовешь. Но даже если этого не случится, если ты найдешь в нем все, чего искала до сих пор и чему верила, я, сколько бы ни жил, в каждой женщине, которая ляжет со мной, буду видеть тебя, твою грешную и святую душу, твою грешную и святую плоть. Да святится имя твое, Мария!

XLVI

Когда она открыла глаза, его уже не было. За окном сияло, радужно переливалось в туманной поволоке над придорожными елками беззвучное, как сон новорожденного, утро. Воздух, казалось, можно было размешивать, до того тугим и недвижимым он ощущался. В такие утра жизнь человеку представляется особенно целомудренной и полной смысла. Ночь, смыв заботы минувшего, как бы предлагает ему: попробуй еще раз, поверь в себя и начни!

Напротив нее, за столиком у окна сосредоточенно пыхтел Фима, пища и перечеркивая написанное в клеенчатой ученической тетрадке. Младенческий лоб его при этом смешно морщился, а в округлом, под черной щетинкой лице отчаянно противоборствовали сомнение и решительность.

— С утра пораньше, — снисходительно приветствовала его Мария, — за мемуары?

— Куда мне! — Фима поднял на нее жалобные глаза. — Маленькое перераспределение подарочных кредитов... Я вчера тоже немножко позволил себе... Жид, сами знаете, — печаль и сожаление источали его, — за компанию удавится.

— Тяжело?

— Морально...! Ведь у меня — семья. Хорошая семья, скажу я вам, жена Роза — чистое золото. А если бы видели мою дочку! Просто куколка. А как она играет гаммы! Что вам там какой-то Рихтер, Ростропович и Менухин! У моей маленькой Ривы золотые пальчики... После того, что я себе позволил, я просто босяк. Я обещал малышке шубку, а Розе чулковые сапоги и мало ли, что еще я обещал своим женщинам. Теперь все надо

пересчитывать: или Рива будет иметь шубку или Роза будет не иметь сапоги. Я воткнул нож себе в спину. Что скажет моя семья? Это же форменная катастрофа! Не смейтесь, пожалуйста, вы не знаете, что такое для еврея семья. Из еврея всю жизнь дают сок. Еврей сидит у всех в горле вместо косточки. Если еврей плохо живет, так ему, подлецу, и надо, если еврей живет хорошо, значит он грабитель и кровопийца христианских детишек. Еврей только и делает, что спекулирует, шпионит в пользу сионистов, отравляет вождей всего прогрессивного человечества. Словно еврею больше и делать нечего, а кусок хлеба ему падает неизвестно откуда. Куда еврею податься от всего этого? Я вам прямо скажу: только в семью. Семья для еврея — Брестская крепость, бомбоубежище, его кремль и его раввелин. В семье еврей — Давид, Самсон, Голиаф, герой Советского Союза, Александр Матросов и Юрий Гагарин в одном лице. Пока у меня есть семья, я живу, делаю свой гешефт, считаю себя человеком. Вот, что такое, девочка, семья для еврея, а вы говорите пфе...

— Простите, Фима.

— Ну, что вы, что вы!

— Вы меня не так поняли...

— Ах, это пустяки!

— В общем — мир?

— Заметано...

Фима снова углубился в свои головоломные пересчеты и тучи решительности и сомнений вновь заскользили по его младенческому челу.

Пожалуй, впервые за эти дни по-настоящему Мария задумалась об оставленных муже и дочери: как они там, что с ними? Сейчас, когда они были вдалеке от нее, она испытывала к ним нежность. Особенно к дочери, с которой ее связывало не только материнское чувство, но и горькая память

о прошлом. Самим своим существованием девочка утверждала Марию в ее праве не доверять окружающим, расплачиваясь с обманувшими ее их же монетой. Часто сетуя на судьбу, предназначившую ей раньше времени такую обузу, Мария, тем не менее, по-своему любила дочку и была к ней искренне привязана. Иное дело — муж. Здесь все обстояло и проще, и сложнее. Конечно, ни о каких чувствах не могло быть и речи, их соединяла лишь молчаливая договоренность о взаимном невмешательстве, но груз благодарности к нему за его тепло и великодушие не позволял ей разом освободиться от него. С Борисом или нет, но она уйдет, так долго продолжаться не может, и все же в думах ее о нем он представлялся Марии человеком близким и даже в какой-то степени родственным. Помнилось, как после первой их размолвки, она уехала тогда к своим в Ригу, он примчался к ней с повинной и плакал, и просил прощения, смахивая слезы привезенным в подарок падчерице плюшевым медведем. Да мало ли чего было у них в эти, заполненные всякой всячиной годы совместного сосуществования! Попробуй их забудь, вытрави безнаказанно из сердца. Она прекрасно понимала, во что обойдется ему их предстоящий разрыв. Кроме нее, у него никого и ничего не было. Для него она была единственным якорем спасения и надежды. Он стыдился своей профессии, презирал газету, в которой работал и которая обеспечивала ему достаточный заработок и положение. Он ненавидел людей, среди которых жил. Жизнь отпустила ему так мало из своих щедрот, что поздняя встреча с первой любовью сделалась для него драгоценным даром и знамением. Он держался за нее с верой новообращенного и ревностью страсто-терпца. Ее температура волновала его больше, чем возможность термоядерной катастрофы, ее бо-

лезнь всякий раз становилась в доме драмой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Судьба разъездного очеркиста постоянно гоняла его по городам и весям страны, он неделями пропадал в командировках, но где бы он ни находился, она знала, что в десять вечера, с разницей до получаса раздастся звонок и знакомый, чуть тронутый возрастом голос пророкочет в трубку: «Здравствуй, как ты себя чувствуешь?» Что греха таить, она привыкла к этому самоотверженному обожанию, к этой преданности, к этим его ночным звонкам. Но жить с ним в силу долга и жалости становилось для нее с каждым днем все оскорбительней и невыносимей. Теперь же, отвергнутая Борисом, она и думать об этом не могла без содрогания. Ее мутило от одного воспоминания о прожитых в супружестве годах. Сейчас ей нужен был только Борис или никто. Попранная, униженная, осмеянная, лишь бы около, рядом, вблизи. Пусть пропадом пропадут и катятся к чертовой матери все на свете молочные реки и кисельные берега, она пойдет за ним сквозь любые огни, воды и медные трубы, и гори оно все вокруг синим пламенем!

Возвращаясь к действительности, Мария облегченно вздохнула и повернулась в сторону Фимы:

— У вас не найдется сигареты?

— Вы курите? — Брови Фимы поползли вверх. — Никогда бы не сказал, такая цветущая женщина.

— Иногда... По настроению.

— Ай-ай-ай!

— Смешной вы, Фима.

— Курить вредно, девочка.

— А если хочется?

— Мне бы ваши заботы!

— Вы думаете, не хватает?

— Какие у вас могут быть заботы, пфе! Танцы-шманцы, наряды-шарады, конфеты-котлеты. Хотел бы я ворох таких забот себе и своим детям, скажете тоже!

— Вы хоть любили когда-нибудь, Фима?

— Ах, девочка, что вы такое говорите! Если вам сказать, нет, таки — да. Дай Бог вам и вашим детям такую любовь. Я горел, как на огне, и мерзнул, как в «зисовском» холодильнике. У меня выпадал по ночам волос с головы и болели зубы. У меня сыпь вылезала через все тело и тряслись руки. Вот какая любовь была у меня. Еще бы самое немножко и я забыл свою Розу. Слава Богу, все обошлось по-человечески.

— Вам повезло, Фима.

— Хотите меня послушать, девочка?

— Попробую.

— Поверьте мне, Ефим Гершензон знает людей. Этот ваш Боря стоящий парень, помяните мое слово. У него хорошее сердце и светлая голова. Пьяный, сами понимаете, проспится, было бы чем ворочать, чего ворочать — найдется, не сойти мне с этого места. Вам нельзя его бросать, девочка, вы — прекрасная пара.

— Ах, Фима, если бы он этого хотел...

— Это не разговор, девочка. Хотел — не хотел, понял — не понял, тяпки-ляпки, шеры-машеры! Женщина должна брать своего мужчину приступом, как дзот, как автобус в час «пик», как кассу Одесского стадиона, когда «Черноморец» играет финал. Чтобы у вашего мужчины оставался лишь один выход: броситься именно на вашу амбразуру и прикрыть ее, извиняюсь, своим телом. Вы следите за моей мыслью, девочка?

- Стараюсь.
- Я вам желаю добра.
- Значит...
- Короче: идите к нему.
- А если он...
- Это пустяки. Подумаешь, мужчина бесится, поверьте, его не убудет, а любит он только вас.
- Где мне его теперь искать!
- Ищите там, где пьют.
- Отвернитесь, Фима, я приведу себя в порядок...

Ах, как Мария волновалась в эту минуту! Мысленно она уже была там, с ним, в нем. Ей верилось, что на этот раз она пробьется к нему, к его сердцу, к его доверию и пониманию. В ней действовал безошибочный инстинкт, ясное предчувствие долгожданной победы. «Он должен, он обязан в меня поверить, — упрямо тряхнула она головой, подаваясь к выходу. — Если не он, то кто же?»

XLVII

Смена дня и ночи перепутались в моей голове. Кажется, только что я оставил за дверью тюремного пульмана полдень, а сейчас, выйдя в тамбур, застаю вокруг себя раннее утро. Мокрые от зоревой измороси поручни лестницы скользят под рукой. Над полосой отчуждения тянется легкая паутинка тумана. Я бесцельно бреду вдоль состава и вдруг чуть не вскрикиваю от удивления. У знакомой мне подростковой елочки, в том же, в каком я их оставил, положении, выявляется та же безликая компания, с тем же курносым блондином во главе. Как говорится, нарочно не придумаешь! Но, что уж совершенно непостижимо, это присутствие среди них Ивана Ивановича! Он восседает здесь явно на равных, с поразительной естественностью вписавшись в их монолитный круг. «Каков гусь, — недоумеваю я, — словно всю жизнь только этим и занимался!»

— Садись, — вяло кивает мне блондин на газету рядом с собой. — Ну что, говорить или в молчанку играть будем? — Белесые брови его вздрагивают в еле заметной усмешке. — Ладно, шучу... Пить будешь?

С тех пор, как я их оставил, количество закуски и выпивки у них не только не убавилось, но даже несколько возросло. Бутылки, словно шлюзы, заполняются по мере опустошения ровно до уровня этикеток, и еда, меняя расцветку, плывет вдоль круга конвейерным порядком: заливную рыбу сменяет квашеная капуста в репчатых кочанах, малосольные огурцы следуют за маринованными грибами в ореоле матовой сметаны, пупырчатые курицы уступают место благородной желтизне ли-

мона, слегка присыпанного солью и сахаром. Хочется прямо-таки с головой зарыться во все это гастрономическое великолепие и уже не выбираться оттуда до окончания дней.

— Разве за компанию, — безропотно капитулирую я и опускаюсь на траву. — Здравствуйте.

Стакан, налитый до краев, словно янтарная капсула, подплывает ко мне, я вылавливаю его из туманного пространства, и через мгновение, обжигая гортань, внутри у меня взрывается живительное тепло.

— Кристалл завязался, — комментирует блондин, понимающе подмигивая сотрапезникам. — Душа — сок дела.

Двое в джерсовых рубашках молча и многозначительно переглядываются друг с другом. Тот — третий, с подбородком боксера, равнодушно пучит глаза в мою сторону, старательно обгладывая куриный бок. Иван Иванович держится, будто незнакомый, — отвлеченно и чопорно. Удивительно, но его неизменное щегольство, даже яркий галстук со сверкающей во все стороны заколкой, легко вписывается здесь в однообразие общего тона.

— Еще? — снова испытывает меня курносый виночерпий. — Какого?

— Все равно.

— Тогда «грабительской», сразу в норму войдешь.

— Годится.

Вторая приходится мне как раз впору: мир вокруг принимает танцующие очертания. Сквозь пласты тумана мимо меня начинают дрейфовать смутные лица собутыльников.

Боксер:

— Готов.

Первый джерси:

— Спекся козлик.

Второй джерси:

— Не гуляй в лесу, лес кусается.

Курносый фас с белесыми бровями склоняется надо мной, загораживая от меня окружающее:

— Не слушай их, сынок! — Неподдельная мука сквозит в его светлых, с истончившейся зеленью глазах. — Разве это люди? Это идолы из прелых ракушек. Им хватит одного хорошего ветра в темную ночь, и утром от них следа не останется. Ты мне нравишься, и я расскажу тебе кое о чем, сынок, тебе это пригодится. Ты думаешь, мы живем, сынок? Разве это жизнь, родимый, разве это существование! Сплошная карусель над пропастью: сошел, прыгнул и нет тебя, с концами, понимаешь? А у меня, брат, дочь, маленькая девочка, страдающая диабетом. На кого я ее оставлю, если сойду, прыгну? А? Ты мне ответь, сынок? Молчишь? То-то! Отсюда принцип: если нет врага — его надо выдумать, другого не дано. Вот мы, к примеру, сидим с тобою разговоры разговариваем, пьянца давим, пайковым грибочком закусьваем, а идеологический диверсант уже плетет вокруг нас свою коварную паутину. Вон, видишь, этот хлюст в модном галстучке с заколкой, смотри, как приспособился, замаскировался, вроде свой в доску, а поскобли его попробуй, что там у него под манишкой? Бездна, мрак, моральное и политическое разложение! Эх, сыночек, кровиночка моя, золотой ты мой, аметистовый, дорого мне эта закуска, эта марочная склизь обходится, чистой кровью, можно сказать, кажинный день харкаю. Прости ты меня, сынок, Христа ради, Господа нашего, а я тебя за это у нас на учет поставлю. И в случае чего, камеру с солнечной стороны. Во как!..

Где-то на грани абсолютной тьмы я слышу убаюкивающий голос Ивана Ивановича:

- Не спите.
- Почему?
- Мы должны идти.
- Куда?
- Увидите.
- Зачем?
- Узнаете.
- Когда?
- Сейчас.
- Я немного посплю.
- Нельзя.
- Мне холодно.
- Мы уже почти пришли.
- Я замерзаю.
- Это близко.
- Где же, наконец!
- Здесь... Смотри...

Если есть понятие «ничто», то я медленно погружаюсь именно в это состояние.

XLVIII

Даже в самых бредовых своих предположениях он — Храмов — не смог бы вообразить, что это произойдет так буднично и просто!

Ночью Валентина Алексеевича разбудил бригадир. В полусумраке едва освещенного барака его глаза мерцали тревогой и нетерпением:

— Давай на вахту, — шепотной скороговоркой прохрипел он. — С вещами!

Бригадир исчез так же мгновенно, как и появился, шурша уже над кем-то рядом. В разных углах барачного блока заваривалась вкрадчивая возня. Думать было, намечался этап. В душу пахнуло жарким холодком предстоящей дороги. От замороженных насквозь окон ватным паром исходила февральская стужа. Сейчас, перед тягостной неизбежностью, которая ожидала его, в нем исподволь закипало ожесточение: «Нас не жалко, себя в такую холодину поберегли бы!»

Собирался Храмов не торопясь, потому как по опыту знал, что всякая в этом деле небрежность — лишняя складка на портянке, плохо перепоясанный ремень, подгнивший шнурок ботинка — может обернуться в дороге непоправимой бедой. За три года мытарств по лагпунктам и пересылкам Валентин Алексеевич научился безошибочно определять степень дальности всякой новой командировки. На этот раз, судя по тому, что собирали ночью и только политических, дорога маячила дальняя. «Опять победители чего-то не поделили! — Внутренне он уже давно отделил себя от своих недавних единомышленников, четко деля окружающих его людей на мы и они. — Отыграются теперь».

К выходу Храмова сопровождала негромкая разноголосица:

— Куда гонят?

— А тебе не все равно?

— Может, в Сочи?

— Остряк!

— Спокойнее, товарищи, спокойнее, без паники...

— Ладно, не митингуй, без твоих лозунгов тошно...

— В такой мороз хороший хозяин собаку из дому не выгонит.

— Это — хороший!

— Я и говорю...

Во всю длину пути до вахты, метраж в десяти друг от друга вытягивались стрелки надзор-службы. В их угрюмой молчаливости чувствовалась едва скрываемая угроза. ««Неспроста это, ой, неспроста! — насторожился Храмов. — Что-то затевают, сукины дети!»

Рядом с ним возник и, кося на него искательным глазом, порывисто задышал Никола Окуджава, ближайший его сосед по бараку:

— Как думаешь, что будет? — у бывшего грузинского прокурора заметно сдавали нервы. — Куда повезут?

— Голь на выдумки хитра, — нехотя отозвался Храмов. — Тем более, голь политическая.

— Дальше как будто некуда, разве что на Северный полюс.

— Не исключено.

— Все шутишь, Валя.

— Еще на допросах отвык. — Избегая затравленных глаз товарища, он прибавил шаг. — И тебе советую.

Перед вахтой, на световом островке под фонарем толпилось начальство, среди которого выде-

лялся властной осанкой высокий здоровяк с одним ромбом в петлице шинели. На безбородом расплывчатом лице его хищно светились плоские, кошачьего разреза глаза. Равнодушно воспринимая плескавшееся вокруг него подобострастие лагерных чинов, он пристально вглядывался в мрачные шеренги перед собой, словно бы высматривая среди них кого-то, единственно ему необходимого.

Сладкая жуть давно минувшего времени мгновенно обожгла Храмова. В его опустошенной обидами памяти вдруг явственно забрезжило это женоподобное лицо с ясными и по-кошачьи неподвижными глазами. Он мог бы поклясться сейчас, что слышит оттуда, из далекого далека пробивающийся к нему знакомый, с хрипотцой голос: «А в революцию не пробовали? Нынче все вроде вас туда идут». Наваждение было так полно и осязаемо, что двадцать с лишним немислимо долгих лет показались ему одним, слитным с сегодняшней ночью мгновением. «Вот уж действительно, как две капли, — приходя в себя, заключил он. — Может, родственник и даже близкий?»

После построения от группы под фонарем отделился начальник надзорслужбы Копейкин — высокий, цыганистого вида капитан, слывший в лагере молчуном и нудягой, — и, распахнув перед собою ученическую тетрадку в коленкоровой обложке, зарокотал пропитым басом:

— Первый барак!.. Шилков Александр Петрович... Год рождения девятьсот третий, уроженец города Саратова, русский, статья пятьдесят восемь одиннадцать, пять и пять!.. На выход!

В студеном воздухе голос Копейкина звучал, как в узком тоннеле, прерывисто и резко. Вызванные с молчаливой готовностью торопились к вахте и, едва обозначившись в ее дверном проеме, исчезали за зоной.

Храмов снова насторожился: дорога начиналась без обычного в таких случаях шмона*. По рядам беззвучно засквозила тревога. Пар от дыхания множества людей стал тяжелее и круче. Позади Валентина Алексеевича закружил шелест:

— Чего-то не то, братцы...

— На погрузке обшмонают.

— Не видишь, начальство, вот и устраивают показуху.

— Многовато их, вроде, для одного этапа.

— Ревизия, видно.

— По мертвые души.

— Еще живем.

— Вот именно, еще...

Дуновение опасности лишь коснулось Храмова, лишь подступило к нему, но он уже весь напрыгся и похолодел. Когда очередь, наконец, дошла до него и его фамилия, едва возникнув, канула в морозной тиши, глаза комбрига под фонарем мгновенно замерли на нем, и в зыбкой глубине их, во всяком случае Храмову так показалось, вспыхнула въедливая заинтересованность. Путь со своего места до вахты Храмов проделал, ощущая на себе пристальное внимание, оттуда, из-под фонаря: теперь они больше не существовали порознь, каждый из них в эту минуту дополнял другого.

За зоной эков выстроили по четыре в ряд, разводящий прокричал свое обычное «шаг вправо, шаг влево...» и колонна тронулась по наезженному зимнику к черневшему впереди лесу. Сбоку, со стороны тундры веяло жестким хиусом**. Дышать с каждым шагом становилось стесненнее. Колонна отрешенно затихла: каждый старался сберець в себе то призрачное тепло, какое еще

* Шмон — обыск (жарг.).

** Хиус — морозное поветрие (диалект.).

оставалось в нем от недавнего сна. Слышен был только шорох сотен подошв о подмороженную корку дороги.

Где-то почти у самого леса в хвосте шествия возникла и пошла множиться от конвоира к конвоиру предупредительная команда:

— Посторони-и-ись!.. А ну, с дороги!.. Сворачивай живее!.. Еще!.. Еще!.. Еще!..

Сжимая ряды, колонна стала поспешно тесниться к обочине и теснилась до тех пор, пока правофланговые не ступили в снежную целину. Мимо рядов, мелкой рысцой, плавно переваливаясь с полоза на полоз, проплыла упряжка с широкими розвальнями, сидя в которых, уже знакомый комбриг рассеянно скользил взглядом по фронту. И снова, стоило лишь ему сойтись глазами с Храмовым, в них, в самом их истоке вспыхнули, зажглись блестящие точки, будто у кошки при виде добычи, а по вялым губам скользнула, Валентин Алексеевич это определенно отметил, снисходительная усмешка. «Возьми себя в руки, Храмов. — У него даже ладони вспотели. — Ведь это же бред, этого не может, не должно быть!»

Впереди, из чернильной синевы ночи, резко выделилась темная полоса леса. Люди инстинктивно ускорили шаг, спеша к спасительному заслону чащи.. Но когда дорога, миновав опушку, втекла, наконец, в густой ельник, ведущий конвоир неожиданно свернул на отплеснувшуюся от нее, едва пробитую колею. По рядам прокатился встревоженный ропот:

— Куда же это нас?

— Лагпункта, вроде, здесь не слышать было.

— Заставят — построим.

— Это на зиму-то глядя?

— В гробу их мать, чего задумали!

— А ну прекратить! — взмыл над головами пропитой хрип Копейкина. — Ишь разговорились, рвань балалаешная!

Колея вдруг круто взяла под гору и вскоре внизу обнажилось, оттененное береговым ельником речное русло под ровным покровом девственного снега. «Янги-Ага, — безошибочно определил Храмов, отмечая сбоку от дороги темное пятно вздыбленной над рекой теснины, на расширение которой его гоняли минувшим летом. — Зачем это нас сюда, в самом деле?»

Через несколько шагов он увидел, как голова колонны смутно обозначилась на расплывчатой белизне под берегом.

Аспидная лента шествия змеилась по ленте фарватера до тех пор, пока сзади их не нагнала очередная команда:

— На местееее-е!.. Шаго-о-ом а-арш!.. Смирно-о-о-о!..

Колонна, наподобие растянутой гармошки, начала сжиматься к середине и, по мере уплотнения, в ней матерел, креп взволнованный гул, изредка распадавшийся на крики и голоса:

— В чем дело?

— Чего мудруют, гады!

— Совесть поимейте!

— Нашел у кого спросить!

— Почему стоим?

— Гады-ы-ы-ы!..

Против обыкновения, неумолимая в таких случаях надзорслужба безмолвствовала. Конвой как бы внезапно исчез, растекся в черном безмолвии леса на берегу. И, пожалуй, только тут до Храмова в полной мере дошли смысл и суть происходящего. Сердце, как в затажном падении, обморочно смолкло и сразу же следом за этим резко и бесперебойно задергалось. Ноги словно об-

мякли. Нет, это не было для него неожиданностью, много раз до этого моделировал он в своем воображении грозивший ему конец, но сейчас, когда смерть встала лицом к лицу с ним, все в нем вдруг опамятовалось и запротестовало: «Вот так, здесь, по-собачьи! Нет, не хочу! Будь они прокляты, не желаю!»

Храмов, уже не помня себя, рванулся туда, к черневшему вдоль берега ельнику, и последнее, что он услышал перед тем как упасть под первой же пулеметной очередью, был голос Окуджавы:

— Куда ты, Валя!.. Зачем!.. Нельзя туда!.. Берегись, Валя!..

В падении, за мгновение до забвения, впереди него как бы развернулась тьма и в узкой перспективе, открывшейся ему, он увидел плотную фигуру человека с ромбом на отворотах шинели, прицельно метившего в него из пистолета. «Неужели тебе мало прошлого, негодяй! — хотелось крикнуть Храмову, но крик, захлебнувшись, ушел внутрь, разрывая в нем сердце и память. — Неужели мало!»

Очнулся Храмов от ноющей боли в плече, под тем же, только кое-где помеченном звездами небом. Окрепший ветер завинчивал вокруг него вьюжные водовороты. Храмов попробовал было пошевелиться и даже после предельного усилия перевернулся на бок, но одеревеневшее тело едва слушалось его, и он понял, что ему еще только предстоит выдержать самое невыносимое: свою медленную гибель среди заснеженной тайги.

Всего в нескольких шагах от него, уже занесенное метелью, распласталось тело ринувшегося в последнее мгновение за ним Окуджавы. Рука грузина, со скомканной в кулаке варежкой, застыла в призывном движении: он словно бы все еще предостерегал товарища от грозившей тому

опасности. Храмов не нашел в себе решимости проследить взглядом дальше, в сторону дороги, и обессиленно закрыл глаза. И вся тоска, вся горечь, иссушавшие его последние, отмеченные пыткой и этапами годы, сложились в нем мучительным недоумением:

— За что?

С глухим стоном Храмов уткнулся лицом в снег, и в то же мгновение перед ним, в незрячем его мире вспыхнули, загорелись свечи, сотни, тысячи свечей. Под голубыми парусами предсмертного бреда свечи плыли ему навстречу оттуда, из далеких сумерек кубанской зимы двадцатого года и никакая сила, кроме его собственной смерти, не могла теперь их погасить. Они постепенно заполняли его своим ровным светом, их гибельный жар разрастался в нем и, наконец, он не вынес зажженного ими пламени и затих, и последний вздох отлетел от него.

И полярная ночь снова сомкнулась над Янги-Агой.

XLIX

— Вы спрашиваете, кто я, мой мальчик? Это долгая и грустная история, Боря, вряд ли она будет вам интересна.

— Но все-таки?

— Какое это имеет для вас значение!

— Я хочу знать, — с трудом возникаю я из небытия. — Какого чёрта, действительно!..

В глаза мне слепяще опрокидывается полуденное небо. Сквозь куст, под которым я нахожусь, струится ровный солнечный свет. Чуть поодаль от меня, беспечно глядя над собой, лежит Иван Иванович и лучистая бабочка заколки то и дело вспархивает у него на груди.

— Пестро и не очень значительно, — лениво перекатывает он в губах сухую былинку. — Этокое провинциальное шапито.

— Ну? — Меня размывает грубоватое озорство. — Я, наконец, имею на это право.

— Что вы, ей-Богу, хотите от меня, Боря! Я обыкновенный червь весьма преклонного возраста, обремененный болезнями и грехами. Я много видел, больше слышал, но еще больше почувствовал. На своем веку я прошел все мыслимые лагеря от первых в Соловках, до последних в Бодайбо. Я давно разучился чему-либо удивляться и о чем-либо сожалеть. В последний раз, выйдя на волю, я даже решил было остаться там же в качестве вольнонаемного, чтобы провести остаток дней среди глухой тайги, вдали от соблазнов осатаневшей цивилизации. Но, к сожалению, очередь на жилье в бывших лагерных бараках, приспособленных под приисковые общежития, оказалась так велика, что я имел шанс попасть ту-

да не ранее конца века. Я не мог позволить себе подобной роскоши, времени у меня оставалось в обрез, вторые петухи уже расправляли шеи для тайного благовеста. Зов крови слышался в моем сердце, и даль, как говорится, манила новыми горизонтами. В последнее время я работал в музее антирелигиозной пропаганды, неподалеку от столицы, в крохотном и поистине старорусском городке. Директор, некто со стертой фамилией и многоэтажным именем-отчеством времен Очакова и покоренья Крыма, сочетал свою административную деятельность с коммерческой лепкой: сравнительно недурно он копировал в глине изображения древних млекопитающих для краеведческих богаделен. От заказов не было отбоя и ему пришлось нанять помощника, то есть меня. Во мне, знаете, Боря, есть эта творческая жилка, я даже, поверите, гладью вышивать умею. Особым спросом у нас пользовались динозавры и питекантропы. Не знаю, чем питекантроп обидел заказчиков, но за динозавра они платили дороже. В общем, доисторическая фауна давала вполне приличный приварок к той мизерной зарплате, которая полагалась нам по штатному расписанию. Дальнейшее не вызывает ничего, кроме скуки: донос, обегаэс, процесс. Как видите, все на «с». В результате, я снова не у дел и, следовательно, у меня оставалась одна дорога — на юг. Прочее вы знаете.

— И это все?

— Я упустил разве что второстепенные детали.

— Куда же вы теперь?

— В пространство, Боря, в нем хватит места для всех.

— При вашей уживчивости...

— Вы молоды, Боря, поэтому моя уживчивость вам кажется беспринципностью. Но это не так, мой мальчик. Я так долго жил и так много пережил, что каждый человек, злодей он или праведник, по моему глубокому убеждению, достоин, если не любви, то, во всяком случае, сочувствия. Приятен он мне или нет, я стараюсь не укреплять его в убеждении, что весь мир — бардак, а люди — бляди. Пусть это сделает кто-нибудь другой, у меня на это рука не поднимается. Я лучше попытаюсь облегчить ему существование, хотя бы такой малостью, как доброжелательность, она отнюдь не обременительна. Порою, когда я вижу, как одержимые очередной химерой, они бросаются и терзают друг друга, как кровь и злоба закипают в их, потерявших память глазах, мне хочется плакать, жалость и горе душат меня, но, к счастью или несчастью, я давным-давно выплакал все свои слезы, а если бы я все-таки когда-нибудь заплакал, то источился бы, истек в этом своем плаче без остатка, так больно и тягостно мне за их несостоявшиеся души. Я беден и стар. Боря, очень стар, мне нечего подарить им, кроме сострадания. Да — одного только сострадания...

Я украдкой скашиваю взгляд в сторону Ивана Ивановича. Неожиданно заострившийся профиль его на густом фоне лесополосы выглядит молодо и резко. В нем не остается ничего от того человека, к облику которого я привык, он, словно бы перерождается на глазах, высвобождая свою новую плоть, как гусеницу из кокона. Нет, он совсем не так стар, каким хочет казаться! Скорее наоборот, мне следовало бы относиться к нему с высоты старшинства, снисходя к его порокам и слабостям. Откуда в нем вдруг эта легкость и острота профиля, этот стремительно удлинившийся

контур фигуры, эта по-юношески угловатая линия руки?

— Но если они не нуждаются в сострадании? — осторожно возражаю я. — Тогда что?

— Тем хуже для них, Боря, тем хуже для них, — вздыхает он. — Да спасет их Господь.

— У них свои заботы.

— Разве это заботы?

— А что же?

— Суета сует и всяческая суета. К тому же, чаще всего кровавая. Пора бы в память прийти.

— От чего?

— От себя самих. С душой наедине побыть, спросить себя, зачем живут, по какой-то такой надобности землю топчут?

— Некогда, времени нет.

— И у вас?

— Как у всех.

— Попробуйте сейчас.

— Какой смысл?

— Смысл появляется не перед, а в результате, Боря.

— Ой ли?

— Попробуйте.

— Принимался... Не получается. — Его профиль ускользает от меня, размываемый полуденным маревом. — Бред какой-то в голову лезет... Чушь... Мираж, эдакая фата-моргана.

— Бред — зеркало нашей подспудной памяти, Боря... Правда, несколько искаженной. Если немного напрячься, то, как говорится, по деталям изображения можно собрать что-то целое.

— Что это?

Я мог бы поклясться сейчас, что глаза у меня открыты, но, как ни странно, высь над моей головой резко сменила окраску, будто слегка подси-ненную ее поверхность вдруг щедро разбавили

цементной пылью: она увиделась мне пасмурно низкой, по-городскому дымной, пугающе узнаваемой. Я внезапно осознаю себя маленьким мальчишкой в нашем дворе в Сокольниках и знакомые голоса обступают меня...

Кружится, кружится вокруг да около пропитой тенорок дворника дяди Васи Лашкова:

— Жизнь наша бекова, нас дерут, а нам некого... За что боролись, на то и напоролись... Паньы дерутся, а у холопов чубы трещать... Перенесение святых мощей из кабака в полицию... Вчерась грязь, нынче — князь, вот и вся освобождения... Чем только Бога прогневали!

Следом за ним монотонно вступает Лева:

— Если бы мне дали сыграть! Хотя бы один раз. Только одну единственную роль, одну единственную: Федю. Федю Протасова! Ах, как бы я сыграл его, как бы сыграл! Я, может быть, и рожден-то лишь затем, чтобы это сыграть и умереть тут же. Да, да я сыграл бы и умер, и тогда все бы поняли, кто такой был Лев Храмов и кого они потеряли... «Это же не свобода... Это воля!» Ах, как бы я это сказал!..

А вдогонку ему уже несется перебитое пьяными слезами пенье плотника Левушкина:

— «Бывало, вспашешь пашеньку...» — И снова, еще тоньше и жалобней. — «Бывало, вспашешь пашеньку...»

Без Никишкина нигде не обойтись:

— Это что за базар?.. А ну, разберись по одному!.. Матрасы скатать!.. Это вам не санаторий, а центральная пересылка... Чево! Ты у меня, сукин сын, головки от хамсы вместо манны небесной жрать будешь!.. А ну, шаг вперед. рвань черкизовская!.. Марш параша чистить, и чтоб до са-

моварного блеску, сам проверю... Шагай вперед уклонистское племя!

А над всем этим тихий плач тети Груши:

— И за что же он меня так обидел, ты скажи мне, милоч, за какую-такую провинность? Была я ему верной рабой, не изменяла ни сном, ни помыслом. Ведь не моя вина, что угнали его в мою отлучку, а я не знала куда, а он не подал весточки. Рази я сужу его за новую семью, за детишек не от меня? Такая жизнь, не переделаешь, да зайти-то все одно мог бы, ведь не чужие, только ли койкой повязаны?.. Эх, Штабель, Штабель, кровиночка моя, голубь ты мой сизокрылый!..

Слезы душат меня, слезы выжигают мне сердце, я беззвучно хватаю ртом раскаленный воздух и — о, чудо! — слышу Марию:

— Что с тобой, Боря?

— Не знаю, — явь, совершив свой мгновенный и емкий круговорот, вновь возвращается в подмосковный август. — Похмелье, наверное... Размяк.

— Вставай... Пойдем.

— Куда, Маша?

— К себе... Ты поспишь, я посижу около тебя.

— Болит голова...

— Это пройдет, Боря, тебе надо уснуть. — Она тянет меня за руку, я с трудом поднимаюсь и мы поворачиваем в сторону состава. — Ты напьешься холодной воды, разденешься и ляжешь.

— Я что-то хотел сказать тебе, Маша...

— Скажи.

— Забыл... Вертится в голове, а что — не помню.

— После, Боря, после, у нас еще будет время.

— Ты искала меня?

— С утра.

— Хорошо, что ты пришла...

- Куда ж я без тебя...
- Правда, Маша?
- Я вся тут.
- Маша...
- Эх, ты!..

Когда прохладная благодать постели вбирает меня в свою белизну, я облегченно смежаю веки и шепчу с освобождающей душой признательностью:

- Спасибо, Мария...
- И слышу в ответ:
- Спи... Я здесь.

Мария сидела около спящего Бориса, втайне радуясь его теперешней беспомощности. Сейчас он принадлежал только ей, одной ей и никому более. Эта временная власть над ним одаряла ее чувством покоя и уверенности в себе. В такие минуты она забывала обо всех обидах и недоговоренностях, существовавших между ними, целиком предаваясь заботам и хлопотам о нем. Ей как бы хотелось доказать ему, на что она способна и чем готова пожертвовать ради него. К тому же, в этом состоянии он становился ближе, понятней, доступнее для нее. Когда он спал, в нем откровенно проступала его почти детская незащищенность. «Эх, ты, Боря, Борюшка, — снисходя вздыхала Мария, — аника-воин ты мой, неприкаянный!»

До сих пор среди мужчин у Марии был один по-настоящему родной человек — отец. Рано оставшись вдовым, он возил ее по всем гарнизонам, где приходилось ему служить, отдавая ей все тепло своего огрубевшего в казарменном быту сердца. Чего он только ни прощал дочери, безмолвно закрывая глаза на ее более чем частые проступки и грехопадения. Когда же она, наконец, вышла замуж, жизнь его окончательно сосредоточилась вокруг нее и ее семьи. Он отдавал ей почти полностью свое жалование, довольствуясь тем, что перепадало ему в полку. Все в нем было подчинено одной цели — видеть дочь устроенной и по возможности счастливой. Он не пил, не курил, экономил на мелочах, но зато квартира Марии в Москве выглядела полной чашей. Отец зорко следил за тем, чтобы никакая случайная тучка не могла омрачить или

усложнить существования дочери, слишком уж долго и мучительно ждал он ее семейного часа.

Мария прекрасно понимала, сколько огорчений доставила она ему своим новым романом, но отказаться от Бориса было выше ее сил. Сломая голову бросилась она в эту связь, предугадывая в ней свою судьбу, и теперь уже ничто не в состоянии разъять, разлучить их. Последние дни Мария чувствовала, как медленно, исподволь, через сопротивление и хмель, к ним возвращается праздничное ликование той первой ночи в пустыне. Она жила теперь в близком преддверии неминуемого, с замиранием сердца ожидая начала иной, замаячившей впереди жизни...

Веки Бориса слегка дрогнули, и в слабых губах сквозь полусон-полуявь чуть слышно сложилось:

— Еще день?

— Да, да! — заспешила Мария. — Да!

— Легла бы...

— Я попозже...

— Скажи мне...

— Что?

— Что-нибудь.

— Потом...

— Лучше сейчас... Если хорошее, мне это придется во сне, а если худое, я постараюсь забыть... Проснись и забуду.

— Я сразу тебе хотела сказать, — вдруг решила она. — Простишь ли только...

— Я знаю.

— О чем?

— Ты была с ним.

— Боря...

— Забудь... Еще что?

— Но если...

— Он будет мой... Наш, понимаешь?

— Я могу...

— Нет, ты его оставишь, так я хочу... Он уже мой.

— Куда хочешь зови, Боря...

— Уже позвал.

— Куда?

— С собой.

— С закрытыми глазами.

— Не пожалеешь?

— Нет... Никогда.

— Ведь у меня, Мария, нет ничего, кроме звезд, да и то на погонах. С нуля начинаем.

— Так надежнее.

— А куда пойдём?

— Куда поведешь, Боря.

— Тогда — далеко.

— Значит, так надо.

— Сейчас главное — выспаться.

— Я скоро тоже лягу.

— Закрой только дверь, чтобы никто не мешал.

— Спи, Боря... Я закрою.

— Будь, Маша...

— Я посижу около тебя.

— Хорошо-то как!..

Он заснул быстро и безмятежно, по-ребячьи подогнув колени с заложенной между ними ладонью. Чтобы ненароком не спугнуть его сон, Мария встала и, бережно оправив на нем сбившееся одеяло, тихонько выскользнула в коридор.

За окном с противоположной стороны вагона солдаты в матерчатых шлемах свинчивали трубы для временной водоразборной колонки. Один из них маслянистый и черный, словно просмоленный жгут, с коротким разрезом белозубого рта, заметив ее в оконном проеме, безбидно подмигнул ей: спускайся, мол. Вся еще переполненная светом

недавнего разговора, она ответила ему улыбкой благодарной, но отсутствующей.

Вслушиваясь в самое себя, Мария невольно, краем сознания вбирала происходившее за ее спиной в служебном купе. Через раскрытую дверь взволнованный шепот молоденькой проводницы слышался особенно отчетливо:

— Какая может быть любовь, когда, говорят, по статистике девчонок, хоть пруд пруди, а ребят нету, а какие и есть, то в армии. Посидишь в девках, их ожидаючи, так ничего и не узнаешь.

— А что вы хотите узнать, деточка? — Возражающий ей женский голос тих и старчески надтреснут. — Что?

— Как что! — шепот Ольги сделался почти свистящим. — Как что! Что я в своей жизни видела. Родилась неизвестно от кого, то ли от цыгана, то ли от еврея, мать по универмагам с чеками промышляет, сестра к вокзалу ходит, а у меня пары чулок целых нету. А мне, как всем хочется, молодая еще, и погулять, и одеться. Без мужчины тоже нельзя, говорят, вредно, и опять же подружки смеются. Вы-то, верно, в молодости своего не упустили?

— Своего не упустила, деточка, но только своего.

— Я тоже не чужого хочу, да если нету.

— Искать нужно.

— Где?

— Всюду.

— Сколько же можно!

— Если надо, всю жизнь.

— А жить когда?

— Это и есть жизнь.

— Вам легко говорить!

— О счастье всегда вспоминают легко.

— Вы любили его?

— Не то слово, деточка, не то слово.

— А он?

— Я считала так, хотя в глубине души иногда сомневалась в этом, слишком незаслуженным казалось мне это счастье. Только теперь, через пятьдесят лет я получила от него письмо, которое он написал мне перед самой смертью. Кто-то столько времени хранил его под семью замками, чтобы оно не могло дойти по адресу. Зачем, почему, за что! Господи, кому могла повредить эта записка смертника к любимой женщине? Если бы я знала, что в конце пути меня ждет такая награда, как легко мне было бы идти!

— Везет людям...

— Можно назвать это и так.

— Вы помните его?

— Словно это было вчера.

— А как вы его увидели в первый раз?

— Господи, как я его увидела!..

Мария замерла...

АДАМ И ЕВА

— Я увидела его, деточка, в тот год, когда мир рассыпался в прах, и невзнузданные лошади метались по земле, как угорелые. Жизнь, словно линяющая змея, сбрасывала с себя одряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял печальный и бледный среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или ему помочь. Священные развалины дымились под ним, страна кабаков и пророков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов, и даль клубилась меж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после светопреставления, сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком Георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своем долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рожден для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственности за будущее опустошенной родины. Стоило мне лишь увидеть его, деточка, как сердце мое безошибочно определило: он! Тот самый, которого я ждала с первых дней своего девичьего созна-

ния и о котором никогда не переставала думать. До него, до встречи с ним меня еще, собственно, не существовало, я была только внешней оболочкой для той души, какую Господь предназначил создать из его ребра. Лишь познав его, я увидела и услышала себя как женщину и человека. Он тихо сказал мне: «Пойдем со мной». И я пошла за ним, не ведая сожалений и страха. Пошла, благословляя судьбу за выпавшее на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, свеча моя заветная, Сашенька, Александр Васильевич, страшно подумать, коли бы мы не встретились! Помнишь ту ночь нашу в Омске, когда все еще только начиналось? Помнишь, ты сказал мне: «Умереть бы нам вместе, Аннушка!» А потом: «Нет, нет — лучше я один, а ты живи, ты должна жить!»? Помню, я плакала от любви и благодарности к тебе и все твердила, целуя тебя и задыхаясь: «Только вместе, Сашенька, только вместе, чтобы и там вместе». Сколько было у нас потом ночей и дней среди огня и крови великого потопа! Я знала, что не обманусь в нем, но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В содоме всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила его природа: тонкость и великодушные, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него вилось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть живую жизнь, облечь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом, — но лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демагогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий сидел он в затемненном вагоне, невидяще глядя

перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забвенье любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоем. Я молю Бога, деточка, чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы, источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы, вишневым дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастьем. «Аннушка, — шептал он мне, — прости меня». «За что! — отзывалась я. — За что, Саша!» — «Я не смог сделать тебя счастливой». — «Ты дал мне все, о чем я могла только мечтать». — «Но ты достойна лучшего». — «Я хочу быть достойной одного тебя». Я не помню, я не хочу помнить, сколько это продолжалось, во мне тогда остановилось время и отсчет яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него. Да, да, деточка, верите вы или нет, но я уже больше никому не отдала ни себя, ни своего сердца. Я сдержала слово, я умерла вместе с ним в ту же минуту, в то же мгновение, как только иртышская вода сомкнулась над ним. Тридцать шесть лет лагерей, тюрем и частной жизни затем я лишь влачила здесь свое брренное тело по воле Господа. Его предали подло и унизительно, предали за кучку золота, предали люди, которым он безоглядно доверился. Что ж, мать городов славянских, златоглавая Прага, теперь ты пожинаешь плоды своего тогдашнего предательства. Пусть же помнят правители и народы, какой ценой расплачиваются потомки за их легкомысленный флирт с дьяволом! Нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он отрекался от нашей любви, от наших

клятв и обязательств во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву ради ее же блага. Но я не могла, не имела права принять от него подобного дара. Я пошла к ним сама. Я просила одного: смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслуживала этого, слишком большой для меня казалась им эта честь, таким недостижимо высоким они его видели. Говорят, он вел себя до конца как подобает мужчине и офицеру. Говорят, чекистов в нем покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство по отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва. Всю жизнь, деточка, он был верен Богу и, как видите, в час испытаний не отрекся от своей веры, наподобие Иова, а принял их, со смирением и молитвой. Я не сужу его убийц, они не ведали тогда, что творили, всем им впоследствии пришлось испить ту же чашу. До сих пор мне непонятно только одно, зачем им понадобилось скрыть от меня его последнюю записку ко мне, какую опасность она для них представляла, что могла изменить? Где мера этой непонятной черствости, этой душевной глухоты, этого нравственного падения? Но есть, есть Божий суд, через столько лет, сквозь войны и мятежи, версты и голодовки, безвременье и перемены его зов, его последнее «прости» все же дошло до меня, а значит — так было угодно Всевышнему. Я знала, что идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роковую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня, для меня одной... Господи, чем отплачу я Тебе за Твою безмерную милость!.. Саша, Сашенька, Александр, свет, Васильевич!

— Как же, — она уже захлебывалась слезами, эта молоденькая проводница Оля, — как же вы теперь!

— Теперь у меня все хорошо, деточка. У меня есть комнатка на Плющихе, я беру работу на дом в артели, где делают елочные украшения. Много ли мне, старухе, надо, деточка! Мир не без добрых людей. Вот вы с подружкой везете меня за полцены от самой Одессы. В Одессе молодой историк по имени Леня с фамилией одного министра Временного правительства хранил для меня мою дорогую записку, разыскивал, вызвал, подарил. В Москве меня приютила у себя, прописала и дала жилплощадь дальняя родственница генерала Каппеля, Царство ему Небесное. Хорошие люди везде есть, даже, знаете, там, у них. И, представьте — много, я в этом убедилась на собственном опыте. Чего мне еще желать теперь, деточка, разве что смерти во сне.

— Можно я к вам в гости ходить буду?

— Разумеется, деточка, я только рада...

— Деньги мы ваши вам отдадим, этих-то уже нет, потратили.

— Зачем они мне, деточка, если это вам доставило удовольствие, я наскребу еще, молодость должна веселиться.

— Может, вы лечь хотите?

— Спасибо, деточка... Спасибо, милая.

— Я постелю...

— Нет, нет, я — так!

— Одну минутку...

В служебном купе затеялась тихая возня, которую бесцеремонно перебил оживший вдруг репродуктор:

— Граждане пассажиры, говорит радиоузел поезда Одесса—Москва. Слушайте выступление доктора районной санитарно-эпидемиологической станции Зандберга Изольда Шлемовича... Пожалуйста, товарищ доктор!

Сквозь возникший затем свист и шорох в коридор прорвался тонкий картавящий надтреснутый в самом истоке голосок:

— Заражение формой тридцать происходит через воду или пищевые продукты, зараженные вибрионом этой болезни. Возможно также заражение через руки при контакте с больным или носителем. В нашей стране форма тридцать давно уже ликвидирована, но она может быть завезена из других стран, главным образом, западных, где господствует капиталистический строй и угнетение трудящихся. При появлении хотя бы одного случая формы тридцать всем окружающим необходимо принимать натошак холерный бактериофаг по двадцать пять миллиграммов каждые десять дней, запивая его двухпроцентным раствором соды. Лица, соприкасающиеся с больными, подвергаются изоляции на шесть дней. За ними ведется тщательное клиническое наблюдение с бактериологическим контролем испражнений...

Голос мучительно преодолевал многочисленные «р» текста, и когда, наконец, последнее слово, трубно пророкотав, скатилось в микрофон, из репродуктора послышался облегченный вздох:

— Уф...

В это самое мгновение за окном, словно освобожденная вздохом репродуктора, из раструба свинченной нитки хлынула вода. Серповидной

струей она рванулась вверх, радужно повиснув над лесополосой. С каждой минутой напор ее становился все яростней и мощнее, она была в пространство перед собой, пока не заполнила его целиком. Залитое ею вскоре окно стало казаться Марии иллюминатором таинственного корабля, в котором она плыла сейчас в неведомую даль. Она плыла, а мимо нее скользили удивительно похожие на знакомых людей рыбы. Рыба-Фима и рыба-Жгенти, рыба-Крутинская и рыба-Сихарулидзе, рыба-Спиноза и рыба-молоденькая проводница, рыба-кабанчик и нарядная рыба-Иван Иванович. Они скользили мимо, уступая ей дорогу к тем берегам, куда им уже не было возврата. Она прощально глядела им вслед, охраняя чуткий сон своего несравненного Адама. Он спал у нее за спиной, спал, чтобы завтра проснуться и сойти на пустынный берег, и вкусить яблока, и начать на земле иную, не похожую на прошлую жизнь.

LIII

Зной распирает железную коробку вагона, звенит в ушах, шершавой пылью оседает в гортани. Не хочется ни вставать, ни двигаться, ни говорить. Напротив меня, за столиком, Фима, отдуваясь и потея, строчит очередное послание домой. Его невозмутимая старательность вызывает во мне легкую зависть. Счастливый человек, ему есть куда и кому писать! Я уже и не помню, когда я в последний раз садился за письмо. От меня их давно никто не ждет. Из Храмовых на этой земле я остался один. Мне некогда было задумываться раньше над тем, почему так случилось. Наверное, считал я, источился самый корень фамилии, ее суть и основа, а может быть, простое стечение случайностей предопределило ей такую судьбу. Кто знает! Только в последние дни, оставаясь наедине с самим собою, я все чаще задаюсь вопросами: где, когда, отчего? Где причина нашего оскудения? Когда это началось? Отчего именно с нами? Быть может, на нас была возложена особая ответственность, которой мы не снесли и не оправдали? Или исчезновением своим нам приходится расплачиваться за преступное зло, совершенное нами у истоков рождения? Да существует ли возмездие вообще? В памяти моей всплывали мельчайшие подробности детства, которое прошло на старой московской окраине. Вспоминания вереницей разматывались передо мной, вплоть до того хмурого мартовского дня, когда оборвалась последняя прямая ниточка моего родства...

С утра Лева затравленно метался по комнате, в раздумьи тер виски, и, разговаривая сам с собою, бодал головой пространство:

— Шестьдесят лет старухе, а сыну ей в день рождения даже подарить нечего. Проклятая жизнь! Затравили, как зверя. В театре — завистники, в «Мосигрушке» — взяточники, кругом — дурачье. Где взять сотню? Хотя бы сотню. Я бы цветов ей купил. Боже мой, до чего мы дожили! Скоро с сумой пойдем. А ведь нас — Храмовых — вся Россия знает. Где справедливость! Разве я не работаю, разве я не стараюсь? Но что я могу сделать, если кругом дурачье и завистники? Где же все-таки взять хотя бы сотню? — Он вдруг замер на месте, пристально оглядывая комнату; гневно взыскующий взор его зорко ощупывал предмет за предметом, пока не остановился у порога, где сиротливо сгрудилась вся наша тощая семейная обувь. — Пошли.

До Преображенки мы добирались пешком. Слякотный март серым месивом хлюпал у нас под ногами, Лева тихо поругивался, то и дело вытряхивая мокрый снег из дырявого ботинка, калоши, аккуратно завернутые в старую афишу, все же не надел, не соблазнился: товар, по его мнению, перед продажей должен был выглядеть с лучшей стороны.

— Как ты думаешь, — беспокоился он дорогой, — сотню дадут, а? Будем просить полторы. — Лева, конечно, и без меня знал, что любая половина этой цены и та будет слишком роскошной платой за его расхристанные калоши, но слабая надежда, видно, теплилась в нем, и он, как только мог, подогревал ее в себе. — Их еще носить и носить. — От неуверенности он даже заискивал передо мной. — Скажи, Боря, а?

Лева был на двадцать с лишним лет старше меня, но я за время совместной жизни так и не привык называть его дядей. Он принадлежал к числу людей, непосредственность, детскость ко-

торых сразу бросается в глаза, обрекая их до седых волос снисходительности окружающих. Ко всем от мала до велика он относился одинаково: если спорил, то до исступления, до злых слез, если дружил, то самоотверженно и беззаветно. Чуть ли не с первого дня я стал его двойником и тенью, мы часто ссорились, даже дрались иногда, но жить друг без друга уже не могли. Мне во всех подробностях был известен случившийся с ним еще до моего рождения печальный роман, хотя, по молчаливому согласию, мы об этом никогда не заговаривали. Втайне подражая Лева, я питал к нему смешанное чувство жалости и преклонения.

Рынок встретил нас крикливой разноголосицей и толкотней. Еще на подходе к торжищу за нами не раз увязывались любители даровых комиссионных, но Лева, в расчете на большее, решительно отвергал их настойчивые домогательства. В круговороте толкучки, где наш товар неоднократно переходил из рук в руки, мы в конце концов отыскали покупателя, с которым удачно обменяли свои калоши на четвертинку подозрительного цвета жидкости, выдаваемую хозяином за чистый трофейный шнапс.

— Нам повезло, — говорил Лева, увлекая меня к выходу. — Это колоссальная удача! Закуску мать найдет в больнице, у них там остается от обеда. Справим старухе шестидесятилетие, как полагается. Может, и отец твой глотнет, в его положении это даже полезно. — Он горделиво постучал себя костяшками пальцев по виску. — Здесь еще есть кое-что, нашел-таки выход.

Баба Варя служила санитаркой в той больнице, где лежал мой отец. Она устроилась туда специально, чтобы оказаться поближе к нему и, кроме того, получать рабочую карточку, которая помогла бы нам сводить концы с концами. Когда-то

бабка жила в большой шестикомнатной квартире, имела прислугу и звалась окружающими «барыней», но постепенно, всякий раз получая мизерную придачу, она разменивала свои апартаменты на меньшие и продолжалось это до тех пор, пока мы не въехали в единственную комнату деревянного флигеля в Сокольниках, что стало началом ее конца. Теперь ей приходилось все делать самой: стирать, готовить, шить, штопать, бегать по магазинам и сверх того ежедневно метаться между сумасшедшим домом дочери и туберкулезной больницей племянника. Руки ее, сплошь в ссадинах и мозолях, не знали ни минуты покоя, вся наша жизнь, казалось, текла сквозь них, держась лишь их движением и выносливостью. Она служила нам бескорыстно и самоотверженно, мы были для нее лучшей частью человечества, ее упованием, ее гордостью и надеждой. Десятистрочная заметка отца в заштатной спортивной газете равнялась в ее глазах литературному событию мирового значения, придуманный Левою настольный «футбол» слыл у нее за лучшую детскую игру эпохи, а самостоятельно вызубренный мною стишок свидетельствовал ей о моем феерическом будущем. Ее трогательная вера с детских лет спасала меня от гибели и отчаянья. И я платил ей за это преданностью и любовью.

— Господи! — едва увидев нас, всплеснула руками бабка Варя. — Где же это вас носило? Раздевайтесь-ка и — к печке. Почему ты не надел калоши, Лева? Разве можно в такую погоду без калош? Боря, снимай ботинки. И что мне с вами только делать! Взрослые мужчины, а ведете себя, как дети.

В каморке больничных гардеробщиц под лестницей, у весело гудевшей печки, она лихорадочно стаскивала с нас носки, растирала нам ноги свои-

ми заскорузлыми, но чуткими пальцами, и все никак не могла успокоиться:

— Мученье мне с вами... Что я буду делать, если кто-нибудь из вас сляжет? Вы обо мне подумали?.. От вас нельзя отойти ни на шаг, хоть вервочкой к себе привязывай... Негодники этакие!

Но стоило бабке узнать о цели нашего посещения, как злость в ней мгновенно стаяла, вялые губы дрогнули, лицо пошло пятнами, и она, осев на подставленный Левоу стул, тихо и благодарно заплакала:

— Деточки... Я так счастлива... Не забыли... Дорогие вы мои... Как я вам благодарна!.. Я уж и сама забыла...

Бабка потерянно засуетилась, достала из тумбочки и поставила перед нами тарелку перловой каши, хлеб, а когда оказалось, что требуется еще и посуда, побежала и принесла три граненых стакана, после чего села и, подперев кулаком дряблую щеку, уставилась на нас мокрыми от слез глазами:

— Деточки мои дорогие... Лишь бы вам со мной хорошо было... Мне самой уже ничего не надо... Будет и нам хорошо, вот увидите... Федя поправится, я только что была у него, доченька моя вернется... Ах, как мы тогда заживем!

Бабе Варе лучше, чем кому-либо другому, было известно, что дни отца и моей тетки сочтены и что будущее наше не сулит нам ничего, кроме самой унижительной нищеты, но в эту минуту страстная вера ее, вступив в единоборство с действительностью, сообщилась мне, и я с ликующей яростью утвердил про себя: «Заживем, еще как заживем!»

Первое в жизни опьянение обострило во мне слух и осязание. Сквозь радужную завесу, в которой маячили предметы и лица собеседников, я

сразу определил перед собой возникшую на пороге молоденькую девушку в белом. Еще ничего не было сказано, еще бабка и Лева, целиком поглощенные друг другом, не замечали ничего вокруг, а гиблая тишина, спускаясь сверху, уже заполнила каморку под лестницей и сомкнулась в ней до первого крика. Я осознал случившееся прежде, чем бабка Варя обморочно стекла со стула, прежде чем Лева, с судорожным всхлипом рванулся к двери и, отстранив с дороги посланницу в белом, взлетел вверх по ступенькам, и этот миг прозрения навсегда отделил меня от детства...

«Ах, Фима, Фима, — думаю я, — счастливый ты человек, тебе есть, о чем пожалеть перед смертью!»

Словно угадав мои мысли, Фима поднимает на меня грустные глаза:

— Обо всех я должен иметь заботу. Две семьи, это две семьи. Одна половинка сердца здесь, другая половинка там. Я человек серьезный, я не могу относиться к таким вещам легкомысленно. Любовь есть любовь.

— Когда же это вы успели, Фима? — От телячьего умиления моего не остается и следа. — Ведь это надо уметь!

— А! — жалобно морщится он. — Подумаешь, какая наука! В первый раз меня просто женили. Знаете, как это бывает у набожных евреев: отец встретился со сватом, ребе благословил сделку и свадьба готова. Я увидел свою невесту уже за свадебным столом. Слава Богу, она оказалась совсем не урод, а девочка, дай Бог всякому. Мы сразу понравились друг другу. Все завидовали нам, какая пара. У нас родилась прекрасная дитя-дочь, украшение дома и радость семьи. Я, знаете, прилично зарабатываю, в нашем часовом кругу меня

уважают как хорошего мастера. Будка моя стоит на очень выгодном месте около Привоза. Одесса, сами понимаете, город-курорт, народу — в глазах рябит. Парень я, сами видите, что надо, отдыхающие дамочки ходят, облизываются, но я ноль внимания, такая любовь у меня с женой. Сидеть бы мне в этой будке до самой старости, зарабатывать на свой кусочек белого хлеба с маслом, но ведь, как говорят, и на старуху приходит разруха. Появляется однажды в моем окошечке курносое личико, веснушками опрыснутое: «Вы не можете купить у меня часы?» Мне даже не надо было смотреть, какой товар, по лицу видно, что хуже некуда. Откуда у нее, у этой крохи, может быть хорошая машина? «Нет, — говорю, — не берем, несите в скупку». — «Была, — говорит, а у самой губки трясутся, — там тоже не берут». Взглянул я в ее синие-пресиние глаза, одни только слезы в них, и понял: пропадает человек, совсем пропадает. Знаете, жалость в нашем деле — вещь разорительная. Не успеешь оглянуться, гол, как сокол. Но тут был особенный случай или, как говорится, судьба. «Ладно, — сказал я ей, — товар я ваш не возьму, он ничего не стоит, это железный лом, а не часы, но на дорогу я вам займу с отдачей». «Нет, — плачет она, — так я не возьму, нечем мне отдавать». «Ладно, — говорю, — возьмите так». Тут она вытянулась, как струна, глазки, как два лезвия, губ совсем нету: «Вы, — трясется, — как все». Гляжу — нету. Я захлопнул будку и — следом. Еле догнал у самого вокзала. «Куда же вы, — говорю, — пойдете, бесплатно вас все равно на поезд никто не посадит». «Пешком, — отвечает, — пойду, свет не без добрых людей». «А я, что же, — говорю, — не добрый?» «Не знаю, — говорит, — может быть». Короче, взял я ей билет, поест на дорогу и проводил к поезду. История,

знаете, оказалась обыкновенная, курортная. Приехала к морю с компанией, наличность быстро улетучилась и партнеры смылись в разные стороны. Проводил я ее, адресами обменялся, помахал ручкой и, кажется, будьте здоровы. Так нет же! Сон, аппетит потерял, в каждой женщине — она чудится. Не выдержал, написал письмо. Представьте себе, ответила. Стали мы переписываться. Каждый день на почту хожу, до востребования спрашиваю, у связистов своим человеком стал. В конце концов договорились, поехал я к ней в Ленинград. Коммунальная комнатка, мама учительница, от зарплаты до зарплаты, в общем, знакомая картина. Мама от слез не просыхает: женатый мужчина в дом ходит, а девочка уже без меня жить не может. Но, сами понимаете, делать нечего, скоро и мама смирилась. Вернулся я домой, ничего от своей Розы не скрыл, все ей, как на исповеди, выложил. Мудрая женщина моя жена, она не стала кричать и рвать на себе волосы, она, дай ей Бог здоровья, рассудила, как Соломон. «Что ж, — сказала Роза, — пускай будет так, как есть». Только, правда, с того дня стала сесть и горбиться. Вот я и разрываюсь на две части. В Питере у меня растет мальчик, удивительный ребенок с большими способностями, пусть будет он украшением моей старости. Я люблю их всех так, что когда-нибудь сердце мое разорвется от этой любви на четыре ровные части... Извините, мне еще писать и писать...

«Чудны дела твои, Господи! — горестно закрываю я глаза. — Воистину чудны!»

И падаю, падаю, падаю...

В августовской ночи за окном палаты тихо шелестели клены. Изредка сюда доносилось позванивание поздних трамваев. Случайные автомобили время от времени резко и коротко оглашали душную тишину больничных окрестностей утробным ревом. Свет от их фар, разреженный листвою, дрожащей рябью мельтешил по стенам, смутно обозначая в темноте расплывчатые очертания лиц и предметов. Слабое дуновение снаружи почти не разбавляло спертой атмосферы палаты. Запахи иодоформа, застоявшейся в утках мочи и болезненного дыхания нескольких скоротечников цепко держались в четырех ее — голубое с белым — стенах. Бредовый ропот витал над головами, изредка прерываемый беспокойной возней и вскриками. Лазаретный быт вершил свой обыденный ночной круговорот.

В эту ночь Храмову было особенно худо. Он уже совсем не чувствовал своих легких. Казалось, там, в груди у него, — гулкая раскаленная пустота. Она не позволяла Федору закрыть рта, всасывая в себя, словно бездонная воронка, воздух окружающего мира и тут же жадно пожирая его. Храмов давно не строил себе иллюзий: дни его были сочтены, и никакая сила уже не могла остановить их иссушающий душу бег.

Всю жизнь, сколько Федор помнил себя, он безудержно тратился в расчете, если и не на вечность, то, как минимум, на сто лет. Женился он рано, перебрав сначала около десятка претендентов разных мастей и габаритов. Брак со случайно подвернувшейся травестиюшкой, которая вскоре закончила белой горячкой, оставя у него на руках

годовалого сына, не образумил его. Первое отрезвление пришло после ареста отца. Если бы не подоспевшая вскоре война, что в первой же неразберихе списала с его счета нежелательное родство, судьба могла обойтись с ним более, чем круто. Жизнь фронтового газетчика, с ее обманчивой переменчивостью и регулярным пьянством, решительно доконала его подорванный в молодом разгуле организм. Победу он встретил в госпитале. Сказалось все: бессонные ночи, множество забытых простуд, случайная еда и плохо залеченный триппер. В госпитале его долго и старательно пользовали, но «пирке» у него снова и снова активно оказывалось положительным. С тех пор и начались его озаренные короткими передышками странствия по институтским стационарам страны. Его как бывшего офицера-фронтовика лечили всеми известными к тому времени способами, но всякий раз, когда, казалось, что самое худшее позади, губительная палочка опять брала свое. Смирившись, он мучился лишь тоской о сыне. Мальчишка воспитывался у тетки Федора по отцу — Варвары Львовны — тянувшей на себе, кроме внучатого племянника, еще полусумасшедшую дочь и спивающегося сына из микроскопических актеров. Чтобы хоть как-то облегчить племяннику его больничную долю, она устроилась сюда санитаркой, и теперь каждую третью ночь дежурила в нижней раздевалке под лестницей. «Вот здоровья старухе Бог дал!» — С пугающей ясностью представляя себе близкий конец, Федор казнил себя своим бессилием помочь ей, утешаясь лишь тем, что его пенсия служит хорошим подспорьем к ее чисто символической зарплате: «За четверых старая тянет, а ведь бывшая барыня, без прислуги в сортир не ходила?»

— Не спишь? — завозился вдруг рядом сосед. В темноте, под простынею, грузное тело его выглядело текучим и бесформенным. Он появился в палате дня три тому и с тех пор не произнес, наверное, и двух связных слов. — Не спится?

— Душно. — Неожиданная разговорчивость его озадачила Федора. — Ни ветерка.

— Давно такого у меня не было. — Дыхание соседа то и дело срывалось в хрип. — Лет десять, не меньше.

— Тяжело?

— Совсем подыхаю.

— Может, сестру позвать?

— Зачем? — хрипло вздохнул тот и после короткой паузы продолжил: — Мне теперь ихняя скорая помощь, как козе барабан. Все одно скоро концы отдам... Ишь, как оно это бывает... Других видал... Близко видал. Всяко помирали. Кто плакал, кто под себя ходил, а кто ничего... С характером, в большом к себе уважении... Таких, правда, мало было...

— Где же это ты? — уже обо всем догадываясь, похолодел Федор. — Санитаром, что ли?

— Зачем санитаром? — буднично откликнулся тот. — При трибунале в исполнение приводил.

— Не жалко было?

— А чего?

— Люди ведь.

— Люди, люди!.. Мое дело маленькое, нажал курок и вся недолга... Люди! Люди людям — рознь. Иного только на раз опорожниться и хватит, одно дерьмо... Вот ты, к примеру, кто будешь?

— Журналист.

— В газеты, значит, пишешь. — Он поперхнулся, затем, прежде чем снова заговорить, яростно и долго откашливал мокроту. — Ишь, вся начинка слизью выходит... Да, много я вашего

брата образованного в расход пустил. Всякие очкарики попадались, однако, больше духовитые... Слова разные произносят, облаять норовят... Из простых хуже помирают... Помню, выдвигенец один из слесарей, все к доктору ботинки лез целовать... А что, доктор? Его дело маленькое, акт подписал и до свидания. Чего уж там у него выпрашивать! Приговор зачитали, ваших нет, иди вперед и не оглядывайся.

— Так и работаешь?

— Не... Как приказ вышел в лицо стрелять, я закосил. Нет, думаю, не выйдет. Одно дело в затылок, другое — носом к носу... Присоветовали мне старуху одну, заделала она мне, ... ее мать, зелье... Досё не отдышусь. Думал понарошку, а вышло натурально. С тех пор и закашлял.

— Не боишься?

— Чего это?

— Умирать, говорю, не боишься?

— Сначала страшно было, а потом пообвык...

И потом, какая теперь от меня семье польза, помру, ложки дешевле будут... Не бойсь, парень, все там будем...

Лишь однажды довелось Храмову видеть казнь, но и того, единственного раза хватило ему, чтобы запомнить ее на всю последующую жизнь. Фронт стоял тогда в глухой обороне, и Федор тщетно мотался по частям в поисках выигрышного материала. Отсыпаясь в обжитых блиндажах, народ почувствовал вкус к тишине и покою. Никто не торопился совершать подвиги ради прекрасных глаз залетного корреспондента и его очередного газетного «гвоздя». Уже совсем было отчаявшись, Храмов неожиданно встретил майора армейского Смерша, с которым в начале войны вместе вырывался из окружения под Сухиничами.

В ответ на его сетования тот лишь покровительственно усмехнулся: «Вьшку хочешь взглянуть?» «Чего?» — не понял Федор. «В исполнение, говорю, приводить будем, можешь посмотреть».

Зрелище это долго еще потом вставало перед глазами Федора, снилось по ночам, лишая его уверенности и душевного равновесия. Капитан, которого должны были расстрелять, вывел без приказа остатки своего батальона с насквозь прострелянного речного островка перед фронтовойполосой. Островок этот, хотя и не представлял собой стратегической ценности, считался в армейских верхах сугубо престижным, а потому и не подлежащим сдаче. Когда от обессиленного батальона осталось не более полусотни бойцов, комбат не выдержал бессмысленности самоистребления и отошел, заранее обрекая себя лично. У края выкопанной для него ямы капитана вырвало, но завязать глаза себе он все же отказался. Резкое, восточного типа лицо его пожухло, сделалось как бы полым, не выражая при этом ничего, кроме обиды и недоумения. Ему словно еще не верилось, что все происходящее перед ним совершается в самом деле, всерьез. Даже в коротком — снизу вверх — взмахе руки при падении после залпа чувствовалась укоризна: чего это вы, мол, надумали, бросьте! Этим-то своим невольным жестом-упреком он и запомнился Федору, запомнился навсегда...

— Не бойсь, — повторил сосед, пружины под ним натужно заскрипели и потная ладонь его легла Храмову на запястье. — Мне один очкарик, когда вели его, так и сказал: «Смерти нет, никуда мы друг от дружки не денемся, так что, до свидания». ...Вот, чую, недолго мне, а страху нету, одно удивление: уж больно просто все, жил, жил

и — на тебе! — помирать. Как одна секунда... Такие дела, сударики-гаврики. — Он снова заворочался. — Бывай, вроде твоя старуха опять тащится... Договорим еще...

В дверях смутно обозначился расплывчатый силуэт тетки. Входя, она старалась двигаться, как можно осторожнее, но в трогательной неуклюжести своей неизменно на что-либо натыкалась и всякий раз при этом ласковый шепот ее панически срывался:

— Ой, Господи!.. Да что же это я... Совсем слепая стала... ой!.. Надо же было. — Ватное, в зигзагах глубоких морщин лицо ее склонилось над Храмовым. — Опять не спишь, Федя? Разве так можно! Все думаешь, думаешь о чем-то. О чем тебе думать? Спи себе и поправляйся. Сон самое хорошее лекарство.

— Ты же знаешь, что я не поправлюсь. — Он грубил намеренно, чтобы только не заплакать, не заскулить от жалости к ней. — Спала бы сама, что зря людей пугать.

— Зачем ты так говоришь, Федя? — Блеклые глазки ее подернулись слезной поволокой, испуская на него сквозь темноту печальное сияние. — Тебе нравится мучить меня? У тебя всего лишь маленькое затемнение. Еще бы! Ты воевал, во время ни поесть, ни попить. Если бы ты еще спал! Я вот тут принесла тебе кусочек курицы... Ножку... Съешь за завтраком... Тебе это очень полезно.

— На что ты все это покупаешь? — Смешанное чувство раздражения и благодарности одолевало его, вызывая острые спазмы в горле. — На какие деньги?

— На твои, Федя, на твои, — тихонько гладила она ему руку. — На чьи же еще? Других у меня нету. Где же я еще возьму?

— Чем же вы сами живете?

— У нас, Феденька, слава Богу, все хорошо. Лева, кажется, вот-вот дадут аванс под его «Настольный футбол». Оля, сам знаешь, на всем готовом, а нам с Борей много ли надо? Я ведь сутки здесь питаюсь.

— Как он? — Напоминание о сыне причинило ему почти физическую боль, Борис оставался его единственной в этой жизни слабостью. — Слушается?

— Боря прекрасный мальчик. У него, по-моему, способности. Мне советуют попробовать его в Суворовское. У них там такая чудная форма, красное с черным, просто залюбуешься. У нас в семье давнишняя офицерская традиция. У него все преимущества, он сын военнослужащего. Как ты думаешь?

— Зачем? — После всего пережитого на фронте в Федоре возникло и укрепилось стойкое отвращение к войне и ко всему военному, но, зная по опыту, что тетка его болезненно ранима в осуществлении своих фантазий, возражать далее не стал. — В общем, тебе виднее, ты его лучше знаешь, у тебя вырос. — Но переведа разговор, тут же взял реванш. — Лева до сих пор не служит?

— Ах, Федя, ты же знаешь, что такое театр! Интриги, постоянные интриги. — Шепот ее становился заговорщицки свистящим. — Кругом одни завистники. Талант раздражает, знаешь ли... Ну ничего, вот выйдет «Настольный футбол», тогда все поймут, кто они и кто мы... Вопрос решится вот-вот, может быть, даже завтра. Лева говорит...

И тут Храмова прорвало. Копившаяся месяцами больничной обреченности горечь собственного бессилия нашла, наконец, себе выход, выплеснулась наружу:

— Тетя Варя! Какие интриги, какая зависть, какой еще там настольный футбол! Когда же вы, в конце-то концов, оставите эти свои химеры? Пора бы уж разуть глаза и посмотреть на вещи трезво. Он должен работать, а не сидеть на шее у матери. Он бездарен, понимаете, бездарен, и никто и никогда не будет интриговать против него. И настольный футбол его — очередная глупость и чушь. Вы-то, вы-то, вам-то я удивляюсь, на удивляться не могу. Нищенствуете, собираете объедки в туберкулезной больнице, а по-вашему, выходит, «питаетесь». Не можете, язык у вас не поворачивается сказать, что дочь ваша в желтом доме, нет! — «На всем готовом». Сын всю жизнь передние ноги ишака в «Похождениях Насреддина» играл, так нет же, «талант затравили»! Кто же его, позвольте вас спросить, затравил-то, задние ноги, что ли? Бредовую ажинию из бумаги вырезал, а для вас, вроде, как перпетуум-мобиле изобрел, только рутинеры ходу не дают. Очнитесь же вы, наконец, от снов своих, тетя Варя, на дерьме поживать изволите!

— Что ты, что ты, Федюшка, — испуганно заторопилась тетка, — Бог с тобой! Нельзя тебе волноваться. Зачем же ты из-за пустяков себя терзаешь? Я пойду, пойду, ты только успокойся. Ради Бога, не надо. — Растекаясь в темноте, она обидчиво всхлипнула. — И за что только ты меня ненавидишь так, Федя!

Она по-прежнему неуклюже прошлепала от него к выходу, у порога, шумно вздохнув, остановилась, хотела, видно, что-то еще сказать, но так ничего и не сказала, а лишь прикрыла за собою дверь.

Низкое небо в просветах листвы постепенно углублялось, линяло. Приходя в себя, Федор уже жалел, что сорвался, обидел тетку. Злость схлы-

нула, уступив место опустошению и обиде. За что им, Храмовым, такая судьба? Где справедливость? Разве отец его не отдал лучшие свои годы делу всеобщего счастья? Разве мать не заслужила годами боев и лишений лучшей доли своему единственному сыну? Разве сам он жалел себя, когда решалось, жить или погибнуть стране, государству, власти? Так почему же им всем приходится или побираться, или гнить в застенках, желтых домах, больницах? Его собственный конец рядом с отставным палачом представлялся ему сейчас верхом издевательства и несправедливости. Такого ли финала он ждал для себя!

Федор невольно скосил взгляд в сторону соседа и оторопел от неожиданности: стиснув в руке откинутую к бедру простыню, тот безжизненно стекал вдоль кровати и на заострившемся лице его стыла откровенная усмешка. Было в ней, в этой усмешке что-то располагающе снисходительное. Словно в последнее мгновение человек подумал о ком-то крохотном и беззащитном.

Обнаженное до пояса, огромное тело соседа было сплошь татуировано изображениями диковинных парусников. Они — эти парусники — теснились друг около друга, создавая в трепетном свете брезжущего утра иллюзию движения и силы. Их голубое свечение, слившись с цветом стен и неба за окном, заволокло мир перед Федором, и тут же прикосновение к небытию подарило ему прощальное облегчение: «Вот уж никогда не думал, что это так просто!»

СОН О ВОЗМЕЗДИИ

Сны Бориса давно перемешались с явью. Бред и действительность текли в нем одновременно, то и дело скрещиваясь и переплетаясь. Временами Борису казалось, что он сходит с ума, что горячка тащит его по адским кругам делирия, не позволяя ему ни опомниться, ни проснуться. Но когда у него уже не оставалось сил и надежды, что-то отдаленно облегчающее, как смутный просвет в грозových тучах, замаячило перед ним. Легкое дуновение о вежающего ветра коснулось его воспаленного лица. Стремительно крепнущий свет, расширяясь, хлынул ему навстречу. Свинцовая тяжесть заметно спала с плеч, тело сделалось послушным и гибким, в голове повеяло утренней прохладой. Бориса проникло чувство движения и простора, где каждый шаг идущего приближал его к неведомой, но желанной цели. Он, словно бы даже не шел, а летел сквозь необозримое пространство, минуя времена и годы, версты и расстояния, горести и обиды, мечты и разочарования. «Боже мой, — благодарно изумлялся Борис, — за что мне это, за какие труды!» Тут он увидел поле под младенчески чистым небом. Покорная трава стелилась ему в ноги, и он ступал по ней — этой траве, — не ощущая тяжести собственной плоти. Впереди него, будто выявляясь из струящегося над горизонтом рассвета, возник трепетный силуэт монаха в белом. Монах медленно приближался к нему, и в лице инока все отчетливее прозревались знакомые Борису, чуть женственные черты.

— Кто ты? — спросил Борис, сходясь с ним лицом к лицу, хотя уже узнал, отметил его. — Откуда?

— Я — никто. — Плоского разреза глаза монаха излучали фосфоресцирующий свет. — Я — твоя тень.

— Почему я не знаю тебя?

— Знаешь. Знаешь давно.

— Где? Когда?

— Всегда. Везде.

— Я не помню.

— Помнишь, но ты забыл.

— Помоги мне вспомнить.

Рука монаха бережно коснулась его плеча:

— Хорошо. Давай попробуем. Закрой глаза.

Сначала была темная пустота. Затем видение сквозного простора, но теперь уже изнутри, снова заполнило его, и он, внимая знакомому голосу, отдался возникающему в нем благодатному умиротворению:

— Мы были вместе всегда, везде, постоянно. Вместе с тобой я огласил эту юдоль печали и крови первым криком, вместе с тобой делал первые по ней шаги, вместе с тобой согревал ее тьму и неуютность. Ты был слаб, немощен, незащищен. Сколько горьких соблазнов источали твое сердце, каким только богам ты ни поклонялся!

— Да, да... Кажется, я помню.

— Ах, мой мальчик, какое неисчислимое число раз ты оказывался на краю гибели и падения! Но Тот, Кто создал тебя по своему образу и подобию, не дал угаснуть в твоей душе крохотной свече красоты и гармонии. Когда ты умирал, Он воскрешал тебя к новой жизни, когда ты падал, Он помогал тебе снова подняться и продолжать путь. Чего только ты ни совершал во имя свое! Любил и мучился, предавался похоти и скорбел,

доходил до святости и преступал Закон. Не существовало среди живых тварей ничего грязнее и чище тебя одновременно. Чтобы спасти тебя, Он не пожалел собственного Сына и отдал его тебе на распятие и позор. Через крестную муку Сына познал Он всю меру твоего страдания и простил тебя. Простил и уже прощенного благословил для жизни. Но тебе еще только предстояло постичь и воспринять сердцем этот Его неоценимый дар. Обуянный бесами звериных страстей, ты продолжал погрязать в крови и гордыне. Ты все еще считал себя мерилом всего сущего. В дьявольском ослеплении ты возомнил о себе, как о единственном сосуде истины. Во имя ее ты властвовал и поработал, предавал и лжесвидетельствовал, унижался и растлевал. Ты помнишь?

— Теперь помню.

— Я шел с тобою до последнего предела, твоим двойником, твоей совестью, тьмою и светом, соблазном и праведностью. О, сколько раз я умирал в тебе и возрождался вновь, сколько раз вышлся и падал, царствовал и всходил на дыбу! Ты помнишь?

— Я хотел бы забыть.

— Скоро я сотру в твоей памяти все, о чем тебе не хочется помнить, но прежде ты взглянешь в лицо своему греху и возмездию, чтобы уже никогда не прельститься обманом собственного возмущения... Смотри.

Даль разверзлась перед ним, и он увидел нескончаемый людской поток, текущий мимо них из ничего в ничто. С тихими отрешенными лицами, в одеждах разных племен и народов, по земле неслышно ступали пращеметатели и охотники, жрецы и легионеры, монахи и крестоносцы, князья и ханы. Старые, молодые, богатые, бедные, красивые, безобразные, глупые, умные вер-

шили свой путь друг за другом бесшумно и немо. Их объединяла лишь надежда в глазах, устремленных далеко вперед.

— Смотри, — прошелестел голос рядом с Борисом, — смотри.

Среди множества лиц он вдруг узнал себя, вернее, свое отражение: скуластый профиль под юношеским пушком, светлые, собранные тесемкой в кружок волосы, чуть вогнутые внутрь плечи.

— Кто это? — холодея, сложил Борис.

— Это ты, — было ответом.

— Когда?

— Принявши крест.

— С кем я?

— Вместе со всеми.

— Сколько их?

— Им несть числа.

— Где им конец?

— Им нет конца.

— Как долго идти им?

— Всегда.

— Куда идут они?

— К Нему...

— Что это? — Мимо Бориса проплывал человек в темной ряске и клобуке, сквозь жиденькую бородку которого он вновь прозревал свои черты. — Неужели и он?

— Да, да, он — это ты, тоже ты.

— Когда?

— Принявши страдание.

— Ты знал его?

— Конечно.

— Ему было страшно?

— Нет. Ему было горько и стыдно. За них, предавших тайну.

В русоголовом мальчике, возникшем вдруг в толпе, Борис не столько угадал, сколько почувствовал свой облик и душу.

— Я?

— Ты.

— Когда?

— Принявши страх.

— Ты мог убересть его?

— Мог, но не стал.

— Почему?

— Тогда не было бы спасения.

— Его я знаю, — сказал Борис, указывая на сгорбленного бородача в лагерном бушлате. — Это мой дед.

— Может быть. Но это и ты.

— Я жил в нем?

— Да.

— Когда?

— Принявши искушение.

— Он заплатил за все.

— Ты знаешь этому цену?

— Нет.

— Этому нет расплаты.

— Кто нас рассудит?

— Тот, Кто вдохнул в тебя жизнь.

— Ты думаешь, Он простит нас?

— Уже простил.

Еще издавек он выделил больничный халат своего отца. Отец двигался вместе со всеми, устремленный взглядом в светящуюся даль впереди и его бескровное худое лицо светилось ожиданием и надеждой. Сердце Бориса устремилось в пропасть. Сглатывая удушливый комок любви и жалости, он, после щемящей паузы, еле слышно выдохнул:

— Я был и с ним?

— Да.

— Когда?

- Принявши возмездие.
- Ты говорил, что возмездия нет.
- Там нет, здесь — есть.
- Где здесь?
- На земле.
- Зачем?
- Чтобы вы спаслись.
- Страдать — значит спастись?
- Страдать — значит любить.
- До каких пор?
- Без срока.
- Где же покой?
- Там...

Бесшумное шествие тянулось и тянулось мимо них от одного горизонта к другому, и не предвиделось конца-края этому целеустремленному движению. В шинелях и телогрейках, босые и раздетые, в бинтах и на костылях, обвешанные наградами и номерными знаками, в панцирях смокингов и форм, перед Борисом проходили его соседи по веку, земле, работе: министры, землекопы, воры, застреленные маршалы, конвоиры, судьи, палачи, святые и грешники, праведники и негодяи, поэты и торгаши.

- Они дойдут?
- Дойдут.
- Им есть, в чем каяться?
- Есть.
- Кто виноват из них?
- Все и никто.
- Значит, они чисты?
- Теперь — да. Мера боли, которая им досталась, выше их грехов. Они оросили свой путь на земле такой кровью и такими слезами, что уже не могут вызвать к себе ничего, кроме жалости и сострадания. Нет им наказания и некому судить их. Кто осмелится бросить в них камень? Кто скажет,

что в ночи страха и ненависти, сквозь которую им пришлось пройти, он остался бодрым и незапятнанным? Разве ведали они, что творили, когда гнали и мучали друг друга? Им было одинаково страшно: и гонителям, и гонимым. Через их общие муки пробивала себе путь Истина. С ними Его любовь, с ними со всеми.

Видение постепенно размывало властно заполняющим пространство светом, и вскоре сквозной простор под младенчески чистым небом открылся Борису во всем своем безбрежии и благодати.

— Теперь ты знаешь о себе всё, — легонько подтолкнул его инок. — Если хочешь — забудь, если хочешь — помни. Это будет жить в твоей крови, в твоём дыхании, в твоих делах. Через это знание, через эти соблазны тебе надо было пройти, чтобы спасти себя, свою душу от неизлечимой хвори забвения и тлена. Сейчас тебе надо проснуться, встать и идти. Другие еще спят. Пусть они спят. Им еще не время, душа их больна и сон врачует ее. Ты же здоров, совсем здоров. Иди...

Борис сделал шаг, и ночь обернулась к нему коридором ночного поезда. Он шел по проходу, и спящие лица, одно за другим, возникали перед его глазами. Спал Фима, спал усатый буфетчик и Давид Сихарулидзе, старшина и начальник с висячим носом, спало перепившееся цирковое воинство во главе с человеком-роботом. Заискивающе улыбался во сне Лева Балыкин. Боль и надежда билась в смеженных ресницах Жоры Жгенти. В хмельном бреду метался Ельцов рядом со своей партнершей. Блаженно млели игрушечные губы лилипутки. Сидячее забытие молоденькой проводницы было тревожным и чутким. Кромешная ночь

с единственной звездой посередине сторожила их
зыбкое беспмятство.

Борис потянулся к ней — этой звезде, и темь
хлынула ему навстречу.

Броские изменчивые видения дробились и множились перед ним. Он видел город, громадный сумеречный город, с пустынными улицами, утопающими в непролазной хляби. Борис тяжело продирался через нее, падал, вставал и снова падал, и не было этому его походу никакого конца. Черные глазницы окон разворачивались ему навстречу слепо и настороженно. Жуть пронзительной тишины смыкалась следом за ним и собственный крик застревал у него в горле. Потом он встретил одноглазого нищего, который протянул ему костыль. Зрячий глаз нищего при этом жалостливо слезился, а беззубый рот оплывал злорадной усмешкой. Борис потянулся было к нему, но в то же мгновение из-под ветхого рубища старика выскеркнула рубиновая заколка, оттененная стерильной белизной туго накрахмаленной сорочки. Тогда Борис, пересиливая бредовую немоту, все же закричал. И с этим, раздирающим гортань криком, пришел в себя...

Тревожная ладонь Марии скользнула по его лицу:

- Тебе страшно?
- Да.
- Не бойся, я с тобой.
- Я кричал?
- Чуть-чуть.
- Голова раскалывается.
- Может, погуляем?
- Плесни малость.

Она налила. Он выпил, тупая ноющая боль, тесным обручем сдавившая голову, постепенно отступила, мир вокруг приобрел равновесие и отчет-

ливость. Недавний кошмар показался ему до смешного пустяшным: «Привязался ко мне этот чёрт в галстук, скоро наяву мерещиться будет!»

— Проветриться не мешает, — поднялся Борис. — Только ведь из этого блиндажа и выйти некуда.

Мария молча подала ему руку, и он покорно двинулся за нею из купе по коридору к выходу. Дорогой они обогнули Балыкина, который пьяно посапывал во сне, сидя на откидном кресле. В тамбуре Мария умоляюще потерлась щекой о плечо Бориса:

— Уйдем?

— Крик подымут.

— А мы тихонько.

— Открывай.

Дверь перед ней бесшумно подалась. Кромешная тьма пахнула на них мазутом и хвоей. Ночь казалась сплошной и звуконепроницаемой. Борис еще только собирался с духом, когда Мария потянулась к нему снизу, из темноты:

— Быстрей, Боря...

Гравий из-под его подошв осыпался с оглушительным хрустом. В ожидании окрика Борис на мгновение замер, но темь не отозвалась, и он с веселым отчаяньем подался во мрак. Пообвыкнув, они стали выделять перед собой контуры близкого леса. Неожиданно сбоку от него, на расстоянии протянутой руки, определилось неподвижное пятно. Борис почувствовал исходящее оттуда ровное дыхание. «Надо же, — прямо к часовому в руки, — обреченно похолодел он, — нарочно не придумаешь!»

Но, подаваясь к спасительной чаше, Борис так и не услышал окрика. Только уже в подлесеке к нему сквозь ночь пробился со стороны железно-дорожного полотна знакомый хохоток, тихий и

добродушный. Борис обернулся: сумеречно светясь безлюдными окнами, состав выглядел сейчас покинутым на плаву судном, в котором медленно, но неотвратимо угасала последняя жизнь: «Вот чёрт, ему и охрана нипочем, по пятам ходит!»

— Ты слышала? — Бориса колотила яростная дрожь. — Вот, только что?

— Нет, ничего. — Мария приникла к нему. — Тебе показалось.

— Ты видишь что-нибудь?

— Пойдем.

— Куда?

— Куда глаза глядят.

С каждым шагом он все более проникался ее бесшабашной уверенностью и необъяснимой правотой. Предутренние сосны стряхивали на них свой зябкий холод, редкий кустарник обжигал руки и лица первыми росами, цеплялся липкой паутиной за волосы, но они упрямо рвались вперед, не замечая ничего и никого вокруг. Они словно бы освободились от какого-то, давящего их изнутри груза: двигаться и дышать стало им неизмеримо свободнее и проще. Лес беззвучно расступался перед ними, обнажая в перспективе постепенно светлеющий горизонт.

Спускаясь в пологий распадок, она подала ему руку:

— Устал?

— Голова кружится.

— Отдохнем?

Вытянувшись на сырой податливой хвое, Мария зовуще притянула его к себе, и когда Борис оказался с нею рядом, глаза ее приблизились к нему настолько близко, что он увидел в них свое отражение и мохнатые крылья леса над собой:

— Прижмись ко мне...

— Так?

- Ближе... Еще ближе...
- Тебе не страшно?
- С тобой — никогда...
- И мне.
- Помнишь, как в первый раз?
- А ты?
- Еще бы...

Их шепот сливался с чуть слышным шелестом сосен над ними, и пространство вокруг них сжалось до размеров крохотного островка, какой они отогревали своим дыханием. Чувство полноты существования, уже испытанное ими однажды там, среди песков, в полупрозрачной башне, стремительно возвращалось, заполняя их сердца восторгом и благодарностью друг к другу.

— Если хочешь, вернемся. — Он помог ей подняться. — Еще не поздно.

— Ни за что!

— В какую сторону пойдём?

— Туда! — Она неопределенно махнула куда-то впереди себя. — А там видно будет.

Стволы становились все реже и обнаженнее, и вскоре внезапно возникшая под ногами тропа вывела их к опушке, пересеченной на спуске асфальтовой полосой. По ту сторону автострады за невысоким штакетником тянулся вдоль дороги дачный поселок. В текучей дымке восхода одноэтажные коробки с островерхими шиферными крышами властно манили к себе своими уютно зашторенными окошками. Лишь тут, вблизи сонного жилья, они почувствовали усталость.

— Постучимся? — неуверенно тронулась она вниз. — Не съедят ведь.

Но стучаться им не пришлось. В первом же доме дверь оказалась открытой настежь. Уже в прихожей на них пахло тленом запустения. Переступив порог, Борис растерянно огляделся: в ком-

нате, залитой сизым светом втекавшего сквозь пестрые шторы утра, не было ничего, кроме голубой кровати. Пол застилало множество пожелтевших от времени бумажных листков. Через входной проем в смежное помещение просматривалась такая же пустота и захламленность.

— Тем лучше, — решительно шагнул он внутрь. — Занимаем площадь явочным порядком.

— И выбрасываем пиратский флаг! — облегченно бросилась она на кровать. — Череп и скрещенные кости!

— Годится!

— Господи, как хорошо-то! — Сетка под нею мягко запружинила. — Никого!

— Может, заснешь?

— Если сумею.

— А ты закрой глаза.

— Хочу с тобой.

— Я попробую затопить.

— Только потом приходи.

— Спи... Приду.

Мария заснула почти мгновенно. Со смешанным чувством любви и жалости смотрел Борис на ее осунувшееся, с густой синевой под глазами лицо, прозревая в нем — в этом лице — черты, которые, сколько он себя помнил, смутно бередили ему душу. Образ женщины, так долго и так сокровенно оберегаемый его воображением, воочию возникал сейчас перед ним. «А если бы не карантин? — обожгло его вдруг. — Так бы и разошлись?»

Ему оставалось лишь благодарить судьбу за недавнее испытание, которое снова привело его к ней и к самому себе. Борис верил и знал, что их связь отныне стала нерасторжимой. Между ними как бы растворилась прозрачная, но непроницаемая стена, обрекавшая их до сих пор на глухоту

и безъязычие. Они сделались частью друг друга, уже не мыслимые раздельно.

Борис машинально перебирал в руках поднятые с пола листки, плотно заполненные мелким неразборчивым почерком. Смысл и содержание написанного почти не задевали его сознания, но отдельные строчки исподволь откладывались в памяти, обретали постепенно звук и цвет: «Вновь петух на Руси великой спозаранку мятеж трубит. Песней пращура, словно пикой, туз червонный во мне пробит...» Дальше текст становился еще более убористым и слепым: «Слышу, слышу я посвист пьяный, вижу я бунчуки сквозь чад. С Дона рвутся полки Степана, их копыта во мне стучат...» Духновение открытия, встречи уже коснулось его, и он, подаваясь к свету, резко отдернул штору. И сразу же, едва обзор распахнулся ему в лицо, обомлел.

По асфальту, облитому ранней солнечной желтизной, по самой середине, к поселку шел Иван Иванович. Мягкая широкополая шляпа на нем лишь подчеркивала его парадную безукоризненность. Над дорогой струилось легкое марево, и он, казалось, плавно парил сквозь рассветную дымку, не касаясь ступнями асфальта. При этом от него исходило уверенное спокойствие человека, только что и благополучно завершившего дело всей своей жизни. Встретившись взглядом с Борисом, он осветился радужной улыбкой, а щегольская шляпа его приветственно взмыла над головой. Так он и проплыл вдоль дачного штакетника с поднятой над головою шляпой, излучая грустную доброжелательность, пока не канул, не источился в трепетной благодати крепнущего утра. И уже оттуда, из размытой солнцем дали, Борис явственно воспринял его негромкий и чуть насмешливый голос:

— Доброго здоровья, мой друг, доброго здоровья!

Первые, озаренные восходом облака оторвались от горизонта и плавно двинулись к зениту. Цвет их, по мере движения, менялся: розовый переходил в золотистый, затем иссиня-белый и, наконец, в голубой. Нанизываясь одно на другое, они мало-помалу обретали контуры туго заполненных ветром парусов. Голубые паруса с каждым мгновением становились все ближе и ближе, и Борис с благодарным замиранием сердца почувствовал, как в нем томительно закипают чистые слезы встречи и торжества:

— Слава, слава Тебе, Господи, за то, что Ты породил меня и спас!

О Г Л А В Л Е Н И Е

| | |
|---|-----|
| Глава I | 7 |
| Глава II | 14 |
| Глава III Сон о крещенье | 21 |
| Глава IV | 29 |
| Глава V Сага о похоронах | 34 |
| Глава VI | 43 |
| Глава VII | 47 |
| Глава VIII Исповедь Левы Балыкина, или рок судьбы | 53 |
| Глава IX | 61 |
| Глава X | 68 |
| Глава XI | 76 |
| Глава XII Преображение тихого семинариста | 83 |
| Глава XIII | 91 |
| Глава XIV | 96 |
| Глава XV | 102 |
| Глава XVI | 109 |
| Глава XVII Сказание о кобыле «Сильве» | 114 |
| Глава XVIII | 120 |
| Глава XIX | 126 |
| Глава XX | 135 |
| Глава XXI | 140 |
| Глава XXII Сон о бомбежке | 144 |
| Глава XXIII | 151 |
| Глава XXIV | 154 |
| Глава XXV Эсперанто на службе у человека | 161 |
| Глава XXVI | 168 |
| Глава XXVII | 174 |
| Глава XXVIII | 180 |
| Глава XXIX | 186 |
| Глава XXX Из записок плац-майора Петра Храмова | 194 |
| Глава XXXI | 211 |
| Глава XXXII | 216 |
| Глава XXXIII Плач Пенелопы | 220 |
| Глава XXXIV | 225 |
| Глава XXXV | 230 |
| Глава XXXVI | 236 |
| Глава XXXVII | 244 |
| Глава XXXVIII | 249 |
| Глава XXXIX | 252 |
| Глава XL | 258 |

| | |
|------------------------|-----|
| Глава XLI | 260 |
| Глава XLII | 268 |
| Глава XLIII | 279 |
| Глава XLIV | 284 |
| Глава XLV Песнь песней | 289 |
| Глава XLVI | 294 |
| Глава XLVII | 300 |
| Глава XLVIII | 304 |
| Глава XLIX | 312 |
| Глава L | 319 |
| Глава LI | 324 |
| Глава LII | 328 |
| Глава LIII | 331 |
| Глава LIV | 339 |
| Глава LV | 348 |
| Глава LVI | 356 |

Максимов В.Е.

М 17 Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3. Карантин /Худож.
оформ. И. Сайко. – М.: ТЕРРА, 1991. – 368 с.

ISBN 5-85255-032-9 (Т. 3)

ISBN 5-85255-038-8

В 3 том вошел роман В. Максимова «Карантин».

М 4702010201 - 27
А 30 (03) - 91 подписное

ББК 84 Р7

**ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
МАКСИМОВ**

*Собрание сочинений
Том третий*

**Художественный редактор И. Сайко
Технический редактор Р. Смирнова**

Отклонения по качеству обусловлены состоянием оригиналов, представленных для съемки.

Подписано к печати 27.05.91. Формат 84×108/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,32. Уч.-изд. л. 15,98. Тираж 100 000 экз. Заказ 292. Цена 10 руб. Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская ул., д. 10, а/я 73.

Государственная ассоциация предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ». Ярославский полиграфкомбинат, 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

